КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 7

ИЮЛЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ

*
ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГРАФИИ ГОСИЗДАТА.
МОСКВА, Валовая улица, 28.
Главлит А-41601. П. 13. Гиз 32974.
Заказ № 1673. * Тираж 13.000 экз.

Мешок с костями.

(Рассказ.)

Алексей Жабров.

Памяти д-ра С. Е. Минца.

I.

Школьные здания — чтобы не мешать полетам — вытянулись проспектом вдоль берега. Берег обрывист, гол, ветры с моря неустанно точат его, он обваливается, и тропа над обрывом — место вечерних прогулок— с каждым годом все ближе подбирается к зданиям. К морю, на пляж, обычно покрытый в полдень рядами прокопченных тел, спускается широкая, каменная лестница; недалеко от нее — маленькая пристань, исковерканная зимним прибоем; когда нет большой волны, пристает тут катерок — с бензином, продовольствием, с товарами в школьный кооператив. А иногда — по праздникам — катерок, весь облепленный, как сучок дроздами, защитными гимнастерками, отваливает в город: ученики-летчики и летчики-инструктора — большие любители морских прогулок.

По шоссе, бегущему над морем, — до города километров двадцать. Попасть в город — не легко. По субботам после утренних полетов (вечерних в субботу не бывает), а по праздникам чуть не с рассвета — дежурный по школе всегда воюет с жаждущими попасть в город: летчики-инструктора и механики, с женами, спешат в магазины, чтобы вечером, за вкусным семейным чаем или за бутылкой дешевого крымского вина, заслуженно отдохнуть от трудной полетной недели; учлетам [1]) тоже хочется проветриться от строгой, казарменной, холостяцкой жизни, сходить в театр, в кино или просто побродить среди приезжей курортной публики, наполняющей с мая по октябрь веселым шумом тихие зимой проспекты и бульвары города.

День «второго рождения» Макара Родова справляли в укромном подвальчике близ базара. Было весело и шумно — и уже дважды усатое лицо хозяина подвальчика просовывалось в щель двери и сердито шипело: «Тыше, товарыщи!..» На минуту учлеты сдерживали повеселевшие голоса, но затем шум рос снова. Родов, вообще не пивший, быстро пьянел.

---

[1]) Ученики-летчики.

Когда один из учлетов хотел налить ему снова, он прикрыл рукой стаканчик и сказал:

— Больше не пью.

— Что?!. Как?!. Это ты оставь!.. — закричали несколько человек, но Родов упрямо отмахнулся:

— Больше не хочу, ребята! — Он помолчал, его карие глаза остро скользнули по раскрасневшимся лицам товарищей, и серьезно прибавил: — По-моему... и вообще довольно уж...

Опять раздались протесты, но его поддержал Усов:

— Ребята, Макар прав: пора закрывать лавочку, — и встав, крикнул: — По последней — за Красный воздушный флот!.. Ура!

— Ур-ра-а!!!

В комнату влетел испуганный хозяин:

— Товарыщ, зачэм крычышь?!

Родов успокаивающе замахал на него руками и стал расплачиваться.

На улицу вышли шумно, но на проспекте подтянулись, ловко лавируя в толпе гуляющих. Когда подошли к пристани, катерок, бегавший через бухту, только что подвалил. Выпрыгнувший из катера школьный механик, увидя учлетов, толпившихся у кассы, крикнул им:

— Стой, ребята!.. Последняя машина сейчас ушла — и битком... Меня не посадили.

— Вот сволочи! — добродушно выругался Родов. — Говорил же я вам, что опоздаем.

Потолкавшись, они пошли с пристани, мало, впрочем, огорченные, потому что завтра полетов не было и отпуск они имели до завтрашнего вечера. У мостков, на легкой ряби, покачивались шлюпки, ждавшие пассажиров; легкий ветерок зовуще трепал неспущенный кливер на одной из них.

— А что, товарищи, — остановился Родов, — едем на парусе! Ветер попутный, и часа через три будем в школе!

Но это предложение не встретило сочувствия: перспектива болтаться несколько часов на море никому не улыбалась. К тому же — всем стало вдруг как-то жалко уезжать из шумного города, от его предпраздничного оживления, от толпы нарядных женщин, и сразу оказалось, что у всех есть знакомые, которых хорошо бы навестить и где можно бы переночевать.

С площади — у пристани — расползлись кто куда. Родов и Усов, решившие переночевать у товарища, служившего механиком в гидроавиаотряде, пошли вместе.

— Что же мы пока-то будем делать, а?.. — сказал Родов.

— А на бульвар пойдем... баб смотреть, — засмеялся Усов.

Родов удивленно взглянул на товарища:

— Не знал за тобой таких грехов... Да ведь ты и женат тоже!..

— Так что же, что женат! — пожал плечами Усов. — Я жену-то два месяца уж не видал, да может и еще три не увижу...

Родов подумал, что он не видел Марину гораздо больше, но ничего не сказал, а Усов, помолчав, снова вернулся к занимавшему его, очевидно, вопросу:

— Познакомился я, понимаешь, в прошлое воскресенье здесь с двумя дамами... Приезжие, кажется... Москвички...

— Ну и что же?..

— Ничего... Веселые... Звали заходить.

— Ну и валяй! — усмехнулся Родов.

— Итти — так вместе.

— Нет.

— Ну, пошли тогда на бульвар!.. — беря товарища под руку, сказал Усов.

Сидя на широкой, удобной, со спинкой, скамье, Родов пьянел все больше: его, как говорится, развезло. Он плохо помнил — когда, собственно, подсели знакомые Усову дамы и о чем он, Родов, говорил с ними. Помнил он только, что в сумерках быстро наступавшего вечера, в густой тени акаций, обе они выглядели молодыми и красивыми, особенно та, что была повыше — брюнетка. Ее большие глаза казались еще больше от темных кругов под ними. Она сидела рядом с ним, болтала, курила и смеялась, сверкая крупными, мужскими, немного протабаченными зубами. Кокетливо заглядывая ему в глаза, она наклонялась к нему и томно спрашивала:

— Скажите, Макар Семенович, неужели летать в самом деле нисколечко не страшно?.. Ах! Я, наверно, умерла бы от страха!..

— Ничего бы с вами не сделалось, — грубовато отвечал Родов, а она, понижая голос, игриво говорила:

— А вы бы взяли меня с собой на аэроплан?..

— Едва ли! — не вынимая изо рта трубки, сквозь зубы бросал Родов.

— Но почему же?.. Разве я вам ни чуточки не нравлюсь?..

Стемнело быстро, по-южному. Безлунное небо густо замигало звездами, но с моря вдруг потянуло свежестью. Гуляющие незаметно расползлись, и только в укромных уголках темнели пары, и оттуда слышался придушенный говор и смех. Поеживаясь от сырости, женщины стали собираться домой, настойчиво приглашая к себе пить чай, а затем в кино. Родов сначала отказался, но когда Усов, толкнув его в бок, шепнул: «Макар, не подводи... ну чем ты рискуешь!» — он неопределенно согласился.

Женщины, порывшись в зеркальном шкапу и заявив, что через минуту будут готовы, скрылись в соседнюю, смежную комнату.

Пока Усов, насвистывая и тыкая пальцами в клавиши расстроенного пианино, пытался подобрать мотив буденновского марша, Родов, взяв с туалетного столика книгу, грузно опустился на софу. Вдруг все это знакомство показалось ему ненужным и пошлым. Он особенно остро почувствовал это, когда горничная, пришедшая накрыть стол, с насмешливым любопытством оглядев его пыльные, грубые красноармейские сапоги, его гимнастерку из цейхгауза, стала расставлять на столе посуду, закуски

и бутылки с винами. И ему вдруг захотелось уйти из этой комнаты, от ее раздражающего розового полумрака и пряной духоты, уйти на свежий воздух, в тьму опустевших улиц, захотелось вдохнуть полной грудью ночную свежесть моря, чтобы отяжелевшая голова снова стала легкой и ясной, как всегда. Но в этот момент женщины снова впорхнули в комнату, и Усов, неловко смахнув с пюпитра ноты, галантно вскочил, а Родов — так и остался сидеть, хмурый, скучающий.

Чай пил только Родов. Женщины, аппетитно закусывая, пили вино. Не отставал от них и Усов.

— Ну как вам не стыдно, Макар Семенович! Мы пьем вино, а вы, мужчина, летчик,— и только чай!.. Неужели же вы не выпьете с нами?..— укоризненно уговаривала брюнетка.

Родов отказывался, говоря, что он сегодня уже и так слишком много выпил. Чувствовал он себя глупо, о чем говорить с этими женщинами — не знал и, односложно отвечая на их вопросы, не мог простить себе, что поехал сюда.

— А вы знаете, — обратился Усов к своей соседке, — по какому случаю мы сегодня выпили?!. — и, смеясь, сказал: — Справляли вот его второе рождение...

— Как это «второе рождение»?.. — с любопытством спросила брюнетка.

— Понимаете,— начал Усов,— сегодня ровно шесть лет с тех пор, как он едва не погиб. Было это... Да, впрочем, пусть он вам сам расскажет!

— Пустяки, — лениво отозвался Родов, — просто мои товарищи придрались к случаю, чтобы найти оправдание для выпивки.

Но женщины стали упрашивать его, и он, флегматично посасывая трубку, начал рассказывать:

... Однажды, на гражданском фронте, он, тогда всего только молодой моторист, полетел со своим летчиком на разведку, за наблюдателя. В тылу у белых их атаковал неприятельский самолет. Их машина — «старый гроб» — не могла уйти от более быстроходного истребителя, и оставалось только одно: принять неравный бой. Но мало того, что их Фарман был просто неповоротливой вороной в сравнении с юрким, как стриж, одноместным истребителем! Их пулемет, которым стрелял он, — Родов, мальчишка, никогда до того не бывавший в воздушном бою, — пулемет этот имел всего лишь сорок пять патронов, а у белого их было, по всем вероятиям, около пятисот, как обычно...

Тут Родов вдруг замолчал: по таинственным законам ассоциаций он вспомнил внезапно о Марине...

II.

Около года тому назад, в Ленинграде, вскоре после того как судьба столкнула их, он как-то рассказывал ей это свое боевое приключение, и вот — как раз в этом месте рассказа — она, перебив его, недоуменно спросила:

— Неужели у нас нехватало тогда патронов даже для летчиков?..

Он улыбнулся ее наивности (ласково подумав, что она была во время войны еще совсем девчуркой) и объяснил, что патронов-то хватало, а вот хороших пулеметов — не всегда.

— Что значит хороших?! — недоверчиво спросила она и, внимательно выслушав его объяснение о пулеметах «Левис» и «Виккерс», заявила, как всегда — несколько задорно, что все-таки не понимает, почему от царской авиации не осталось достаточного количества «этих самых виккерсов»... Уже с горечью, что деловые вопросы, должно быть, и сейчас (они лежали на лужайке, в Лесном) интересуют ее больше, чем то, как он, Родов, дрался в воздухе, — он терпеливо стал объяснять ей и это. Но она вдруг дотронулась до его руки и с неожиданной лаской к нему и укором к себе сказала:

— Макар, видишь я какая!.. Ну рассказывай же!..

И он, лежа на спине, глядя на кружевные, позолоченные закатом, перистые облака, и не переставая ощущать ее полутоварищеское, полуинтимное прикосновение, стал рассказыват дальше:

Пока были патроны — все было хорошо, хотя и не легко приходилось: белый крутился вокруг них, как хотел, не жалея патронов; он, Родов, не всегда успевал даже как следует прицеливаться, тем более что ему приходилось не только стрелять, но и держаться — такие крены задавал его летчик, стремившийся ловкими крутыми виражами не пустить врага себе «под хвост»...

— У нас был только один путь к спасению, — приподнимаясь на локте, сказал он.

— То есть победа, Макар?.. — уверенная в нем, подсказала она; в тенях спускавшегося вечера ее зрачки налились, как две крупные чернильные капли, и только узкие темноголубые ободки, в которых пылали закат и любовь, замыкали их; он потонул в этих дорогих ему глазах и пробормотал смущенно:

— Да, победа... Но дело в том, что патроны у меня кончились раньше...

— Ты плохо стрелял, Макар?!.

— Может быть и это, но...

Она не дала ему договорить и, словно чувствуя, что несправедлива к нему, прижалась к его плечу:

— Ну продолжай!..

Эта близость, как кофеин, встряхнула его сердце. Минуту он молчал и несколько неровным голосом продолжал:

... Белый теперь уже совершенно безнаказанно решетил их машину. Вдруг она как-то нелепо взмыла, и почти тотчас мотор замолк: оказывается, летчик был ранен, но, чувствуя, что теряет сознание, успел все-таки выключить мотор. Они стали падать; белый кружил над ними; тело летчика обвисло на ремне; секундами машина сама выравнивалась, но тотчас же снова беспомощно валилась на крыло или на нос. Они па-

дали, но ему, Родову, казалось, что падает на них земля и, хотя ветер злобно свистел в ушах, — падает слишком медленно. До земли оставалось метров триста... Ведь если не смерть — все равно прикончат белые!.. Лучше сразу! — и он стал расстегивать ремень, чтобы выпрыгнуть из самолета. Но вдруг машина осмысленно заерзала, закачалась, тросы зашипели: да, летчик в самом деле пришел в себя и пытался теперь выровнить машину. Это удалось ему только отчасти. Но им здорово повезло: машина упала в густой лиственный лес, и, хотя ее крылья были вмиг искромсаны и долетели до земли какой-то кашей, но зато гибкие дубы и вязы приняли на себя всю силу удара — и гондола, запутавшись на минуту в нижних сучьях, мягко съехала на землю... Когда он перевязывал летчику перебитую руку, он видел, как белый, сделав над ними низко круг, улетел — чтобы донести о победе...

— А ты очень хочешь быть летчиком?.. — спросила она, когда он рассказал, как им удалось уйти от погони и вернуться к своим.

— Да, летать буду... обязательно! — жестко сказал он. Он давно бы стал летчиком, но его не пускали из отряда, и только недавно ему удалось получить, наконец, командировку в теоретическую школу. Теперь он не дождется, когда кончит ее и поедет в школу летчиков!.. Он помолчал и вдруг сказал изменившимся голосом:

— Только вот с тобой, Маринушка, не хочется расставаться!.. — и, притянув ее к себе, поцеловал. Это был первый поцелуй.

III.

— Ну, что же вы замолчали?.. — недовольно спросила женщина.

Вырванный из прошлого, Родов взглянул на нее пустым взглядом, уже более осмысленно посмотрел на Усова, обнимавшего свою соседку и что-то шептавшего ей, и молча стал раскуривать потухшую трубку.

— Макар Семенович! — уже капризно вскричала брюнетка. — Мы ждем!..

Родов начал рассказывать дальше, но лениво, нехотя.

— И это, по-вашему, пустяки! — возмутилась она, когда он, сказав: «Вот и все!», замолчал. — Послушайте, — продолжала она, блестя глазами и улыбаясь, — я тоже хочу выпить за ваше второе рождение! Надеюсь, что теперь-то уж вы не откажетесь?! — и она решительно пододвинула ему стакан и налила себе.

Родов чокнулся с ней и выпил. Сладкий мускат показался очень вкусным и совсем не крепким.

Женщина, играя томными глазами, заставила его повторить некоторые места рассказа и, казалось, искренно восхищалась его храбростью. Потом она расспрашивала его о полетах, об управлении самолетом, и, когда Родов по привычке ввертывал специальные слова и выражения, она настойчиво просила объяснить их, как будто ее в самом деле интересовало, что такое «свеча», «вираж», «капот», или что значит: «рассыпался

мотор». Она усердно подливала ему вина, пододвигала закуски, — и ее обнаженные до плеч руки, чуть подернутые весенним загаром, мелькали над белой скатертью, дразня и обещая.

Вдруг деревья в саду тревожно зашумели, окно ослепительно вспыхнуло, загрохотал гром, порыв ветра хлопнул оконной рамой, — и через минуту хлынул дождь, застучав по подоконнику и брызгая на пол. Соседка Усова вскочила и захлопнула окно. Усов поймал ее за руку и обрадованно сказал:

— Вот вам и кино!..

— Ну, конечно, какое тут кино!,— вскричала брюнетка. — Хотите, я вам лучше спою?!. — Она села за пианино. — Макар Семенович, садитесь вот сюда... поближе! — показала она на стул возле себя..

Небольшим, но довольно приятным контральто она пела цыганские романсы, аккомпанируя себе примитивными, очевидно по слуху подобранными аккордами. Утрируя и без того манерный цыганский жанр, она пела с какими-то особенными придыханиями, вздохами, неожиданными пианиссимо и форте, часто меняя ритм и страстно поводя плечами. В чувствительных местах она, повернув голову, наклонялась к Родову и недвусмысленно бросала ему нежные, грустные или страстные слова романса, не меньше говоря и своим, словно ждущим, телом. Внезапно, вслед за грустным напевом, она стремительно переходила на бравурный фокстрот, — и ее грудь раскачивалась перед глазами Родова в такт чувственному ритму танца. В короткие промежутки она быстро вертелась на круглом стуле к Родову и кокетливо спрашивала:

— Вам это нравится?..

Он мычал что-то невразумительное, а она так же быстро вертелась к клавиатуре, бросая одновременно с пальцами:

— А вот это послушайте!

И снова в упряжке игривых задорных слов неслись мотивы чувственные и будоражащие...

Оглянувшись, Родов увидел, что они уже одни в комнате, а дверь в другую комнату плотно притворена. После минуты раздумья он встал:

— Мне пора!

Женщина резко оборвала игру и изумленно повернулась к нему.

— Как?!. Уже?!. — разочарованно протянула она и, проскользнув мимо него, взглянула на часы, лежавшие на туалетном столике.

— Но ведь еще детское время!..

— Да, но мне пора.

— Вы хотите итти даже без вашего товарища?..

Родов прислушался: за дверью стояла тишина. Он пожал плечами и стал искать фуражку.

— И дождь еще идет, — взглянув в окно, сказала женщина, — оставайтесь!..

— Нет, прощайте!

— А я не пущу вас! — задорно кинула она.

— Посмотрим! — усмехнулся Родов и, уверенный, что она шутит, взял ее за руки и хотел отодвинуть с дороги. Но это не сразу удалось ему. Шутливо нахмурившись: «Да вы сильная!», — он крепче сжал ей руки. Она не сдавалась. Пьяно качнувшись, Родов, наконец, оттолкнул ее, но не успел пройти к двери, как она, с неожиданным для ее фигуры проворством, бросилась к нему и, цепляясь, почти повисла у него на шее. Родов снова схватил ее за руки, и вдруг все его мысли мгновенно провалились куда-то — и жадное желание захлестнуло его волю...

IV.

В школу летчиков Родов приехал зимой.

Ему, как и всем его товарищам, приехавшим вместе с ним из предыдущей школы — теоретической, — до одури хотелось скорее сесть на самолет, за управление, скорее почувствовать в воздухе ту машину, которую они в течение целого года разбирали, собирали, изучая до последней стяжки, — правда, изучали и полет на ней, но лишь на доске — в диаграммах, формулах, теоретически. А тут — и в летной школе — зимняя непогодь снова плотно усадила их в классы, кабинеты, лаборатории. Как новички в школе, они еще не втянулись в общественную и клубную работу, — и свободного времени у них оставалось достаточно. И вот — в промежутках между классными занятиями — они, увязая в грязи, бродили по аэродрому, заходили в ангары, где механики, пользуясь передышкой, наводили основательный порядок, заглядывали в мастерские, где оскелеченные машины тесно жались друг к другу и где так приятно пахло эмалитом [1]),—и жадно приглядывались ко всему тому, что отныне должно было стать близким, своим навсегда.

Но для Родова все это было уже давно своим. Еще до поступления в теоретическую школу он проработал несколько лет авиационным мотористом, а потом механиком. И он не только превосходно знал самолет и мотор, но и много раз летал со своим летчиком — при пробных полетах и перелетах. А в конце гражданской войны, из-за недостатка летчиков-наблюдателей, ему довелось сделать даже несколько боевых полетов за наблюдателя. И уже тогда, на фронте, мечта самому стать летчиком крепко засела в упрямой голове Родова. Но и тогда, и в первые годы после войны хороших механиков нехватало. Родова не отпускали из отряда — и мечта так и оставалась мечтой. И вот: годы работать на машине, постоянно ухаживать за ней, как не ухаживает за порученным ей ребенком ни одна нянька, ощущать часто дыхание ее скорости — и самому не управлять ею!.. Иметь острый глаз, здоровое сердце, крепкие нервы, уже давно чувствовать себя в душе летчиком — и почти потерять надежду стать им!.. О, за эти годы Родов перенес немало тревог и волнений!.. Но вот, наконец-то, он получил долгожданную командировку в Ленинград. Приемные экза-

[1]) Лак, которым покрываются самолетные крылья.

мены он сдал успешно (в ожидании командировки упорно сидел над математикой и физикой), по медицинскому отбору прошел одним из первых, а классовый — не мог ему помешать: мало того, что он был из рабочей семьи и имел отличную аттестацию из отряда, — он уже год был в партии. Родов был принят.

Год в теоретической школе, может быть, показался бы Родову очень длинным, потому что многое из того, над чем его товарищи терпеливо корпели в самолетных и моторных классах, было ему уже отлично известно из практической работы механиком; но он видел, что в теоретических вопросах многие из них разбираются лучше его, — и он упорно сидел над теорией авиации, пока не добился того, что мертвые раньше для него аэродинамические формулы, диаграммы и кривые ожили и приобрели захватывающий по своей простоте смысл.

Этот год в теоретической школе прошел раньше, чем Родов успел заметить это, и прошел так полно и радостно, как не проходил, пожалуй, еще ни один год в его жизни. Но причиной этого была не только та особенная полнота, с которой человек живет, когда чувствует себя на пути к долгожданной цели, но и еще нечто. Этим нечто — была любовь к Марине.

Родов встретил ее вскоре после приезда в Ленинград.

В один из праздничных дней, вечером, он возвращался из дневного отпуска в школу. У товарища, раньше работавшего вместе с ним в одном отряде мотористом и теперь ставшего морским летчиком, было людно и весело. Но когда Родов вышел на улицу, ему вдруг стало почему-то грустно. Может быть потому, что его товарищ и другие, бывшие там летчики много говорили о новых, мощных, только что полученных машинах, говорили просто, как об обыденном, своем, тогда как ему, Родову, предстояли еще два долгих года учебы и его мечты пока еще не шли дальше учебного самолета. Или может быть потому, что у жены одного из летчиков были такие хорошие, ласковые глаза!.. А может быть стало грустно Макару Родову просто от того, от чего бывает иногда грустно весной всем одиноким людям!

Где-то за Балтийским вокзалом, в одном из глухих, пустынных переулков, мирно мигавшем редкими фонарями, внимание Родова привлек громкий, как будто встревоженный женский голос. Но в переулке никого не было видно. Пройдя немного дальше, Родов понял, что говорят (теперь он слышал и мужской голос) в одном из дворов. Почему-то заинтересованный, Родов подошел ближе и, прислушиваясь, остановился около ворот.

Родов насторожился. Женский окрик, в котором с неподдельной силой звучали гнев, обида и отвращение, мгновенно смыл у него остатки того гаденького обывательского любопытства, с которым он прислушивался минуту назад к этому молодому, встревоженному голосу. И когда секунду спустя этот голос, уже по-детски испуганный, растерянно крикнул: «Граждане, что же это!..» — Родов, не раздумывая, метнулся в раскрытую калитку.

Парень отскочил от девушки и наклонился за свалившейся с головы фуражкой. Едва сдерживая злобу сжавшихся кулаков, Родов крикнул:

— В чем дело?..

Оправившись от неожиданности, парень угрожающе бросил:

— А ты откуда взялся?.. Тоже, что ли, хахаль, что лезешь не в свои дела?!. — и вдруг, наступая на Родова, злобно заорал: — Иди, куда шел... а не то...

После, вспоминая происшедшее, Родов всегда неизменно испытывал холодок на сердце и боль в стиснутых челюстях — совершенно так же, как в тот момент, когда он, схватив одной рукой правую руку парня, другой ударил его изо всей силы в лицо; помнил Родов также, что уже после того, как выбитая им финка со звоном упала на камни, он в каком-то исступлении жестоко бил парня, бил как попало и, может быть, убил бы, если бы не услышал вдруг тот же женский голос, кричавший теперь тоже испуганно, но по-другому, с мольбой, может быть уже давно:

— Товарищи... Не надо!.. Что вы делаете, товарищи!..

И опять какая-то необычайная по своей силе и искренности нота этого голоса, — «человеческая», как после называл ее Родов, — стряхнула темную, почти застилавшую его рассудок звериную злобу. Он сильно оттолкнул от себя парня и, подняв и сунув в карман финку, повернулся к девушке и срывающимся от пережитого напряжения голосом тихо сказал:

— Ничего... Так ему и надо!

Молча они вместе вышли со двора.

Родов опоздал на вечернюю перекличку и получил три наряда не в очередь. После он не раз говорил Марине, что никогда не думал, что дежурство — да еще не в очередь — может быть так «удивительно» приятно.

V.

С тех пор как в один морозный январский вечер расстался Родов на Ленинградском вокзале с Мариной, — прошло уже четыре месяца. Эти месяцы сначала утомительно и скучно плелись по непогоди южной зимы, но затем стремительно помчались под опьяняющий аэродромный гам.

Особенно остро чувствовал Родов разлуку в первое время после приезда. Зимний нордост в ярости, что не может сдуть в море разбросанную над обрывом школу, свирепо выл днем и ночью; косматые облака, нагло разметавшись над морским простором, плевались то дождем, то снегом, и аэродром, скучный и унылый, словно никогда не слыхавший моторных песен, размяк в липкой глине. Полетные дни были редки, как птицы зимой, и с февраля по апрель школа только три раза летала по нескольку дней подряд.

По вечерам, чуть не каждый день, Родов писал о своих первых полетных успехах Марине.

В залитой электричеством читалке, где в тишине уютно шуршали газеты, особенно легко думалось и писалось. По временам Родов поднимал от исписанных страниц голову и наблюдал своих товарищей, — всех этих будущих военных летчиков, многие из которых, как и он, строчили письма о своих новых впечатлениях, о своей новой, захватывающей их деятельности — письма с далекого юга, которые с волнением ждали их близкие во всех углах огромного Союза — от шумной Москвы до занесенных сугробами сел Сибири. И Родов знал, что и там, в морозном Ленинграде, в тихом Лесном, в одном из общежитий Политехнического института, с таким же нетерпением ждут его писем. И он, своим крупным, четким, как у большинства здоровых людей, почерком старательно выводил строчки, от которых пахло жизнью, работой и уверенностью в своих силах.

Но вот с начала апреля пришла сразу южная весна, аэродром зазеленел — и машины, будто застоявшиеся в стойлах кони, радостно зафыркали перед широко распахнутыми дверями ангаров. Школа ожила в полетной горячке — и вскоре старший механик аэродрома, инженер, уже официально докладывал начальнику школы, что если такой темп работы продолжится недели три, то от зимних запасов бензина ничего не останется. Начальник школы слал тревожные телеграммы в центр, приемщик срочно выехал в Грозный, а строгий начлет [1]), экономя бензин, совершенно запретил тренировочные полеты инструкторов. Но желанный бензин пришел во-время, начшколы уже докладывал в центр, что выполнит план «на все сто процентов», инструктора по праздникам заслуженно летали с женами в Симферополь, а учлеты — особенно из новичков, — вдосталь надышавшись за день высотой и скоростью, и по ночам бормотали во сне новые, но уже милые сердцу отрывистые слова команды: «Контакт?!» — «Есть контакт!»

И Родов, вылетевший к этому времени самостоятельно, потонул в очаровании первых, столь долго жданных, самостоятельных взлетов. Письма его к Марине стали реже и короче.

Но по вечерам, где-нибудь над морем, под весенние шорохи степи, Родова охватывала такая тоска, такое сильное, ни с чем не сравнимое желание видеть Марину, чувствовать ее маленькую, широкую ладонь в своей руке, слышать ее голос, что он бежал в школу, забирался в какой-нибудь пустой класс — и странички карманного блокнота рвались в призывах, не очень связных, но искренних. Да, она должна к нему приехать летом! Хотя бы после практики!.. Устроиться тут можно, — он уже справлялся. На хуторах около школы есть комнаты — и недорого. А как здесь можно отдохнуть! Какое море, пляж! Фрукты, говорят, будут ни по чем!.. Она должна приехать... и скорее!.. — Эти строчки совсем не походили на его обычные письма, они неровно, размашисто прыгали, словно любовь, переполнявшая их, готова была выплеснуться через край маленьких, в клетках, листков...

[1]) Начальник полетной части.

И вот теперь — эта ночь в городе!.. Как это случилось?! Почему? Разве он хотел этого?.. Эти мысли мучили Родова. Но много раздумывать было некогда: дни уносились друг за другом, как самолеты со старта, и не только все силы и нервы Родова жадно захватывала машина, но и самые мысли его, как и всех его товарищей, с трудом отрывались от колдующей прелести воздуха.

Как-то, недели через две после той ночи в городе, Родов возвращался с аэродрома. Его догнал Усов:

— В город едем, Макар?..

Родов отказался.

— Тебя хотят видеть...

— К чорту!

— Но они скоро уезжают... Едем, а?!

— Отстань! — сухо обронил Родов.

Усов насмешливо пожал плечами и побежал записываться на автомобиль.

Иногда, особенно почему-то на пляже, Родов неожиданно вспоминал ту женщину, ее настойчивость в тот пьяный вечер, бесстыдные ласки... Его сильное молодое тело сладострастно потягивалось на горячем песке, он невольно закрывал глаза и ждал, пока не проходило томление. Тогда на смену приходили мысли, мучившие его последнее время... Родов пытался обвинять товарищей, подбивших его на выпивку, Усова, женщину, обстановку, но тут же он отбрасывал все это — и ему становилось до очевидности ясно, что виноват он сам, только он. Не успевал он крепко выругать себя, как уже лезло услужливое возражение: он не виноват, потому что не хотел этого, не мог хотеть, потому что любит Марину. В том же, что он любит Марину, он ни раньше, ни теперь не сомневался. Получалось, что никто не виноват. Родов порывисто перевертывался на другой бок, раскаленный, как в печке, песок больно обжигал тело, и он, морщась не то от боли, не то от злобы на себя, бормотал вдруг:

— Сволочь ты, вот что!..

Проходила минута, и Родов опять думал, что если бы он хотел изменить жене, то давно мог бы это сделать. Да ведь вот и теперь — не хочет же он снова видеть ту женщину. И он вспоминал настойчивое приглашение Усова. Как будто выходило, что он, Макар Родов, совершенно не виноват в том, что с первой встречной («да хоть бы интересная и молодая была!» — с сарказмом думал он) изменил жене, которую любит и с которой прожил всего лишь несколько месяцев. Получался заколдованный круг: мысли Родова кружились в нем, все время упорно возвращаясь к исходной точке. Утомленный этим непривычным для него и бесплодным самокопанием, Родов угрюмо хмурился и вдруг спрашивал себя: а не преувеличивает ли он значения происшедшего?.. Поймав этот спасительный и казавшийся единственным выход, Родов бросался в него, как в широко раскрытую дверь, а навстречу уже спешила опять услужливая мысль: ведь не только Усов, но и большинство его

товарищей извлекли бы из всей этой «истории» только одно удовольствие, он же...

А июньское солнце так зазывающе плавилось в мелких, как завитки франта, барашках!.. Весь пляж был густо усыпан основательно поджаренными телами; одни из них, выщерив крутые, как у борцов, грудные клетки, валялись на песке, другие, выделывая крепкими ногами замысловатые фигуры, бегали взапуски, радуясь как дети и заразительно смеясь, третьи, толкаясь и крича, прыгали с ловкостью диких с пристани в воду, а вынырнув гонялись, топили друг друга и победно орали, захлебываясь солью и отплевываясь.

...Да, конечно, он преувеличивает! — и Родов вскакивал, истомленно потягивался вылитым, как из меди, телом, несся на мостки и с разбега тоже прыгал в воду. Соленая свежесть мгновенно растворяла последние остатки недавних надоедливых мыслей, — и минуту спустя Родов уже бездумно путался в живом клубке черных, лоснящихся, как дельфины, молодых тел.

VI.

Летал Родов хорошо.

Его товарищ по группе, краснощекий великан Бабкин, — тоже способный парень, — часто говорил, лежа на старте:

— Вот смотрите, ребята, как надо посадочку делать! — и, следя за машиной, беззвучно замиравшей на зелени аэродрома, весь во власти особого удовлетворения, которое испытывает каждый летчик при виде хорошей посадки, с добродушной завистью восклицал:

— Вот чорт, Макар!.. Всегда, как приклеит!

В перерывах между полетами и классными занятиями Родов не вылезал из ангаров и мастерских, вместе с механиками любовно копошась среди самолетных и моторных частей, пахнувших эмалитом, бензином и, казалось, воздухом. И, «притирая» клапаны, ставя мотор, регулируя крылья, Родов испытывал почти то же чувство, которое захватывало его в воздухе.

В ангарах работали все ученики, и Родов не был исключением. Но некоторые из них, увлекаясь не меньше его «ручкой» [1]), от ангарных работ «ловчились», старались притти на готовенькое, то есть когда машина отремонтирована, собрана, приготовлена — только садись и лети. В классах, за теорией большинство из них скучало, а были и такие, которые серьезно думали, что «теория» вовсе не обязательна, чтобы стать хорошим летчиком. Родов не скучал. Он хотел знать тайны воздуха, законы полета чудесной машины, которую он держал в своих руках, хотел понимать ее действительные и кажущиеся недостатки. Он не удовольствовался только тем, что узнавал на лекциях и на аэродроме, но внимательно следил за специальными журналами, жадно ловя каждое новое слово. Поэтому не только самолет в целом, как законченная в своей

[1]) Рычаг управления. Увлекаться «ручкой»—увлекаться полетами.

целесообразности машина, но и все его части, нередко возбуждая удивление Родова своей продуманностью и простотой, были понятны ему и оттого интересны.

Состояние каждого ученика-летчика, особенно в первую стадию обучения, — большой нервный подъем, напряжение. Еще сильнее этот подъем был у Родова. Словно вся потенциальная энергия его многолетних стремлений теперь бурно выливалась наружу. В воздухе, за рулем, он так полно отдавался машине, как ни один мужчина своей возлюбленной. Но и на старте, и у ангаров, возле самолетов, с их упруго поблескивающими в зовущем размахе крыльями, будто застывшими в вечном порыве вперед, под будоражащий рев моторов, — Родов забывал обо всем, что не было связано с жизнью аэродрома, группы, его самого как летчика. Мир, давно знакомый ему, он воспринимал теперь по-новому. Его первые птичьи навыки должны были скоро стать его второй натурой. Как на свидание, с трепетом, Родов одним из первых бежал на аэродром — и последним с грустью покидал его.

Но авиация не была для Родова самоцелью. В его памяти еще свежо стояли картины жестоких воздушных схваток. И теперь, чувствуя себя почти летчиком, увлекаясь полётами, машиной, Родов не мог забыть, как эскадрильи англичан и белых, пользуясь своим многократным превосходством над истрепанными красными авиаотрядами, налетали на наш тыл, на аэродромы, на густые массы наступавших полков и, предчувствуя свой близкий конец, исступленно харкали огнем и кровью.

Время и теперь было тревожное. Англия опять готовила ультиматум, призрак новой войны угрожал надвинуться на только что начинавшие поправляться поля и фабрики, страна бурлила возмущением и призывами к железному отпору. И часто, выйдя из ангара покурить, Родов невольно задумывался над своей будущей, возможно близкой, боевой работой. Около ангара грудилась стайка замазанных, заезженных, как старый форд, учебных самолетов, — тех самых «Авро», которые учлеты с теплой лаской, а опытные летчики с пренебрежением именуют «Аврухами»; они мирно покачивали усталыми крыльями, и от них веяло таким же покоем, как от крестьянских телег, раскинувших оглобли на горячей пашне. Но воображение Родова превращало эти мирные машины в отряд мощных истребителей где-нибудь на тысячеверстных границах Союза,— в отряд, готовый по первому тревожному сигналу командования взметнуться ввысь и броситься на налетающего врага... Палец Родова, не чувствуя ожога, нервно прижимал огонь в трубке, словно это была гашетка пулемета, и Родов видел, как в яви, расстроенную группу вражеских бомбовозов, не успевших сбросить многопудовые бомбы и теперь поворачивающих вспять; Родов хищником пикировал на уходившего врага, снова взмывал над ним, и, как кавалерист в конной атаке со своим конем, так и он, Родов, сливался в одно существо со своей маленькой, изворотливой, как стриж, быстрокрылой машиной... И картина воздушного боя так ярко стояла перед глазами Родова, будто он в самом деле бился крыло

о крыло с товарищами — в одном общем, могучем, большевистском порыве...

— Макар!.. — забасит из ангара Бабкин. — Иди регулировку делать!..

— Вот дурень! — с внутренним смешком выругает себя Родов и, сунув трубку в карман, бросится в ангар.

Через минуту он уже покрикивает:

— Правое поднять!.. Так... Еще чуточку! Стоп!

Он — старший в группе. К его замечаниям товарищи прислушиваются. И не только потому, что он бывший механик и отлично знает машину. Он умеет правильно организовать работу.

— Дракин! — перегибаясь из-за крыла так, что жидкая стремянка вот-вот разъедется под его грузным телом, бросает вниз Родов. — Это ты, что, ли контрил тросы управления?..

— Ну я... а что?.. — ворчливо отзывается Дракин, нехотя разгибая спину от колеса.

— Это ты, называется, законтрил?!. Ах ты... угробить нас хочешь!

Дракин — известный в школе «задавала» и спорщик — только что разинет рот, чтобы достойно ответить, но в этот момент в гулкой тишине ангара слышится: п-ффff... Дракин испуганно бросает тело вниз, словно желая удержать выходящий со свистом из только что накаченной камеры воздух, но удерживать уже нечего: камера пуста. Он досадливо ругается: «Опять спустила, сволочь!» — и явно смущен.

Товарищи смеются над его неловкостью, а Родов говорит:

— Ясно: просохнуть не дал!.. Ваня, — обращается он к Бабкину,— помоги-ка ему, а то опять придется на старте золотое время терять!

А время в самом деле стояло золотое.

С той памятной для Родова ночи, после налетевшего тогда грозового ливня, прошло более месяца, — и за это время не было ни одного хмурого, неполетного дня. Солнце с утра до вечера неутомимо висело на безоблачном небе, и легкие бризы лишь лениво заигрывали с аэродромным конусом [1]). И каждое утро, когда на востоке утренняя дымка едва только начинала розоветь, помощник дежурного по аэродрому — учлет — уже мчался карьером по казармам и коридорам главного здания и, оглушительно гремя моторным поршнем вместо колокола, весело орал:

— На полеты!.. На полеты!..

Этот родной грохот стали и этот веселый окрик товарища быстрее палочки мага обрывали молодой, здоровый сон — и не проходило пяти минут, как казармы уже гудели роем хриплых со сна, но радостных курсантских глоток, а инструктора и механики спешно накачивали примуса, чтобы стаканом горячего чая с парой бутербродов прогнать остатки сна и зарядить себя на все полетное утро. Солнце еще не успевало вылезти из своего мглистого логова, а по дорожке к ангарам уже бежали будущие

[1]) Указатель направления ветра.

военные летчики — с одной мыслью: как бы сегодня побольше «подлетнуть» и услышать из уст инструктора снисходительную похвалу. У ангаров, выстроившись в ряд, с десяток самолетов уже рвали тишину просыпающегося утра оглушительным хором моторных пастей: это в ожидании летчиков механики пробовали моторы. Через десять минут все машины, солидно покачиваясь на амортизаторах, рулили на старт и, как стайка домашних голубей, привычно разлетались по всему аэродрому.

Аэродром из зеленого стал коричневым. На стартовой площадке, от беспрестанного ползания машин, трава смешалась с землей, превратившись в серо-грязный холст. Из-под винтов без умолку гудевших самолетов рвались пыльные вихри, покрывая лак машин пепельным налетом и замешиваясь с выбрасываемым из цилиндров маслом в липкую, коричневую грязь.

На старте, среди подруливающих, вылетающих или замолкнувших на минуту машин, толпились учлеты. Вылезая из машин, они с грустью расставались с «ручкой», но возбужденные только что совершонным полетом охотно уступали места товарищам, нетерпеливо ждущим своей очереди.

Одна за другой, послушные белому флажку дежурного по старту, машины уносились в голубую прозрачность утра и, сделав на высоте ста—ста пятидесяти метров первый вираж [1]), входили в общий, на часы заведенный, воздушный круг. Одни ученики делали простые полеты «по прямой», другие — выше их — «виражили», выписывая круги и восьмерки, третьи — всех выше — делали петли [2]), перевороты через крыло, «пикировали» [3]), «штопорили», — и все они крыльями своих машин чертили разделенный на зоны аэродромный воздух в строгом порядке, как танцоры паркет в grand-rond. И непрерывным потоком, соблюдая ту же дистанцию, что и при взлете, бормоча «малым газом» и пришептывая тросами, машины мягко скользили на посадках, чтобы через минуту-две снова сбросить со своих колес пыльный, жаркий, но неизменно весело гудевший аэродром.

Так — каждое утро, каждый вечер, неделями.

В полдень — после утренних полетов, уже в сумерках — после вечерних, механики едва успевали мыть, чистить и «заправлять» машины к следующим полетам, — и непонятно было, когда эти люди, насквозь пропахшие бензином, успевали есть, спать и отдыхать. У летчиков-инструкторов от недосыпания и многочасового ежедневного полета покраснели глаза, ввалились щеки, и некоторые из них уже нетерпеливо поджидали воскресенья, чтобы отдохнуть и выспаться за всю неделю.

Но учлеты были только рады этой полетной страде. Боясь пропустить свою очередь, они готовы были лететь и голодные, и усталые,

---

[1]) Поворот.
[2]) Мертвые петли.
[3]) Пикировать — планировать круто или отвесно вниз.

и даже тогда, когда мотор уже начинал подозрительно постукивать, явно требуя просмотра. Они торопились записать каждую свою посадку, подсчитывая, как скряги, свой «налет» и вычисляя месяцы, недели и даже дни, оставшиеся у одних — до самостоятельного вылета, у других — до окончания школы. После вечерних полетов, пьяные воздухом, высотой, скоростью, они валились на жесткие казарменные койки, чтобы завтра с зарей — при первых звуках знакомого подъема — вскочить и, наскоро выпив чаю и схватив каску и очки, снова бежать на волнующий их аэродром.

VII.

Не легка полетная страда, но зато как приятен праздничный отдых!.. Разве плохо, например, поваляться на пляже, никуда не торопясь, ни о чем не думая, когда же спадет жара — побродить над обрывом, сыграть в футбол, а вечером, в клубе, посмотреть товарищей, а то и самому показать с подмостков свои таланты!.. Или, вдосталь покопавшись в библиотеке, забраться в читалку и не наспех, как после аэродрома, а с прохладцей прочесть газеты, просмотреть журналы, перерыв на длинном столе весь обильный, красочный ворох! После же — сесть за шахматы, особенно радостно ощущая то возбуждение, которое испытывает каждый шахматист, когда он знает, что ему никто не помешает и спешить никуда не надо!..

Неплохо тоже поехать на катере в город!.. Забраться на корму и, болтая, щедро лакомиться персиками, просвечивающими на солнце. А потом — закурить трубку и вместе с ароматом табака вдыхать и соленый запах моря, которое до неприличия — вот как сейчас! — сине и ярко!..

Ах, все хорошо, когда мускулы — вот как эти сложенные на корме канаты, когда молодое сердце не срывается со своего здорового, будто у Мозера выверенного хода ни на мертвой петле, ни на штопоре, когда рука тверда, нервы послушнее электрического тока, глаз как у ястреба, — и когда на каждом заседании учпедсовета против фамилии «Родов Макар» секретарская рука неизменно до сих пор выводила: «Полетные способности хорошие. Аварий не было...» Да, все было бы хорошо, если бы только та нежданная тревога, которая вот уже несколько дней рвет его, Родова, сердце, рвет с каждым часом сильней, — если бы только она оказалась напрасной! Если бы...

— Макар, ты что приуныл?..

Маленький паровой катерок, лениво переваливаясь на боковой волне, не спеша бежал в полкилометре от песчаного обрывистого берега. На носу курсанты сгрудились около одного из ехавших с ними инструкторов, старого летчика, и внимательно слушали его рассказы о воздушных боях. На корме инструкторов не было, и учлеты, перебивая другу друга, оживленно болтали между собой. Конечно, говорили и спорили они о полетах, машинах, об инструкторах, — говорили и спорили без конца, потому что

каждый из них мог говорить об авиации сколько угодно и где угодно, хоть на свидании, и еще потому, что все они были полны того неподражаемого задора, который прет из каждого ученика-летчика, как застоявшийся квас из бутылки.

Из всех сидевших на корме учлетов только один Родов не принимал участия в этих спорах. Он даже не слышал, о чем говорили его товарищи. Будто внимательно, а на самом деле совершенно машинально, он смотрел на убегавшую из-под кормы дорожку. Его невидящие глаза погружались в груду взбитой, как белок, воды, напряженно следили, как этот белок начинал синеть, пузыриться, растекаться на десятки ручейков и струек, которые закручивались в узлы и, слабея, иссякали — а вскоре легкий бриз совсем слизывал их с морской глади... Так же машинально Родов переводил глаза к их истоку — к корме, где энергией винта рождалась эта бурливая жизнь воды, чтобы через несколько десятков метров раствориться в тяжелой неподвижности моря... И одновременно с этим — совершенно так же — в голове Родова возникала мысль, впервые напугавшая его три дня тому назад, она цепко схватывала его мозг, разливаясь по всем его извилинам, рождала другие мысли, которые крутились, переплетались, путались, пока, наконец, ослабев, не исчезали в глубинах сознания. Но через минуту та же мысль снова настойчиво выскакивала на поверхность сознания, весь процесс повторялся — и с каждым оборотом винта, приближавшим катер к городу, мысль эта билась все сильнее, и все тревожнее становилось у Родова на душе...

Вдруг Родов оторвал глаза от воды и повернулся к товарищам, вслушиваясь:

— Всякий летчик, чтобы хорошо летать, должен быть прежде всего абсолютно здоровым! — громко, с ударениями, точно скандируя, говорил Бабкин. — Ведь ты читал, надеюсь, — продолжал он, обращаясь к Дракину, своему постоянному оппоненту, — статью в «Вестнике воздушного флота» о работах ЦИТа об исследовании влияния, например, алкоголя на нервную систему, в частности...

— Для рефлексов, скажешь, плохо?.. — перебил его Дракин. — Знаем!.. Слышали! — и он пренебрежительно дернул головой.

— Конечно, рефлексы!.. У пьяного, как и у больного, уж не та рука, не тот глаз, не те нервы, — серьезно ответил Бабкин, отмахивая, словно вколачивая каждое слово кулаком. — Через свое нутро, брат, никуда не перепрыгнешь!.. Тут, брат, диалектика простая!.. А перепрыгнешь — так только до поры до времени, до случая!.. И по-моему...

— Ну это по-твоему!.. А вот мне один товарищ рассказывал, что был у них в отряде летчик П., так, говорит, трезвый летал волоком [1]), а как выпьет бывало, такие номера начнет отмачивать, что нам, говорит, летунам, смотреть страшно: штопорит, понимаешь, на «Ньюпоре» [2]) до самой земли и с последнего витка посадку на три точки... Что?!. Вот тебе и ре-

[1]) Посредственно.

[2]) Одноместный самолет истребительного типа времен войны.

флексы! — с видом победителя закончил Дракин, энергично сплюнув за борт.

Тут Родов вынул изо рта трубку и негромко, но так, что все услышали, насмешливо сказал:

— Слабо, Дракин!..

— То есть что значит «слабо»?!.— наскочил Дракин на нового противника. — Скажи по существу!..

— А то значит слабо, что я знал этого летчика, — на одном аэродроме стояли в девятнадцатом, — верно, ловко это у него выходило, а раз... и не прошло...

— Ну и что же?!.— не сдаваясь, все еще задорно бросил Дракин.

— Ясно что... — пыхнул трубкой Родов.

— Ну?!. — торопили его все, заинтересованные.

— Угробился, конечно... а от «Ньюпора» — один контакт! [1])

Несколько секунд все молчали. Дракин смущенно моргал. Сидевший рядом с ним учлет вдруг размашисто хлопнул его по спине и, рассмеявшись, крикнул:

— Эх, ты... гоголевская вдова — всегда сам себя выпорешь!

Засмеялись и остальные. Бабкин, забросив голову, хохотал раскатисто и заразительно, приговаривая сквозь смех:

— Ловко, Макар, ловко!..

Родов улыбался. Дракин пытался что-то говорить, но его уже не слушали.

— Ребята, город уже! — крикнул кто-то.

Катерок, обогнув мыс, бежал посреди бухты. Навстречу неслись паруса рыбачьих лодок, выходивших в море. Несколько чумазых паровых катеров деловито дымили, разворачивая тупыми носами груды молочно-голубой пены. Город, раскинутый по берегам бухты, чисто белел в лучах утреннего солнца. Живая белая бахрома легкого прибоя извивалась под ним. Приморский бульвар опоясал его зеленой каймой... От города, по-воскресному молчаливого, и от бухты с опрокинутым в ней безоблачным небом — веяло таким покоем и беззаботностью, что Родову его недавние тревоги показались преувеличенными, выдуманными им самим... Но когда катерок, подбегая к пристани, с неожиданной для его размеров силой и яростью заорал хриплым басом, когда, пришвартовавшись, стал он выплевывать из своего нутра весело гудевших курсантов, уже сговаривавшихся — куда пойти сначала,— вся уверенность Родова исчезла так же быстро, как и появилась перед тем. Сердце его снова томительно сжалось. И между двумя деловыми мыслями — как незаметно удрать от товарищей и принимают ли по воскресеньям частные врачи — опять выскочила назойливо другая, — та самая отвратительная мысль, которая не давала ему покоя последние дни, — и он, уже с мольбой к кому-то и с жалостью к себе, думал: «Если бы только не это!..»

---

[1]) Электрический выключатель.

VIII.

Пожилой, с брюшком, доктор, похожий в своем белом халате на повара, осматривал внимательно и, как показалось Родову, долго... Но вопросы, как при всяком осмотре короткие, простые, как будто ничего особенного не означающие. Когда же доктор, закончив осмотр, взглянул поверх старомодных очков на своего пациента, задёржав свой взгляд на тоскливо ждущих родовских зрачках, тогда вдруг почувствовал Родов, что эти строгие, словно пытающие старческие глаза уже знают о нем, Родове, что-то такое, чего он сам не только не знает, но и никогда не хотел бы узнать. Вымыв руки, доктор долго и тщательно вытирал их, наклонив голову набок и с любопытством заглядывая в открытое окно, возле которого беззаботно чирикал вцепившийся в ветку тополя воробей. Потом смешно загнул халат и достал из кармана серебряный, с монограммами, портсигар. Наконец, закурив, сел за письменный стол.

— Летчик?..— едва приметно улыбаясь в полинявший ус, кивнул он на нарукавный значок родовской гимнастерки.

Родов ответил, что он ученик-летчик, из школы.

— Так, так... Да вы садитесь-ка, товарищ, садитесь! — любезно показал доктор на стул и, взяв перо, стал писать, задавая обычные вопросы: фамилия, имя, возраст?..

— Женаты?..

Ответив, что женат, Родов, сам не зная — почему, торопливо прибавил, что не видел жену уже с полгода... Вдруг страх разорвал его губы:

— Что же у меня, доктор?..

Несколько секунд доктор смотрел на него внимательно, испытующе, потом отвел взгляд на докуренную папиросу, тщательно притушил ее в пепельнице, снова взглянул на Родова и тихо сказал:

— Сифилис.

Как сухие листья под порывами нордоста, бешено закружились мысли, кровь ударила в голову, но тотчас же отлила, на руках, крючками вцепившихся в колени, вздулись веревками жилы, а в опустевшей голове билось, кололо иглами, стучало по черепной коробке молотками только одно слово: сифилис, сифилис, сифилис...

— Пугаться-то, все-таки, не надо, дорогой,— кладя руку на скрюченные пальцы Родова, ласково сказал доктор.— Ведь это только болезнь, как и всякая другая...— И доктор стал говорить о том, что нужны только терпение и настойчивость, что он, Родов, будет снова здоров, что убиваться и терять голову не следует...

— Я знаю, что вылечусь,— перебил его Родов,— но не в этом только дело...

— А в чем же еще?..— удивился доктор. — Жена что ли?..— и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Конечно, пока не вылечитесь...

— И это понимаю, — смущенно перебил Родов.

— Ну, что же тогда?..

— Мне грозит исключение из школы,— болезненно морщась, произнес Родов. И он рассказал о приказе Реввоенсовета [1]).

— Ну, даже если бы?!.— осторожно сказал доктор.— Ведь здоровье — прежде всего. Кроме того ведь вам, вероятно, разъясняли, чем вызван такой приказ?! Болезнь эта, даже при успешном лечении, не проходит бесследно для нервной системы, а в вашем деле нервы — это все... Сами знаете!?— и доктор махнул рукой, как бы не сомневаясь в том, что для его пациента все это совершенно ясно.

Родов угрюмо молчал. Доктор опять напомнил, что лечиться надо немедленно, каждый день дорог... Пробормотав, что он должен все обдумать и тогда зайдет, может быть даже сегодня же, Родов встал. Он вдруг почувствовал себя страшно усталым, и ему захотелось скорее побыть одному.

Когда он вышел на улицу, то плохо соображал, где он и что делается вокруг него. Солнце попрежнему заливало оживленные праздничные улицы, шли и ехали люди, трещали трамваи, гудели автомобили,— но все это почти не доходило до сознания Родова, как будто уши его были заткнуты ватой, а глаза подернулись пленкой старческой катаракты. Он шел, сам не зная куда, уступая дорогу прохожим, или толкал их, его толкали, он переходил улицу, лавировал между лошадьми и автомобилями, не замечая их. Обрывки мыслей, бессвязных, как бормотание юродивого, вертелись вокруг одного и того же слова, острого, как бритва, и зловонного, как падаль... «Надо обдумать, надо обдумать!» — твердил Родов себе, но что собственно надо обдумать, он и сам толком не знал.

Уютный вход на приморский бульвар задержал его внимание. Видневшиеся в густой тени скамьи, почти свободные в этот час от гуляющих, обещали покой и отдых. Вот тут он все обдумает и решит, что ему делать! Он свернул на бульвар, но не прошел он до конца и первую аллею, как внезапно остановился... Да, вот оно — то место!.. И Родов до отвращения ясно вспомнил тот вечер, когда он, сидя на этой скамье, пьяный, сам шел навстречу роковому случаю... Злобное проклятие вырвалось у него, и в пустынной тихой аллее — тяжелое, как сапог пьяницы, площадное ругательство повисло на мягко трепетавших листьях акаций... «Если бы знать,— где теперь эта... задушил бы ее без всякой жалости!» Легкий ветерок качнул ветви над его головой, солнечные блики забегали по его искаженному злобой лицу, затанцовали по скамье, и, успокаиваясь, снова неподвижно вышли причудливые узоры на посыпанной гравием дорожке. Родов очнулся и, пробормотав: «Сам виноват... кобель!» — устало опустился на скамью.

Он просидел несколько минут, не двигаясь, закрыв лицо руками. Потом достал трубку и закурил.

---

[1]) По приказу Реввоенсовета СССР, больных сифилисом в школы летчиков не принимают. Если заболевает ученик-летчик, то его лечат и, в зависимости от успешности лечения,— оставляют в школе или откомандировывают вовсе.

В это время с моря донесся звук,— такой знакомый и родной, что Родов, на мгновение забыв о себе, поднял голову и прислушался...

— Черти, даже в воскресенье летают! — с завистью пробормотал он. Но гул мотора (летали гидро) растаял где-то над просторами моря, и лицо Родова снова искривилось, как от боли... Неужели из-за этой проклятой болезни его исключат из школы?!. Сколько лет стремиться, работать, и из-за одной ночи, из-за случая!..

— Сволочь... кобель, кобель!.. — злобно шептал Родов. Опять запел пропеллер, на этот раз громче, приближаясь. Родов быстро поднял голову: «А что, если доктор ошибся?!. Разве это невозможно!?.» и, с ненавистью подумав о старике-докторе, Родов вскочил и побежал к выходу с бульвара.

То западая, то внезапным будоражущим кресчендо гудел пропеллер. Родов еще не добежал до первой, на углу, аптеки, как летающая лодка, наполнив густым ревом своего мощного мотора все щели города, проплыла над улицей и спланировала на гостеприимную гладь бухты, сразу стихнув. Родов любовно проводил машину глазами, улыбнулся и, уже снисходительно думая о докторе («Старая развалина... наплел мне чорт знает что!»), смело влетел в аптеку.

Узнав адрес приехавшего из Москвы известного профессора, Родов помчался к нему.

Профессор подтвердил диагноз доктора.

Чем упрямее отмахивался Родов от мысли о возможности исключения из школы, тем настойчивее и надоедливее, как майская мошка, лезла она, лезла ежеминутно, ежесекундно,— и даже на аэродроме, на старте, садясь в машину и уже не так внимательно, как раньше, выслушивая объяснения инструктора, он не мог отвязаться от нее. Правда, когда сердце машины начинало биться, когда своим мощным дыханием она отшвыривала вместе с пылью и эту мысль и все другие «земные» мысли и, завладев всем существом Родова, уносила его в воздух, — тогда он становился как будто прежним Макаром Родовым, с острыми самоуверенными глазами под стеклами очков... Но только как будто. На самом же деле мысли, мучившие Родова целыми днями, а нередко и в бессонные теперь ночи, мысли эти, словно испугавшись высоты и рвущейся мощи машины, униженно прятались на время в самые заповедные уголки мозговой коры, но и оттуда, неприметной сапой,— вели все ту же разрушительную, обессиливающую Родова работу.

Летать он стал хуже.

Как-то, после очень неудачной посадки, Бабкин сочувственно спросил его:

— Что с тобой, Макар?..

Родов не сразу ответил. У него явилось желание все рассказать Бабкину, с которым он дружил, посоветоваться с ним. Он колебался. Помолчав, он нерешительно начал:

— Да, понимаешь... Неприятность у меня, Ваня...

Но, взглянув в ожидающие глаза товарища, Родов вдруг вспомнил твердое убеждение Бабкина, что хорошим летчиком может быть лишь исключительно здоровый человек, и, сразу потеряв всякую охоту говорить ему о своей болезни, он неожиданно для самого себя сказал:

— Жена, понимаешь, заболела... Боюсь, как бы отпуск не пришлось взять.— И, не дожидаясь вопросов Бабкина, Родов начал рассказывать, что жена сейчас на практике, на заводе, что стружкой ей поранило глаз, она в больнице, и дело, кажется, серьезно...

Правда, он в самом деле получил недавно письмо от Марины, в котором она писала, что лежит в больнице с пораненным глазом (хотя, по ее словам, никакой опасности не было), но неправдой было то, что Родов нервничал из-за нее и собирался ехать к ней. Это было тем более неправдой, что в душе он был рад этому неожиданному маленькому несчастью с женой,как ни стыдно было ему сознаться в этом перед самим собой. Марина заканчивала практику, и не задержи ее это ранение глаза, она должна была бы, как они списались, приехать к нему. Но встреча с женой казалась Родову не менее страшной, чем отчисление из школы. Правда, Родов думал, что, не будь этой задержки, он написал бы ей обо всем,— теперь же эта тяжелая необходимость пока удачно откладывалась: она не успеет приехать до осеннего семестра, а там... видно будет.

IX.

— Поняли теперь петлю?..— повернувшись с переднего сидения, спросил инструктор.

— Понял,— ответил Родов.

Бурдаков вылез из машины и дал задание, строго закончив:

— Ниже восьмисот метров не петлите!

— Есть!

Разрешающе махнув рукой, Бурдаков отошел от машины.

Команда, полный газ, привычные движения рук и ног — машина в воздухе...

Стрелка альтиметра [1]) полезла вверх быстро и ровно.

Второй круг над аэродромом — и самолеты на старте, как модели.

Родов сбавил газ и пошел «по горизонту» [2]).

Далеко вправо — в южной зоне — на той же высоте, что и Родов, две машины штопорили, ниже, впереди, — три машины старательно выписывали виражи и восьмерки, совсем внизу — будто по земле — ползали «вывозные» самолеты, а слева — с моря — наплывало облако, белое, расплывчатое, как разлохмаченный кусок ваты...

Машина послушно отвернулась от облака — и две чистые, но разной окраски, линии пристрочили капот [3]) к горизонту: слева синяя — море, справа зеленая — степь.

---

[1]) Прибор, показывающий высоту.
[2]) Горизонтально.
[3]) Крышка мотора; передняя верхняя часть фюзеляжа.

Родов дал полный газ и «ручку от себя» [1]), на снижение — наклонив, как бык, башку, машина злобно задрожала, стрелка указателя скорости полезла вверх; мотор, задыхаясь, напряженно звенел...

Ручку на себя!! — машина взмыла, сердце замерло, тело втиснулось в сидение, море и земля провалились, дыхание захватило, вывороченные глаза поймали задний горизонт, пробежали по перевернутой земле и уперлись в крыши школьных зданий.

Родов «отдал» ручку, плавно «выбрал» ее, дал газ; мотор, чихнув, довольно забормотал...

С радостно забившимся сердцем Родов, мельком взглянув на приборы и по сторонам, дал снова полный газ, снижение, и пошел на вторую петлю — она вышла еще лучше первой.

Посмотрел на альтиметр: шестьсот пятьдесят метров... Приказание инструктора всплыло и растаяло в захлестнувшейся гордой радостью голове. С мыслью: «хватит?» Родов разогнал машину и нетерпеливо вздыбил ее в третий раз.

Вдруг — левая рука соскочила с сектора, ухватилась за борт, правая судорожно уцепилась за ручку, тело отстало от сидения и беспомощно повисло на ремне, вниз головой, над остановившейся бездной.

Еще миг и — будто обессилевшая, машина пошатнулась и тяжело, камнем, ухнула на нос — земля качнулась, упала вниз, все закрутилось, как в балагане...

Родов поспешно поставил рули «нейтрально», — как раскрутившийся волчок, машина дернулась на последнем витке, тросы падающе засвистели, капот уперся в море, — волны заметно выросли... Родов толкнул газовый рычажок вперед, но мотор молчал, винт, лениво качнувшись несколько раз, встал... Оставалось садиться.

В этот момент над головой пронеслась встречная машина. Родов огляделся испуганно: левое крыло чертило синеву моря, под правое скатывались хутора, старт был далеко впереди, оттуда навстречу поднимались одна за другой две машины... «Дотяну?.. Нет!.. Дотяну [2]) ...» — заколебался Родов и, торопясь развернуться по кругу, сильно «дал правую ногу» [3]).

Неожиданно резко машина бросилась вправо, в левую щеку, упираясь, плотно ударил ветер, ручка дернулась и ослабла... Родов потянул ее влево и «дал левую ногу до отказа», но машина, все быстрее заворачивая вправо, неудержимо падала на правое крыло. Родов дернул еще рули, но правое крыло уже махнуло по земле, — и тотчас же крыши, море, степь, крыши закружились в бешеном танце...

Стрелка альтиметра, зловеще подмигнув на сто пятьдесят, — в панике падала...

Пьяные глаза в кабинку! Рули нейтрально! Скорей!..

---

[1]) «Дать ручку от себя» — заставить снижаться машину: «на себя» — наоборот.
[2]) Допланирую.
[3]) «Дать правую ногу» — повернуть машину вправо; левую — влево.

Визг вертикального пике, падающая земля, близкая...

Но крыши во-время нырнули под крылья, навстречу уже несся приветливый зеленый поток аэродрома, тросы, затихая, скулили успокаивающе, как вдруг — в уставшие глаза метнулись впереди — перед самым капотом — две машины, — одна поспешно рулила в сторону, другая стояла неподвижно, от нее во все стороны разбегались люди...

Родов испуганно дернул ручку на себя, — зеленый поток провалился, помутнел, коричневое пятно машины мелькнуло под правым крылом. Родов отдал ручку, земля обрадованно кинулась к нему, жестко ударила, подбросила, зеленый поток снова помутнел, почти остановившись, Родов судорожно еще дернул ручкой, но, словно устав уже, машина грузно провалилась и — швырок вперед, вверх, вниз, удар, тишина...

... Жирный, родной запах земли, жарко нагретой солнцем, близко ударил в нос. Секунду-две Родов висел вниз головой на ремне, прислушиваясь к этой внезапно наступившей тишине. Но затем — тотчас же — сознание неудачи, аварии захлестнуло его.

Ослабевшими, путающимися пальцами он с трудом расстегнул пряжку натянувшегося под его тяжестью ремня, вывалился, ткнувшись каской о землю, мешком из кабинки и торопливо, на карачках, выбрался из-под опрокинувшейся машины. Солнце больно ударило ему в глаза, он на миг зажмурился, но вслед затем сразу, остро, болезненно остро, увидел — и свою машину, на которой пять минут назад хотел гордо показать «класс», а теперь мертвую, униженно лежавшую на верхнем крыле с поломанными, жалко торчавшими в небо колесами смятого шасси, и подъезжавший к месту аварии дежурный санитарный автомобиль, и группу людей, бежавших к нему со старта, с рослой фигурой Бабкина впереди всех... Ужасная, раньше никогда не испытанная тоска сдавила сердце Родова. Какая-то муть, тяжелая и противная, как в старой микстуре, плавала в его усталой от каски голове...

Когда с подлетевшей санитарки лихо, еще на ходу спрыгнувший лекпом подбежал к нему и заботливо спросил: «Как вы себя чувствуете, товарищ?..» — Родов, чуть не плача от этой тоски, жалея, что у него нет даже царапины (он не смеет рассчитывать ни на какое сочувствие!), ничего не ответив, только досадливо отмахнулся от него...

Лекпом снова вскочил рядом с шофером — и старый, видавший виды «Фиат», словно понимая всю неделикатность своего дальнейшего пребывания около этого раздавленного горем, но не землей, учлета, давая знать всем бывшим на аэродроме, что тут не настоящая авария, а только обычный ученический «капот» [1]) — сдержанно крякнул своим сорокасильным мотором, развернулся на месте и, легкомысленно запылив, укатил на свое постоянное место около ангаров.

---

[1]) Капотом называется положение, когда машина опрокидывается вверх колесами на земле.

X

Инструктор
пилотажной группы
N-й военной школы
летчиков Бурдаков.
14 августа 192*
№ 117.

НАЧАЛЬНИКУ ПОЛЕТНОЙ ЧАСТИ

Рапорт.

Доношу, что сего числа учлет вверенной мне группы, Макар Родов, потерпел аварию, которая произошла при следующих обстоятельствах:

Мною было задание Родову: взять тысячу метров, сделать две петли, забрать снова высоту и сделать еще две. Однако учлет Родов, сделав хорошо две петли, не забирая высоты, пошел на третью, на которой завис; в результате — штопорнул. Выйдя из штопора, не мог запустить мотора; планируя против общего круга, передрал машину и при развороте снова сорвался в штопор, из которого вышел лишь перед самой землей. При посадке едва не наскочил на стоявший с остановленным мотором самолет 9-й группы, довольно удачно перепрыгнул через него, но затем не выдержал машину, плюхнул и скапотировал.

Учлет Родов невредим. У самолета (№ 22, мотор Рон 120 № 46572) поломано: шасси, две нервюры и кромка правого крыла, винт, руль направления, помяты носок и капот. Машина будет готова к завтрашним утренним полетам.

Полагаю, что причина аварии — недостаточная дисциплинированность учлета Родова и, кроме того, проявленные им в полете нервность и растерянность. Ввиду этого и во изменение моей прежней аттестации аттестую Родова по разведывательной линии.

Военлет *Бурдаков.*

Редкий ученик-летчик кончает школу без одной, хотя бы маленькой поломки. В том, что Родов поломал машину, не было ничего удивительного. И поломка-то была незначительная. Но Родов никак не мог согласиться с тем, что его авария есть следствие, как сказал ему Бурдаков, «кучи» ошибок, наделанных им в полете. Родов был убежден, что виновата просто случайность, или даже сцепление нескольких неприятных случайностей: зависла петля, залился мотор, помешала при посадке другая машина... И он не мог без мучительной обиды вспомнить, как после полета Бурдаков, в присутствии других учеников, загибая пальцы на обеих руках (это почему-то особенно раздражало Родова), перечислял эти ошибки. Особенно же обидно было обвинение, что он растерялся. Он, Родов, и растерялся!.. Никогда он не терялся, ни при каких обстоятельствах (и Родов вспоминал свой воздушный бой)... «А вот сам-то Бурдаков

действительно раз «опупел», когда недавно у него встал мотор на взлете!.. Только случайно не вмазал в ангары! Сам еще зелен, а тоже: растерялся! — злорадно думал Родов о своем инструкторе, которого недавно считал одним из лучших в школе. — Ну подожди же — он ему еще покажет, как надо летать!..»

После трехдневного перерыва — не летали из-за низкой облачности.— Родов сделал несколько удачных полетов на те же петли, а в течение следующей недели удовлетворительно закончил вместе с группой высший пилотаж. Это еще более укрепило Родова в том, что его авария — простая случайность, возможная с каждым летчиком. Тем сильнее было его озлобление, когда ему стал известен рапорт Бурдакова. Он даже попробовал жаловаться военкому.

Военком, — немного грубоватый, но пользовавшийся среди учлетов популярностью, влюбленный не меньше их в авиацию (сам он, дважды «подержавшись за ручку», уже мечтал сменить хлопотливый комиссарский стул на заманчивое кресло пилота), — сначала терпеливо слушал жалобы Родова, пока тот вдруг не заявил, что мало того, что Бурдаков беспартийный, он еще вдобавок чуть ли не дворянчик — «и во всяком случае сын спеца», интеллигент, а потому тянет за уши таких же, как он, а вот его, Родова, бывшего механика...

— Ну-ну... это уж демагогия, Родов!

— Ничего не демагогия, — обиделся Родов и, волнуясь, начал развивать дальше свою мысль. Но чем больше он говорил, тем сильнее чувствовал, что он неправ и что коснись это не его, а другого, он первый назвал бы это демагогией. И, еще больше раздражаясь от сознания, что прав не только Бурдаков, но и военком, Родов, ненавидя и Бурдакова, и военкома, и себя, — продолжал упрямо, но еще более бессвязно, обвинять Бурдакова в пристрастии и чуть ли не в контрреволюции...

— Будет трепаться, Родов... будет! — перебил его военком, но, взглянув на покрасневшее, расстроенное лицо Родова, он только теперь заметил его странную нервозность и удивленно сказал:

— Да какая тебя муха укусила, что ты на рожон лезешь?! Что особенного, в конце концов, случилось?!. Или мы в разведчики тупиц посылаем, что ли!..

Родов упрямо заявил, что главное не это, а принцип, — и снова начал доказывать правоту своих утверждений. Но военком не дал ему договорить.

— Ладно... Катись, катись! — нетерпеливо махнул он рукой.

«Тоже генералом стал!» — зло заключил Родов, едва удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью кабинета.

Раздражение против инструктора перешло в злобу против военкома, мысль о том, чтобы пойти к начлету, была тотчас же прихлопнута новой волной раздражения («Уж раз военком, так что там с беспартийной шпаной разговаривать!») — и даже о тех из своих товарищей по выпуску, которые уезжали в истребительную школу, в том числе и о своем друге, Баб-

кине, Родов, считая их всех менее способными, чем он сам, не мог думать без какой-то завистливой неприязни.

Да и все окружающие раздражали теперь Родова и особенно — женщины.

Как-то он и Бабкин шли к морю. Около спуска они столкнулись с эффектной, пышной блондинкой, женой Бурдакова. Она шла с пляжа, солнце лукаво искрилось в ее голубых, освеженных морем, глазах, под узким купальным халатиком чувствовалось вымытое солью смуглое красивое тело. Приостановившись, она, обращаясь к Бабкину, укоризненно сказала:

— Так-таки вы меня и не выучили плавать?!

Бабкин — лучший пловец в школе — пробормотал, что он, вероятно, и сам разучился плавать — так мало приходилось последний месяц бывать на море, а Родов, криво усмехнувшись, вдруг спросил:

— А вы в самом деле хотели выучиться плавать, или?..

Он замялся. Бурдакова, покраснев, вызывающе бросила:

— Что «или»?.. — и, возмущенно перекинув простыню на другую руку, пошла дальше, еще более раскачивая бедрами, чем обычно.

Даже на аэродроме Родову не было теперь легко и приятно. Его новый инструктор на «Пуме» [1]), Новиков,был по мнению учеников душа-парень, но с тех пор, как он сделал однажды Родову замечание относительно управления в воздухе мотором, Родов и к нему стал относиться с неприязнью. Самолюбие Родова было уязвлено в самое больное место: как? — он, старый механик, и не знает, как надо обращаться с мотором!.. И даже «Пума», та самая «Пума», на которую с ленивого «Авро» ученик пересаживается с почтением, даже она своей тяжелой поворотливостью вызывала у Родова недовольство. «Корова!» — ворчал он. И потерянная возможность летать на шустрых одноместных истребителях больно шевелилась в его голове. Правда, неприязнь к «Пуме» прошла, лишь только он вылетел на ней самостоятельно. Она даже начинала нравиться ему. Было что-то веское, значительное и успокаивающее в том, как она, солидно пофыркивая выхлопными трубами, деловито влезала в воздух и, будто довольная собой и летчиком, сбрасывала со своих толстых пневматиков метры, сотню за сотней, мурлыча клапанами и посвистывая радиатором.

Но вне аэродрома, на «теории» — Родов теперь скучал, чувствуя апатию ко всему и усталость. Он забросил кружковую работу и даже перестал посещать марксистский кружок, где наиболее активные ребята упорно сидели над историческим материализмом. Пропустил уже несколько раз заседания ячейки, а когда бывал там, то или сонно молчал, или вдруг, из-за пустяков, начинал спорить, придираясь к другим, но вставая тотчас на дыбы сам, лишь только кто-нибудь из товарищей предлагал поручить ему ту или другую работу. Он отказывался, ссылаясь на перегрузку и недвусмысленно намекая, что и его авария — результат переутомления.

[1]) Самолет разведывательного типа с мотором «Пума» 240 сил. Самолет этот является переходным — между «Авро» и боевой мощной машиной.

Это было непохоже на Макара Родова, но товарищи пока деликатно молчали. Вечерами в читалку Родов заглядывал теперь редко; посидев над «Правдой» десяток минут, он скучающе оставлял ее и брал первый попавшийся под руку журнальчик, наскоро перелистывал его — и тоже бросал. Шел в библиотеку, выбирал какой-нибудь роман и, предвкушая отдых, забирался с ним в один из тихих уголков клуба; но лишь только чужая жизнь раскрывалась перед ним, его мысль соскакивала с нее, как колесо с рельс, и начинала нудно копошиться в его собственной. Он с сердцем захлопывал книгу и бежал на воздух, к морю, подальше от товарищей, от их шуток, от их беззаботного здорового смеха...

Августовская тьма дружелюбно прятала его, огни школы оставались уж далеко позади, а он, с трудом различая тропку над самым обрывом, все шагал в темноту ночи... Заброшенный маяк, как какой-то сказочный великан, шутя перешагавший степь, но в раздумьи остановившийся над морем, неожиданно вырастал перед ним. Родов садился у его подножия и раскуривал трубку. В железных переплетах маяка теплые вздохи степи перешептывались с влажным дыханием моря, в пряно пахнущей, высушенной, как мох, степной траве безмятежно распевали кузнечики, а внизу, под ногами Родова, мягко фосфоресцируя, облизывалось на камнях море... «Хорошо, чорт подери!» — невольно вырывалось у него. Но не успевал он вполне отдаться этому радостному жизнеощущению, как оно уже бесследно исчезало и против его воли им снова завладевали тоскливые мысли о себе. И в сотый раз перед ним вставала дилемма: или — продолжать скрывать болезнь, почти сознательно запуская ее (к врачу, в город — редко удавалось ездить чаще одного раза в неделю), но зато продолжать полеты, или—лечь в госпиталь, но быть, возможно, отчисленным из школы,— дилемма мучительная и, казалось, неразрешимая. Неизбежность разрыва с женой, если он не вылечится скоро, заливала тоской его сердце, страстное желание быть скорее снова здоровым вдруг властно охватывало его, ему становилось жалко себя — и он вдруг решал: завтра же пойдет к школьному врачу. Но через минуту страх перед исключением из школы заставлял его так же быстро отказываться от принятого решения, и он, сжимая кулаки, бормотал:

— Нет, нет и нет!.. Летать буду во что бы то ни стало!..

Измученный, он лежал неподвижно, уставившись на далекий, мигающий, как звездочка, одинокий огонек на морском горизонте, потом вставал и, еще более усталый, возвращался в школу.

В строевой канцелярии Родов не застал делопроизводителя.

— А вы что хотели, товарищ?.. — спросил его один из красноармейцев-переписчиков.

Родов сказал, что ему нужно посмотреть приказ Реввоенсовета о медицинском освидетельствовании летчиков.

Красноармеец порылся в шкапу и, протягивая тетрадку приказов, сказал:

— Вот тут заложено.

Родов отошел к окну и нетерпеливо раскрыл тетрадь... С трудом оторвав глаза от мелких, сухих строчек, он опустился на стул...

Перед окном, на полуденном солнцепеке, рылись куры, и одна из них привлекла внимание Родова: она деловито расшвыривала мохнатыми лапами пыль, потом два или три раза (Родов заметил, что не больше трех) клевала — и снова расшвыривала, делая все это важно и ритмично; другие куры с завистью ходили вокруг нее, изредка, будто для очистки совести, тыкаясь в перегорелую землю; но лишь только они выражали несмелое желание попробовать на том месте, где рылась мохноножка, — она, нахохлившись, сердито клохтала и принималась еще усерднее работать ногами и клювом... «Вот подлая!» — подумал Родов, но, переведя глаза дальше, тотчас же забыл о курах. Бетонная плоская крыша очистительной станции в овраге, наискось сбегавшем к морю, белела на солнце, как лист бумаги... «А в самом деле — если прорыть этот овраг, то получилась бы не плохая бухта!» — вспомнил Родов чей-то фантастический проект, но мысли его не задержались на этом и вместе с усталыми глазами поплелись дальше — по тропе над обрывом, к спуску, куда спешила сейчас толпа учлетов, с полотенцами, — некоторые уже без рубах, — купаться. Родов вгляделся пристальнее и легко узнал среди них великана Бабкина, тотчас же с болью вспомнив, что и Бабкин, и другие «истребители» уезжали завтра в боевую школу. Бабкин был в одних трусах, крупно, упруго шагал и, очевидно, о чем-то оживленно говорил, потому что его кулак, как всегда в таких случаях, двигался ритмично и резко, словно это был не кулак, а молоток, забивавший гвозди... Родов вдруг с необычайной отчетливостью увидел этот кулак — большой, крепкий, в мелких веснушках и волосках-золотинках, — которым Бабкин тогда на катере, сидя рядом с ним, вколачивал слова, заставившие его, Родова, прислушаться к болтовне товарищей: и в ушах Родова, под стук канцелярской машинки, явственно зазвенело: «Ведь через свое нутро не перепрыгнешь, а перепрыгнешь — так только до поры до времени, до случая!» — «Ни черта, перепрыгну!» — прошептал Родов и, зло заключив: «Еще и получше тебя, Ваня, летать буду!», вскочил и, сунув красноармейцу приказы, выбежал из канцелярии.

XI.

Целую неделю не летали. Свирепый, влажный моряк [1]) яростно набрасывался на длинные фасады школы. Из темных сизых туч, будто свалявшихся с зыбким горизонтом в один сплошной грязный войлок, непрерывно вылезали все новые и новые полчища облаков и беспорядочной лавой наседали на берег, на школу. Сначала они тягуче ползли, макая свои грязные отрепья в гребни катившихся к берегу волн, затем обгоняли их и, оставив злобствовать на прибрежных отмелях, сами, едва не задевая за лопавшийся от натуги аэродромный конус, стремительно проносились над

[1]) Ветер.

школой, то окатывая ее щедрыми потоками ливня, то затягивая нудной сеткой осеннего дождя.

В ангарах, от врывающихся в щели вихрей, самолеты одиноко, печально покачивали крыльями, — и ангарная пустота тоскливо грохала половинками огромных, слабо сидящих в своих пазах дверей. Аэродром, — хлюпкий от напитавшего его за все лето дождя, пустой и мертвый, будто сроду и не знавший веселого самолетного гама, — был неприятен, скучен и уныл, как бездействующий, заброшенный завод.

Был партдень. Вечером, после собрания ячейки, Родов пошел было в читалку, но дорогой раздумал: ему вдруг захотелось на воздух. С трудом выхватив у засвистывающего по коридорам сквозняка тяжелую выходную дверь главного подъезда, он вышел на крыльцо — и сразу окунулся, как в ванну, в сырую тьму. Ветер попрежнему завывал в проводах, но дождя уже не было, и даже две-три звезды несмело пробивались на темном, будто вымазанном сажей небе. Постояв с минуту в нерешительности, Родов запахнул плотнее кожаную тужурку и опустился на широкую каменную ступень крыльца. Он был сильно расстроен.

На собрании ему был поставлен вопрос: почему он уклоняется от партийной и общественной работы?.. Если он переутомился — пусть просит отпуск!.. Родов поблагодарил товарищей «за заботы», но заявил, что ни в каком отпуске не нуждается, так как дело вовсе не в утомлении, а в «некоторых неблагоприятных обстоятельствах его личной жизни»... Военком заметил, что этого еще недостаточно, чтобы забывать о своих партобязанностях. Родов, начиная раздражаться, ответил, что он и не забывает, а просто не может пока вести никакой другой работы, кроме полетной, а вот сам-то военком забывает, к чему ведет перегрузка учлетов-партийцев... Задетый за живое, военком сухо и не без ехидства спросил: «С каких это пор товарищ Родов стал демагогом?..» Родов, тотчас же вспомнив свой недавний разговор с военкомом, вспылил и назвал его чиновником... Его призвали к порядку, поднялся шум, одни стали на его сторону, большинство на сторону военкома. В конце концов потребовали, чтобы Родов объяснил, какие это неблагоприятные обстоятельства мешают его работе. Он категорически отказался, заявив, что они касаются его одного. На это ему с возмущением было указано, что личная жизнь члена партии не может не касаться всей партии и что ему, Родову, пора бы об этом знать. Пусть он скажет в чем дело, и тогда ячейка, возможно, и учтет его «обстоятельства», а иначе — это только одна отговорка. Родов снова отказался. После споров постановили: вынести Родову порицание за нарушение партдисциплины — с предупреждением, что если и в дальнейшем он будет уклоняться от работы, то направить дело дальше — по партлинии.

Трубка долго не раскуривалась. Порыв ветра, продравшись сквозь густую заросль жестких волос, освежил голову, и боль, тяжелая, как угар, уползла в холод ночи... «Партдисциплина! — думал Родов. — А что бы они сказали, если бы.. Не понимает, что ли, он, что, скрывая болезнь, он идет против приказа Реввоенсовета, против партии!..»

— Вот тут можно говорить о партдисциплине, — вслух сказал Родов... Ему было холодно, он дрожал, но эта мрачная тьма и уплывавшая в нее мокрая степь, и мелькавший вдали одинокий огонек караульного помещения на аэродроме как будто помогали ползти тем мыслям, от которых Родов пугливо отмахивался при свете и на людях... «Приказ!.. А разве в конце концов он делает что-либо преступное! Он всего-навсего только хочет быть летчиком. Он не желает только запускать моторы и глядеть, как другие летают. Нет, довольно! — и Родов сердито сплюнул. — Он во всяком случае заслужил, чтобы быть летчиком! И в тысячу раз больше, чем какой-нибудь Дракин — пустобреха и задавала! Даже больше, чем Бабкин!.. Они, едва понюхавшие авиацию, будут летчиками, а вот он, Родов, рабочий, авиамеханик, с боевым стажем (Родов с горечью вспомнил, как его «обошли» на фронте с орденом Красного знамени), он, для которого авиация — вся жизнь, он, видите ли, должен пойти и доложить начальству: так-де, мол, и так, неприятный случай, заболел, так уж вы явите милость, не выгоняйте!.. Нет-с, к дьяволу, дорогие товарищи! — злобно сжал кулаки Родов. — К чортовой матери!..»

— Макар, ты?.. — крикнул вдруг из темноты голос Усова.

Родов неохотно отозвался.

— Ты у почтаря был?..

— Нет... А что?..

— Тебе телеграмма!

— Телеграмма?.. А где она?.. — вскочил Родов.

— У почтаря, если не передал уж в роту, — на ходу ответил Усов и растаял в темноте.

Телеграмма была от Марины. Родов несколько раз перечитал ее. Пальцы, державшие бланк, дрожали.

— Неприятное известие получили, товарищ?.. — сочувственно спросил в окошко старичок-почтарь.

— Нет... Ничего... — смущенно пробормотал Родов. Он сунул телеграмму в карман и вышел. Пройдя машинально несколько коридоров, он вдруг остановился, постоял с минуту, задумавшись, и побежал искать командира роты, чтобы получить назавтра, с первым грузовиком, отпуск в город.

XII.

Пустой трехтонник гулко прыгал по разбитому шоссе. Местами шофер коротал дорогу проселками. Ошметки липкой грязи фонтанами били из-под колес, жирно припечатывая борты кузова. Сидя на куче сложенного брезента рядом с двумя красноармейцами-рабочими, Родов мучительно думал о том, как он встретит Марину, что скажет ей и как скажет... Ах, зачем эта встреча, такая желанная недавно, но такая тяжелая теперь — и ненужная, ненужная!..

Он вспомнил почему-то вдруг последнее расставание с женой — тогда, зимой, на вокзале в Ленинграде: он, уже после третьего звонка,

вскочил на площадку, и у него вырвалось: «Марина, когда же мы теперь увидимся?» Она, ничего не сказав, выбросила к нему навстречу маленькую, но крепкую руку и сильно, по-мужски, сжала его пальцы... Поезд тронулся, она, не выпуская его руки, шла молча рядом, поезд разорвал их последнее рукопожатие, она отстала и, как-то бессильно махнув рукой, не оглядываясь побежала по перрону... А он стоял потом на площадке, в раскрытую, мотавшуюся на закруглениях дверь врывался ледяной ветер, он замерз, но колеса все чаще, все задорнее постукивали на стрелках, поезд, махая километрами, все стремительнее убегал в ночь, и он продолжал стоять, забыв о тепле вагона. Все еще чувствуя рукопожатие маленькой руки, он, держась за поручни, высовывался в летящую мимо морозную тьму, висел над белой, льющейся под ним лентой. Ледяной вихрь захватывал ему дыхание, ему казалось, что он летит, а вагонные колеса выстукивали: любит, любит, любит... И тут — на пляшущей площадке вагона, среди морозной тьмы снежных полей — он вдруг почувствовал такой прилив сил, молодости и здоровья, что ему захотелось по-мальчишески выкинуть что-нибудь такое, в чем вылились бы эти бившие через край силы. Приплясывая от охватившего его озноба, он, не умевший совершенно петь, вдруг начал орать все, что взбрело на ум — на какие-то дикие, никогда не слышанные, но победные мотивы...

— Гражданин! — оборвал его сердитый окрик пробегавшего кондуктора. — Вы что... очумели?!.— Осветил его фонарем и, увидав под буденновкой сконфуженное краснощекое лицо, кондуктор, еще с сердцем захлопывая дверь, сказал уже мягче: — Не знаете, что ли, товарищ, что на площадке стоять не полагается?!

Он пробормотал что-то в свое оправдание и прошел в вагон...

Грузовик, надрывисто хрипя, влезал на гору. Один из красноармейцев, досыпавших невыспанную ночь, проснулся, зевнул и завистливо посмотрел на трубку Родова:

— А что, товарищ, закурить не найдется?..

Родов достал табачницу и передал ему. Бумага нашлась у другого красноармейца. Оба закурили.

— В город?.. — благодушно спросил первый.

— Да, — ответил Родов.

— По делам или так?.. — словоохотливо поддержал разговор другой.

— Нет, так... — неохотно ответил Родов. Красноармеец согласно кивнул и, понимающе взглянув на небо, сказал:

— Ну да... ведь все одно сегодня не летать!..

Родов тоже посмотрел на небо: «Сегодня-то нет, а к завтрему, пожалуй, продует», — по привычке подумал он. Красноармейцы, докурив, снова задремали в шинельных воротниках. Грузовик, взобравшись на гору, опять со слоновой легкостью загрохотал по шоссе...

На минуту выглянуло солнце. «Определенно продует!» — опять взглянув на небо, радостно решил Родов. Но тотчас же почувствовал, что радости близких полетов, как всегда после перерыва, сейчас что-то ме-

шает... И он вспомнил вчерашние неприятности в ячейке... «Вот сволочь военком! — сдвинул он брови. — Ну да чорт с ним! — думал Родов дальше. — Он, Родов, будет работать, но уж если у него опять с полетами не поладится, он молчать не будет... Нет, товарищ военком, мы тогда тоже по партлинии сообщим, как ты начальствуешь! — злорадно ухмыльнулся Родов. — «Демагог»! — возмущенно вспомнил он — Ах ты!..» Отведя душу на военкоме, Родов забыл о партийных делах. Солнце, словно не на шутку рассердившись на закрывавшие его тучи, растопило их и тепло одело иззябшую степь. Родов посмотрел на часы, с тревогой подумав, что, пожалуй, и сегодня еще будут летать. Успеет ли он вернуться к вечерним полетам?.. Но вспомнив, что он едет встречать жену и что ему предстоит сегодня распутать их жизнь, недавно удачливую, хорошую, а теперь запутавшуюся в его болезни и лжи, Родов забыл о полетах, и опять в голове тоскливо забились все те же мысли: как он ее встретит, расскажет ей обо всем — и как она это примет?

Когда паровоз московского скорого поезда, наполнив грохотом железа все уголки тихого вокзальчика, остановился, из вагонов высыпала на перрон такая густая, беспокойная, суматошная толпа, что Родов, боясь пропустить Марину, бросился с перрона назад, к выходу, — и встал. Мимо него полился пестрый, казалось бесконечный, людской поток, — и глаза Родова едва успевали схватывать в этом потоке женские лица. Родов ждал, что вот-вот из глубины потока родной голос обрадованно крикнет: «Макар!!» — и он уже почти физически чувствовал крепкое рукопожатие маленькой руки и радостную ласку голубых, еще ни о чем не знающих глаз...

Но поток редел, затихал, быстро иссякая, как вздувшаяся после ливня горная речонка, — а Марины все не было... «Что же это значит?..» — недоуменно подумал Родов. Вокзал снова затих, и только шаги освободившейся поездной бригады гулко звучали на асфальте... «Неужели я ее пропустил?!.» — спрашивал себя Родов.

— Товарищ, — с последней надеждой крикнул он пробегавшему носильщику, — кроме этого выход с перрона есть?..

— Нет.

«Значит, не приехала!.. Но как же так?!. Почему?..» Он достал из кармана скомканную телеграмму и расправил ее: «Удивляюсь молчанию больницы выписалась выезжаю завтра». Родов посмотрел на дату отправления: «Все правильно, она должна была приехать сегодня!.. А может быть с почтовым?.. Тогда завтра. — Вдруг Родов зло скомкал листок. — Дура, не могла указать, с каким поездом едет!..» На душе у него было нехорошо, как всегда у человека, который долго и напрасно ждал чего-либо. От сознания, что придется еще сутки мучиться ожиданием тяжелой и все равно неизбежной встречи с женой, было особенно нехорошо.

Проболтавшись в городе до полудня (автомобиль уходил в два), Родов пришел уже на пристань, как вдруг вспомнил, что ведь ему надо зайти

к доктору, у которого он давно не был, и в институт — за результатом исследования крови.

В школу он вернулся поздно вечером — с последним грузовиком, — удрученный и совершенно разбитый. Бумажка, лежавшая у него в боковом кармане, как каменная плита давила на сердце.

XIII.

Утро встало хмурое. Все еще низкие облака беспорядочно, как растрепанный арьергард прошедшей с боем армии, тащились с моря. Дежурный по школе инструктор, сделав на рассвете последний обход, пошел в дежурку — вздремнуть. Часов около шести над серым морским горизонтом протянулась первая светлая полоса. Через полчаса их было уже три, и барашки довольно еще крупных волн помолодели. Помощник дежурного побежал на аэродром и, осмотрев с вышки, на которой реял туго набитый ветром белый конус, весь далекий горизонт, понесся докладывать дежурному, что «проносит». А через пять минут он уже мчался карьером по коридорам и казармам и, оглушительно гремя моторным поршнем, весело орал:

— На полеты!.. На полеты!..

В учлетской казарме все койки были мигом прибраны, а хозяева их уже плескались в умывалках, поскидав рубахи и оживленно переговариваясь. Лишь на четырех койках продолжали лежать завернувшиеся в одеяла фигуры: два учлета были вчера в наряде, один — больной, четвертый был Родов.

Усов, попавший и на «Пуму» опять в одну группу вместе с Родовым, увидя, что он спит, подбежал к нему:

— Макар!! Ты что же, сволочь, дрыхнешь?! Ведь летаем!!

Родов сердито поднял голову:

— И без тебя знаю.

— Ты болен, что ли? — изумленно спросил Усов.

Родов сбросил порывисто одеяло и проворчал:

— Что ты пристал, как банный лист?! «Болен, болен!..» Ничего я не болен... Просто не выспался.

В опустевшей умывалке Родов долго держал голову под краном. Холодная вода немного растворила тяжесть бессонницы. Подумал было вымыться до пояса, но стало лень. В дверях уже пустой казармы его встретил дежурный по роте.

— Опоздаешь! — сказал он.

— Разговаривай! — бранчливо отозвался Родов и прошел к своей койке.

Вытащив из-под изголовья тужурку, он достал из шкапика каску и очки. Оглянувшись на дежурного, вынул из кармана бумажку, сложенную вчетверо (это было свидетельство об исследовании крови). Постоял над ней, нахмурившись. Снова спрятал ее, закурил и, не заходя в столовую, без чая пошел на аэродром.

Полеты уже начались.

Но через полчаса очистившееся небо снова затянуло расплывчатыми, как туман, облаками. Солнце потускнело и скоро совсем закуталось в эти налетевшие с моря туманные отрепья. Родов не успел полетать. Как раз перед его очередью шары на мачте спустили: полеты были закрыты. Но было приказано самолеты пока не заводить, а только подрулить к ангарам.

В надежде, что ветер живо разгонит упорствующую сентябрьскую хмурь, машины, подставив ему стальные носы, чинно выстроились около ангаров. Учлеты беспрестанно поглядывали на небо, боясь, что им так и не придется сделать за утро больше «ни одной посадочки». И оттого, что на аэродроме было грязно и нельзя было полежать у крыльев машин, — все они ждали полетов особенно нетерпеливо.

Родов устроился удобно. Между двумя крайними ангарами был деревянный сарай, в котором хранилось всякое самолетное старье. Дверью сарая служил занавес из толстого палаточного брезента. Родов собрал под себя длинные, свисавшие складки, сел, развалившись, и занавес удобно натянулся, как спинка лонгшеза. Проходивший мимо механик покачал головой:

— Смотри, Родов... Попадет тебе от Ивана Ивановича! — и хозяйственно прибавил: — Опять все кольца пообрывали!..

Родов пренебрежительно отмахнулся.

«Попадет! — ворчливо думал он, раскуривая трубку. — Подчинен он, что ли, Ивану Ивановичу?! Ну и пусть жалуется!.. Очень он его испугался!.. Из-за гнилого брезента бузу разводит, а сам-то...» — и Родов не без злорадства стал припоминать все грехи старшего механика аэродрома.

— Чинуша! — презрительно заключил он вслух... И тотчас же вспомнил о военкоме и последнем заседании ячейки. Несколько минут он сидел в мрачном раздумьи, уставившись невидящими глазами в раскрытую напротив дверь ангара...

— Родов!!. — уже второй раз заорал оттуда механик группы. — Оглох ты, что ли?! Который час?..

Ответив механику, Родов вспомнил, что и для него самого небезразлично, который теперь час. Он еще раз посмотрел на часы: было около девяти. «Значит, она уже в городе!.. Не поехать ли встретить ее хоть на Северную?!. — и он сделал движение встать... — Нет, он не поедет! — и, оправдываясь перед самим собой, Родов снова развалился на брезенте. Да и жалко уезжать от полетов!.. Но будут ли полеты?..» — взглянул он на небо.

Словно в ответ на его вопрос, солнце на минуту вылезло сквозь дырявые туманные лохмотья, пробралось в раскрытие двери ангара и весело блеснуло на полированном винте стоявшей в ангаре запасной «Пумы». Механик с помощником возились около нее запаивая подтекавший радиатор. Солнечный луч расцветил его соты, и казалось, что они не из металла, а из воска, золотистого и пахнущего свежим медом... И Родов увидел

себя мальчишкой в деревне, на побывке у деда Силантия, на пасеке... Липовые колоды полусгнили, стоят в дедовом саду будто тысячу лет, и под вечер, когда вдруг захочет сбегать в сад за яблоком, страшны уж не пчелы — они спят, — а эти дедушкины ульи — стоят, как мертвецы, оскалившись... А днем — пчелы... — «Макарка, подь сюды, не бойсь!» — кричит ему дед. Но Макарка предпочитает держаться на почтительном расстоянии. — «Да рази они укусют! — уговаривает дед, — чай, пчелка-то умница, али зря она тронет!» — и Макарка с ужасом видит, как дед запускает голую руку в улей, пчелы плотно залепили его морщинистую шею, а он, выбрав свободной рукой запутавшуюся в седой бороде пчелку, только ласково приговаривает: «Ну лятай, лятай!..» — «Нет уж лучше в город!» — решает Макарка, с радостью вспоминая, что к его приезду отец обещал принести с завода еще одну шестеренку и подарить настоящие тиски; останется только найти толстую доску, — и уж тогда ребята на дворе увидят, какую машину может построить Макарка....

Родов мечтательно улыбнулся... Вспомнилось ему, как отец катал его на велосипеде: отец кладет на руль подушку, подсаживает его и ловко на ходу вскакивает на седло; они несутся за город, в зелень лугов; обочина шоссе стелется под ногами Макарки, мелькают тумбочки, солидно шагают телеграфные столбы, старый велосипед скрипит, трещит, и на спуске кажется Макарке, что вот-вот полетят они со своим конем в канаву... «Не страшно?..» — кричит ему на ухо отец. — «Не-е!» — кричит Макарка; ветер набивается ему в рот, ручонки цепко ухватились за руль. Ему, конечно, страшно, но он с отчаянным удальством орет: — «Вперед, до полного!..» — Отец отпускает тормоза, телеграфные столбы бросаются вскачь, — и шестилетнее Макаркино сердце восторженно замирает в свисте несущегося навстречу вихря...

Тут воспоминание детства растаяло, и тотчас выдернулось другое: Ленинград. Взморье. Августовский теплый вечер. Они с Мариной катаются на лодке. Она гребет хорошо, но ей хочется научиться быстро поворачивать лодку одними веслами — без руля. Он командует: — «Правым, Маринка, правым!..» Это воспоминание затопило болью сердце Родова: ни разу еще с такой болью он не чувствовал, как почувствовал это сейчас, что их любовь с Мариной, их совместная жизнь — смята, безнадежно растоптана, и растоптана им самим, его ложью, его болезнью. Мысли его, обессилев, потухли, словно потушенные его больною кровью. В изнеможении он закрыл лицо руками. Если бы мог, он заплакал бы...

— Макар! — крикнул пробегавший учлет.— Что же ты валяешься?!. Полеты открывают!

— Полеты?!.— испуганно вздрогнул Родов. Он взглянул на небо, тяжело поднялся и вышел из-за ангара.

Порыв все еще холодного моряка неприятно пронизал его. Зябкая дрожь прохватила тело. Поеживаясь, он подошел к групповой «Пуме». Механик «заливал» мотор. Инструктора и учлеты уже тянулись к старту. Другие надевали шлемы и залезали в машины.

— Ты, что ли, первым летишь, Родов?.. — спросил механик.

— Ну, я...

— Так Новиков велел рулить на старт — он с учениками уже ушел туда.

Родов надел каску и полез в машину.

Мотор долго не запускался. Наконец пошел, но неровно — с пропусками: не работали два цилиндра. Родов выключил контакт. Механик открыл капот: нужно было промыть свечи.

— Ну как?.. — с трудом сдерживая раздражение, спросил через минуту Родов.

— Успеешь, — ответил механик.

Все машины уже ушли на старт. Родов один остался у затихших ангаров. Порывы ветра, жалобно посвистывая в тросах и раскачивая крылья, дергали элероны и рули, «ручка» сердито теребила руку, как живая. Зажав ее между колен, Родов откинулся на спинку сидения. И вдруг — впервые за все время пребывания в школе — он совершенно отчетливо осознал, что лететь сейчас ему не хочется. «А что если пойти и заявить, что он неважно себя чувствует?..» Но мысль, что инструктор пошлет его, вероятно, к врачу, тотчас же придушила это желание. «Разве сказать, что ему надо встретить жену?!» — и Родов начал расстегивать ремень...

— Ты готов? — спросил механик, захлопывая капот.

Словно испугавшись, что механик мог узнать его мысли, Родов поспешно застегнул пряжку.

В этот момент подбежал Усов.

— Макар, — запыхавшись, сказал он, — понимаешь, Сидорчук заболел, и начлет назначил меня дежурить за него на старте... Слушай, подежурь за меня!..

— Это почему? — втайне обрадовавшись, сухо спросил Родов.

— Так знаешь же, ведь я завтра на конференцию еду... Ты-то налетаешься, а я, может, больше недели проваландаюсь там...

Ненависть к Усову, бессознательно таившаяся где-то на дне души Родова, хлынула вдруг наружу, и он сказал со злостью:

— А мне какое дело!.. Тебя назначили — ты и дежурь!

Усов, выругавшись, убежал.

— Давай! — нервно крикнул механику Родов.

— Контакт?

Пусковое магнето зло взвизгнуло, мотор огрызнулся и заворчал.

XIV.

Аэродром еще не просох, и машины, словно не желая пачкать свои круглые, резиновые лапы, в начале разбега упрямо упирались, сердито хрипя. Оторвавшись, они будто отряхивались от приставшей к ним липкой глины, — и с продолжавших еще и в воздухе вертеться по инерции колес падали, как убитые в лет птицы, лепешки грязи. Старт был на море — и,

забрав метров сто-полтораста, машины, осторожно приподняв на ветер левое крыло, заворачивали в степь — правым кругом.

Старт оживленно шумел. После девятидневного перерыва учлетам не терпелось скорее сесть в машину. Инструктора, с отдохнувшими нервами, особенно заботливо провожали своих птенцов в воздух. Все школьное начальство, во главе с начальником школы, было уже тут — и начлет, этот обычный хозяин школьного старта, чувствовал себя несколько напряженно, как чувствует себя всегда подчиненный, знающий, что за его работой наблюдает начальник.

— Петр Степанович, — недовольно обратился к нему начальник школы, — кто это у вас там на «Пуме» так рулит... чуть не на полном газу?..

В это время неосторожно рулившая машина стала разворачиваться к старту, и начлет различил на ее хвосте цифру 6.

— Машина инструктора Новикова, — ответил он, послав стоявшего тут же дежурного по старту узнать, кто в машине. Через минуту тот вернулся и доложил:

— На шестерке учлет Родов, товарищ начальник!

— Ну, ему-то уж совсем непростительно... Старый механик! — сказал начшколы. — Требуйте, Петр Степанович, чтобы рулили осторожнее! — строго обратился он к начлету.

— Есть! — покорно взял под козырек начлет.

Поднялась очередная машина.

Начшколы проследил за ней и снова обратился к начлету:

— А как успехи Родова на «Пуме»?..

— Только удовлетворительно, Федор Васильевич.

Помощник школы заметил:

— Должно быть, авария на него все-таки повлияла!..

— Не думаю, — сказал начлет, — он ведь не новичок в авиации, да и парень-то... кремень!.. Просто, очевидно, трудновато ему.

— И распустился еще немного, — вставил военком, хмурясь.

Обрадованно рявкнув четырехсотсильным мотором, выдвинулась за линию старта боевая машина. Летчик поднял руку, прося старт.

— Кто это?.. — спросил начшколы.

— Учлет Скобенников.

Стартер отмахнул белым флажком.

В прямоугольной, огромной, как гигантский таран, черной башке машины что-то грозно заворочалось, взревело, выплюнув из выхлопных труб струю черного дыма, — и тяжелая птица яростно бросилась вперед, сдувая оставшихся сзади нее людей. Через несколько десятков шагов с солидной легкостью она вспрыгнула в воздух и напористо полезла вверх... Неторопливый вираж — и она понеслась по кругу, шутя тараня небо.

— Хорошо летает! — довольно похвалил начшколы, а его помощник вспомнил:

— Между прочим, ведь этот Скобенников, будучи аттестован на истребителя, сам попросился в разведчики...

— Исключительный, кажется, случай! — многозначительно усмехнулся военком.

— Да, редкий... — согласился начшколы. Он помолчал и спросил военкома, улыбаясь: — А как ваши успехи в воздухе?..

Военком засмеялся:

— Это надо вот товарища начлета спросить — ведь он мой «бог» [1])!

Начлет хотел ответить, но в этот момент следующая машина выдвинулась за линию, прося старт, и он сказал быстро:

— Вы спрашивали, Федор Васильевич, как Родов летает... Вот он идет в воздух!..

Стартер махнул флажком.

«Пума» фыркнула и помчалась.

Когда машина оторвалась и стала набирать высоту, начальник школы покачал головой:

— Ровности-то нет!..

Он помолчал, потом, не спуская глаз с машины, пошарил в карманах и сказал с досадой:

— Папиросы забыл... Военком, у вас есть?..

Военком раскрыл портсигар, — все потянулись к нему.

— Смотрите-ка!.. — возмущенно и с испугом вскричал вдруг помначшколы.

В нервном, размашистом, крутом вираже низко над землей самолет словно застрял на миг в воздухе...

Старт напряженно ждал.

Секунду в небе шла борьба между человеком и машиной...

— Падает!!! — вне себя слабо выкрикнул кто-то.

Кривая штопора, захлебывающийся, зловещий рев и — в грохоте, подобном горному обвалу, — всплеснулся в небо столб пламени, увенчанный шапкой черного, как сажа, дыма...

Старт бросился вперед. Учлеты и механики бежали впереди. Начальник школы, разъезжаясь по глине и путаясь в фалдах длинной шинели, едва успевал за военкомом. От ангаров, от зданий школы, отовсюду — бежали люди, чтобы помочь, увидеть или сами не зная для чего. Обгоняя всех, промчался санитарный автомобиль. А навстречу — ветер сдувал с гигантского костра клубы запачканного сажей, пахнущего бензином дыма...

Когда первые учлеты, задыхаясь, почти одновременно с санитаркой подбежали к месту катастрофы, огонь уже спадал. Но и сейчас еще нельзя было подойти к горящей машине даже с наветренной стороны. Огнетушители на мгновение вырывали у пламени части машины, но порывом огненного вихря тотчас же снова захлестывало их слабые струи.

---

[1]) «Бог» — по терминологии учлетов—инструктор.

Механик новиковской группы наклонился к уху соседа и сказал тихо:

— Да разве потушишь!.. Семь пудов бензина... Чай я сам только что наливал!

— Туши не туши... все равно: мешок с костями! — безнадежно прошептал тот.— Вон!..— и он показал глазами на отброшенный силой удара на несколько шагов от машины мотор, наполовину зарывшийся в землю.

Толпа стояла неподвижно полукругом. У всех брови были нахмурены, рты крепко сжаты. Тяжелый, ни с чем не сравнимый, смрадный запах горящего человечьего тела наносило, вместе с волнами жара, на тех, кто стоял ближе к подветренной стороне...

Через пять минут все было кончено. Огонь долизывал последние остатки фюзеляжа, и только на хвосте, торчавшем, как надгробный памятник, вверх, на уцелевшем руле направления, чернела цифра 6 — все, что осталось от «Пумы».

А наверху гудели винты. Спустившиеся после катастрофы машины расселись по всему аэродрому. Но на двух из них инструктора, узнав о гибели ученика, снова тотчас же поднялись и теперь кружили совсем низко над умиравшим костром, отдавая последний традиционный долг товарищу. И всем, стоявшим внизу, казалось, что моторы ревут сейчас совсем не так, как всегда, — ревут зловеще и скорбно...

Лишь только стало возможным подойти к машине, механики растащили ее почерневшие остатки. Из-под них с трудом извлекли обугленное, страшное тело Родова.

Кто-то тихо заметил, что тужурка, кажется, не вполне сгорела.

Из-под обгоревшей кожи вынули бумажник и записную книжку — полууцелевшие. Начальник школы заглянул в бумажник, перелистнул книжку: из нее выпала бумажка, сложенная вчетверо, углы ее обгорели. Военком поднял ее и развернул. Удивленно поднял брови.

— Взгляните!.. — сказал он тихо начальнику школы.

Тот взял и прочел ее.

— Скрыл!!. — покачал он головой.

Через минуту они с военкомом ушли в школу.

XV.

Минут через двадцать красноармеец Гринько, посыльный из канцелярии, побежал по приказанию начальника школы в околодок — за врачом. Доктор был занят осмотром тела Родова, только что перенесенного в околодок.

Они вышли вместе. Около школьного кооператива Гринько расстался с доктором, сказав:

— Так вы уж идите, товарищ доктор, а я вот папиросочек куплю!

В лавочке толкалось много учлетов. Все они оживленно обсуждали причины катастрофы. Гринько внимательно вслушивался, но, хотя парень

он был смышленный, понял немного: уж очень непонятными для него словами разговаривали учлеты. Гринько понял только, что Родов погиб потому, что сделал что-то не так, как надо, какую-то ошибку. Это было главное. Остальное же лишь утомило Гринько, и он был даже рад, когда снова вышел на воздух. Покуривая, Гринько с чувством удовлетворения от исполненного приказания шел мимо школьных зданий, не очень спеша в надоевшую ему духоту канцелярии.

Уже подходя к ней, Гринько увидел подъезжавшую по шоссе арбу. Он остановился и, прикрыв рукой глаза от солнца, стал смотреть: заинтересовало его то, что в длинной и совершенно пустой арбе известного всей школе Ибрагима, часто привозившего арбузы, а случалось — и безакцизный табачок, — сидела женщина... Она была в белой панамке, и левый глаз ее был закрыт черной повязкой.

— Видно к завхозу опять сестра приехала! — вслух сказал Гринько и хотел пройти в канцелярию. Но звонкий молодой голос остановил его:

— Товарищ!..

Гринько охотно остановился. Арба, в последний раз скрипнув, тоже остановилась. Убедившись, что это не сестра завхоза, Гринько подошел ближе.

— Вы не знаете, где тут курсанты живут?.. — спросила женщина.

— А вон там!.. — показал он на курсантскую казарму.

— Спасибо! — улыбнулась женщина и тронула возницу за рукав.

— А вам кого надо-то?.. — заинтересовался Гринько.

— Родова, — сказала женщина, опять почему-то улыбаясь.

— Родова??! — подобрав на лбу складки, медленно переспросил Гринько.

— Разве вы его не знаете?.. Макара!.. — ожидающе улыбалась женщина. Чтобы видеть Гринько, она, как всегда люди с завязанным глазом, слегка отворачивала голову, — и поэтому ее здоровый глаз, темно-голубой, блестя из-под пушистых ресниц, чуть-чуть косил. Гринько несколько секунд растерянно смотрел в этот ждущий глаз, потом бросил вдруг окурок на землю, сплюнул на него, старательно придавил его ногой, словно тут была горница, а не мокрая земля, глуповато взглянул в переставший уже улыбаться глаз и сказал:

— Нет... такого не слыхал! — и, облегченно вздохнув, прибавил: — Да рази их всех упомнишь!..—Глаз снова заулыбался, и женщина хотела что-то спросить, но Гринько живо перебил ее: — А вы кто же будете?.. Жена али сродственница?..

— Жена, — улыбнулись теперь и губы.

— То-то я и подумал, что, мол, не жена ли... — и Гринько вдруг засуетился: — Так вы бы в канцелярию зашли! — гостеприимно махнул он рукой. — А то ведь учлеты-то все на полетах... Начальник вам все расскажет, как и что...— Он выхватил из ее рук чемодан, помог выбраться из высокой арбы и ей самой, приговаривая: — Чего уж лучше!.. Начальник у нас хороший...

Подходя к канцелярии, он даже осведомился:

— А вы, видать, и не знали, что у нас тут автомобили ходют?..

Женщина, молодо перескакивая через стоявшую около канцелярии лужу, ответила, что она знала, да уж очень ей не хотелось ждать до вечера, а тут как раз и татарин предложил подвезти ее недорого.

Перед дверью кабинета начальника школы Гринько остановился, поставил на пол чемодан и, попросив подождать — он только сейчас доложит! — скрылся в кабинет.

— Пожалуйте! — через минуту раскрыл он перед ней дверь.

Закрыв за ней дверь, Гринько подошел к красноармейцу, стукавшему на машинке, угостил его папироской и стал ему что-то тихо рассказывать.

Немного спустя дверь кабинета открылась, и вышел начальник школы. Лицо его было расстроено — таким Гринько не видал его никогда.

— Вот что, Гринько: беги-ка скорей к моей жене, передай ей вот эту записку да скажи, чтобы лекарство не забыла!..

— Есть, товарищ начальник! — и Гринько бросился из комнаты.

Минут через пять он вернулся. За ним, сжимая в руке пузырек с валерианкой, поспешно шла жена начшколы. Закрыв за ней дверь кабинета, Гринько опять подошел к переписчику и, облокотившись на стол, сказал тихо:

— Жалко молодуху-то!..

Вскоре вышли из кабинета начальник школы, военком и доктор. За ними вышла и жена начальника. Плотно прикрыв за собой дверь, она спросила:

— Федор... Я думаю ее у нас устроить?!

— Ну, ясно!

— А когда похороны? — спросила она тише, и в заплаканных глазах ее всплеснулось чужое горе.

— Завтра, конечно.

Она опять ушла в кабинет.

— Как прикажете, Федор Васильевич, полеты сейчас продолжать или закрыть совсем?.. — спросил вошедший помначшколы.

— А вы как думаете?..

— Я думаю — можно продолжать... Время есть еще...

Доктор несмело вставил:

— А может быть лучше было бы сегодня уж не летать?..

— Ну, доктор... Ведь мы не институток воспитываем, а красных бойцов! — сказал начальник школы и обратился к помощнику:

— Машина убрана с поля?

— Да.

— Так открывайте полеты!

— Есть! — и помощник, повернувшись на каблуках, вышел.

Начшколы прошел в кабинет своего адъютанта и сел писать подробное телеграфное донесение в центр. Он только что кончил, как уже донес-

Любят сладкое парное молоко Ганька, Митька, Дунька да молодой серый котенок с белым пятном на спине. Подоив, выгнала Лукерья на зеленую обросевшую траву Бурешку со сломанным рогом, старицу-овцу, а белоголового барана оставила. Сама, не разуваясь, легла на постель к маленькой Дуньке, которая спиной лежала на подушке, а пушистую белую голову с разрумянившимися щеками свесила вниз на солому. Лукерья поправила ее теплую, мягкую голову и, обняв материнской жесткой рукой, поцеловала. С постели на пол прядками свисала ржаная солома, и серый котенок кувыркался, играя пустыми колосьями.

Оставленный баран кричал, прыгал дико на стену, колотил в маленькую дверку головой с круто загнутыми рогами, но выскочить не мог. А там за деревней, на зеленом росистом лугу, гуляло стадо. Слышал баран в маленькое окошко знакомые овечьи голоса и, еще сильнее прыгая на стену, безжалостно бился очумевшей головой. К вечеру у Пряхиных будет пшеничная мука, а от белоголового, сильного барана останется мокрая кровяная шкура. Позднее из шкуры мужик сошьет себе к шубе рукав; через несколько лет рукав на локте протрется... Вот она, жизнь баранья! Знать, оттого кричал баран, не умолкая, жалобным голосом. Знать, оттого он дико бился о стены овчарника, разбивая в кровь губы и голову.

Проснулся Ганька, разбуженный криком барана, и, не вставая, чесал голову с черными взъерошенными волосами. Взглянув на мать, он крикнул, позевывая:

— Ма, а ма! Я схожу в стадо за лошадью!

Лукерья не слышала Ганькиных слов, спокойно спала, прижав к груди любимую дочку. Ганька еще раз крикнул погромче.

Мать услышала.

— Спи, куда тебя такую рань подняло, ни свет, ни заря! Вот неугомонный-то!

Между тем баран все кричал на дворе охрипшим голосом.

— Может быть, есть хочет? — сказал мальчик и убежал из избы в огород.

Простоволосый, низко нагибаясь к росистой холодной траве, торопливо рвал он траву завистливыми горстями и бросал барану в окошко. Видел Ганька в овчарнике через темное отверстие два огненных глаза, глядящих из тьмы на него, и ласково говорил:

— Ешь, милый, ешь! Больше потянешь.—Но баран не ел, — бегал из угла в угол, сверкая огненными глазами. — Не ори! Все равно не вырвешься, не откроешь дверку! Она, брат, заперта на крючок! Купит буржуй тебя и сожрет, а нам деньги нужны на муку с сахаром. Если б были и нас деньги, мы не продали б тебя, гулял бы ты с овцами в стаде до осени, а осенью сами бы съели.

При воспоминании о жареной баранине у Ганьки появилась слюна во рту, захотелось есть. Он пробовал прошлую осень баранину и не забыл, как хорошо она пахнет. Когда бабушка поставила большой противень

лось отдаленное хоровое самолетное жужжание. А через несколько минут здание гулко задрожало от первой, пролетевшей над ним машины. Начальник школы, отдав приказание о срочном назначении аварийной комиссии для производства дознания и распорядившись о завтрашних похоронах, вышел из канцелярии и пошел на аэродром.

Небо было уже совершенно чисто. Только на востоке, куда все утро сваливались туманные отрепья, застоялась серая полоса. Солнце — после затянувшегося ненастья — как-то по-особому щедро и тепло обливало подсыхавшую степь. Аэродром, будто сроду и не видавший смерти, снова безмятежно гудел, — и машины, радостно фыркая разгулявшемуся дню, уносились одна за другой с людного попрежнему старта...

В прозрачной, полдневной сентябрьской вышине, над морем, вдоль берега, — тянули, как стайка диких гусей, пять боевых самолетов. Их прямоугольные, словно срезанные, носы упрямо таранили синеву неба. Они хорошо держали дистанцию и только один из задних — правый — немного отстал и теперь на полном газе нагонял товарищей...

— Уорлеуу, уорлеуу, уорлеуу... — путаясь, как расстроенная нота гигантского фортепиано, бились две тысячи стальных лошадей.

Начальник школы приостановился, подняв голову, улыбнулся и быстро пошел на старт.

Лошевод.

(Роман.)

М. Громов.

Маленькие дети
Тяжелы на руках,
А большие — на сердце.

(Народная пословица.)

Глава первая.

От пруда, полного синей дымящейся водой, шел пастух Никанор; морщась, он раздирал рыжую слежавшуюся бороду, тяжело волочил короткими ногами темнозеленый след по седой обросевшей луговине. Остановясь у крайней избы, пастух, развернув кнут, хлопнул, разбудив спящую деревню.

У Пряхиных первая проснулась Лукерья; она долго надевала валенок, надев выругалась:

— Фу ты, шут ти дери!.. Ослепла! Пяткой наперед надеваю.

Взяв с пола опрокинутое у печки ведро, вышла на двор, погремев запором, отворила ворота.

— Подожди! Я еще корову не подоила, — не поздоровавшись, сказала вдова пастуху.

Никанор, шевеля кнутом, лукаво улыбнулся.

— Что ж не пришла-то? А я ждал, всю ночь не уснул.

— Умучилась за день-то! Как с вечера легла, так не проснулась! — виновато ответила женщина, уходя в хлев доить корову, которая тяжело пыхтела, медленно пожевывая жвачку, звучно чмокая толстыми слюнявыми губами.

— Ну, ну, подымайся! Тянись! Да, ну же! Вставай, Бурешка, не выспалась! — приговаривала Лукерья, толкая корову носком сапога.

С трудом поднявшаяся корова спокойно стояла, изредка кистью хвоста постегивая Лукерью по затылку, а себя по материнским провалившимся бокам.

Каждое утро насухо выдаивает Лукерья Бурешку, а к полудню вымя ее наливается молоком, и Лукерья вечером снова выдаивает до капли.

на стол, то сверху картошки лежали куски поджаренной баранины с оголившимися белыми ребрами.

— Что, милый, неохота помирать тебе? — спрашивал мальчик барана, подбрасывая в окошко траву. — Не кричи! Может быть, не продадим, обратно привезем, если будут давать дешево! А если купят да разлопоушатся, вырвись, беги в лес, там трава, до зимы проживешь! А будут резать, — зажмурь глаза, тогда не так страшно! Больно с первого раза, а когда перережут горло, кровь сойдет, кожу снимут, умрешь не услышишь!

Набросав травы и наговорившись с бараном, который все орал, Ганька влез в окно в избу. В избе на запылившиеся иконы в углу крестилась бабушка Марина. Увидав Ганьку, она сказала, не переставая креститься:

— Глупый, зачем тебя подняло такую рань? Спал бы еще да спал, а то ишь, вскочил!

— Зачем встал?.. Барана кормил! Слышишь орет!.. Есть хочет.

— Да нешто он есть будет? Он об овцах скучает, скучно ему одному-то!

— Ба, он чует, наверно, что продавать его повезем, там зарежут.

— А кто его, мнучек, знает, может быть и чувствует. Он на то и зарожден, чтобы его резали да ели.

Проснувшаяся Лукерья, подвязав на голову платок, застегивала серую кофточку, щелкая кнопками.

— Ма, можно сходить?.. Уж пора, небось! — спросил еще раз Ганька.

— Иди! Надоел ты мне сегодня. В праздник только поспать, а он, на тебе... за лошадью да за лошадью. Скажи Гроздевым, мать пожнет за лошадь. Да мотри не гони шибко — убьет, лошадь дерзкая!

— Ничего. Чай я не Митька наш!

Часа через полтора Ганька подкатил ко двору на взмыленном чалом мерине с густым волнистым хвостом и, не слезая с запыхавшейся лошади, крикнул громко в окно избушки:

— Привел!., Готово! Иди запрягай, ма-а!

Отворив калитку, Лукерья вышла на улицу. Увидя мокрого, тяжело дышащего мерина, так и ахнула, ударив о колени руками:

— Ты что же, негодяй, наделал-то? А? Чужую лошадь запалить, испортить захотел? Это што?.. Это што?.. Всего в мыле сделал!.. Слезай, мерзавец! В кого ты такой?!

Придерживаясь за гриву, Ганька спрыгнул, сказал:

— В кого, в кого — сам в себя! Конечно, не в тебя, такую злюку!

— Ах ты, паршивый чертенок!.. Да ты еще огрызаться с матерью?.. Убью сейчас!..

Оставив лошадь, она побежала в огород к ветвистой черемухе, за которой скрылся мальчик.

— Убежал!.. Ну, погоди же! Жрать придешь домой, я с тебя тогда шкуру спущу! Хорошие дети умирают, а ты, знать, никогда не развяжешь руки! Это матери-то так... А?

На столе у Пряхиных к этому времени стоял самовар, поблескивая медными боками. Вся семья расселась вокруг стола. Бабушка Марина, отвинчивая и завинчивая кран у самовара, цедила кипяток в чашки с зелеными цветами. У окна Лукерья кусала полным ртом черную, пополам с картошкой, лепешку. За ней Дунька с пушистой белой головой дула на чай, сжимая трубочкой пухлые губы. Под окнами стояла запряженная в телегу лошадь, привязанная к изгороди. И Митька с Дунькой то и дело глядели на нее.

— Ма, дай сахарку! Чашка остыла! — сказал Митька, заглядывая в глаза матери.

Рядом с самоваром была синяя рубчатая сахарница, у которой вместо стеклянного донышка приделана круглая чурка, неровно отесанная топором. Лукерья выбрала кусочек сахара с горошину и дала Митьке.

— Ма, мало! Несладко будет...

— Пей скорее! Тает ведь... Жрете, как хлеб, нешто на вас наготовишься! Пей! Чего глаза-то вытаращил?.. Не дам больше.

Мальчик поднес было к губам блюдце, но, испуганный криком матери, поставил обратно на стол, заплакал, отвернувшись в угол. Узкие плечи в полинявшей коричневой рубашке вздрагивали, и вся маленькая хрупкая фигурка его сжалась в комок. Дунька тоже, перестав есть остывшую лепешку, смотрела то на мать, то на Митьку, хныкающего в углу.

— Что ты, молодая, да разве так можно кричать на детей! Одного угнала, незнамо где он, и эти плачут, — не емши, не пимши останутся.

Сноха взглянула в окно, перебила старуху:

— Измучили они меня! Нервеная я стала! Знать, не избавишься от них никогда. Ничего-то на них не наготовишься. Ни порток, ни рубашек. Горьмя горит все, в могилу от них лечь бы, што ли, уж к одному концу.

— Не гневи, не гневи бога, Лукерья! Бог накажет, наши дети не хуже людских, только бы вырастить. — Бабушка всегда заступалась за внучат, и маленькая Дунька понимала это. — И аккуратные, и смирные наши ребята, — доказывала Марина, — и бережливые. Ничего без спроса никогда не возьмут. Подумай, сахару фунт купила, месяц, небось, прошел. А семья-то наша, слава богу, пять человек, по куску в неделю, пять кусков выйдет.

Выложив все это снохе, бабушка Марина вспомнила про Ганьку, пошла его отыскивать. Отворив дверь, она увидела его, глядевшего в щелочку овчарника на барана, который уже не кричал громко и протяжно, а коротко и сухо хрипел.

Услышав дверной скрип, Ганька испуганно побежал со двора, но увидя, что это не мать, а бабушка, остановился.

— Иди, глупый, попей, поешь! Нешто можно матери-то так? Ведь мал еще! Иди, не тронет она!

Стуча голой пяткой в отворенную воротину, внук сказал обидчиво и серьезно:

— Ну, вас!.. Выпущу вот сейчас барана! Зачем продавать... Самим жрать нечего!..

— Ах, Ганька, Ганька, ведь мать тебя тогда до смерти запорет! Разве можно выпускать? В лес убежит — и не найдешь.

Мальчик отворял и затворял тяжелые ворота, не глядя на бабушку, стоявшую на мосту. Бабушку он любил, слушался, спал с ней вместе, а теперь он решил есть лебеду и щавель, ночевать в сарае, ему стало ее жалко и до слез обидно на мать.

Зная упрямый Ганькин характер, бабушка ушла пить чай, — она не успела выпить еще ни одной чашки. Чай пить у бабушки Марины положение — не вылезая из-за стола по двенадцать чашек из медного большого самовара. Нельзя сказать, чтоб бабушка Марина была большая любительница пить чай, — она просто любила отдохнуть, посидеть, а отдыхать без дела как-то неловко.

В это время баран лежал на телеге со связанными ногами. Митька с Дунькой не переставая смотрели на него из окна, как будто прощаясь с ним. Оба они помнят его маленьким, когда бабушка зимой принесла его в подоле со двора. Окна в избе были добела заморожены, сквозь них ничего не было видно. Мокрого ягненка положили на солому у печки. Он тут же пытался встать на дрожащие ноги, но они разъезжались, ягненочек падал. Через час он обсох, запрыгал, стуча о половицы резвыми ногами. Тогда бабушка Марина посадила его в сенную корзинку, накрыла кафтаном. В разорванное отверстие кафтана ягненочек высовывал белую головку, тихо кричал, прося материнского молока. Три раза в день бабушка с матерью пускали в избу овцу (его мать), и белоголовый ягненок сосал, чмокая тонкими губами, часто повиливая черным лоснящимся хвостиком. В то время он больше нравился Митьке с Дунькой. Они из рук угощали его хлебом, а он не ел, просил молока. Теперь баран стал большой, у него выросли рога, загнутые кольцами. Дома он часто не ночевал, и Митька с Дунькой стали бояться его, поэтому им не было жаль променять барана на коня, куклу, баранки.

Далеко за овинами Лукерья догнала Ганьку. Посторонившись с дороги, он встал к изгороди, делая вид, будто не видит матери, а когда Лукерья, молча погоняя лошадь, проехала его, Ганька не вытерпел и крикнул:

— Ма, возьми меня с собой, и мне на рынок хочется!

Этих слов Лукерья ждала, объезжая сына, который нетерпеливо ждал ее на дороге, не зная, как заговорить с ней.

— Такого неслуха-то? Озорника-то? Нипочем не возьму!

— Ма, милая, возьми! Когда ты уйдешь, я там лошадь караулить буду. Возьми!

— Лучше, не беги! Сказала: не возьму!

Но Ганька, точно жеребенок-стригунок, бойко бежал за телегой, обидчиво сжав обветренные губы, махая длинными руками, сжатыми в кулаки. На нем, как и на Митьке, коричневая рубашка, длинные отцовские портки, убавленные в поясе. Разутый, без фуражки, с короткими черными волосами, он бежал бойко, не отставая от лошади.

— Возьми! Я тебя слушаться буду! — просил он умоляюще. — Возьми! Все делать буду, как большой все равно.

— Вернись! Тебе говорят или нет?.. Вот острожный-то! Если б знала... родила, в ногах бы задушила.

— Не родила бы! Я не виноват!

Оставив у кустов ольхи лошадь, Лукерья долго бежала за Ганькой, держа в руках веревочный кнут, привязанный на длинное кнутовище.

Недалеко от города баран забился, ударил головой Лукерью. Она оглянулась назад, увидела Ганьку, спокойно идущего недалеко от телеги. Вздрогнув от неожиданности, мать остановила лошадь.

— Садись, супротивный ты этакий! Замучился небось! Я думала: ты дома!

Обходя телегу, Ганька сказал:

— Не сяду! Чего уж тут, вон город-то!

Промолчав, Лукерья въехала в город и остановила лошадь у кирпичного одноэтажного дома.

На площади, где встала Лукерья, виднелись воза душистого сена, лохматясь засохшими стебельками; блестели на солнце смолой сложенные одна на другую новые телеги; у возов глиняной посудой звенели бабы. Босоногий, в соломенной шляпе мальчуган нес на руках красноносого белого гуся. Гусь, изогнув дугой шею, испуганно гоготал, подняв над шляпой мальчика голову. Высокая торговка с детски-маленьким лицом мерила ситец. Взмахнув раза два локтями, она смотрела, перебирая пальцами ситец, который, как струна на гитаре, натягивался на метр с ясными наконечниками. В другом ряду, грустно опустив головы, были привязаны коровы, лошади, дремали в телегах телята, высунув из сена слюнявые мордочки.

Посреди людского говора, ржанья лошадей, мычанья коров, блеянья овец, крика птиц, звона посуды возвышалась на конусном пьедестале огромная косматая голова Карла Маркса, обращенная на двухэтажное здание с маленькой красной вывеской. Все здесь кишело, бурлило, пестро переливалось через край площади, захлестывая телеги, воза, дома, сдерживающие волны народа.

Продав барана, Лукерья ушла, а Ганька остался в телеге; денег у него нет ни копейки, — мал еще он, добывать не научился, так и сидел голодный, ругаясь на себя, зачем увязался за матерью. Рядом с ним остановился невысокий мужик в жилетке, больших запыленных сапогах. В одной руке мужик держал связку поджаренных баранок, а в другой —

новую еловую шайку с маленькими, точно гвозди, сучками. Ганька втянул в себя запах жареных баранок, есть еще пуще захотелось.

— Дяденька, отломи одну? — не вытерпел он.

Мужик хозяйски осмотрел Ганьку, лошадь, ответил:

— Что ты, молотил, что ль, мне?.. У меня и без тебя пятеро бараночников-то! Эво! У вас лошадь-то какая, а баранок просишь! Проси у отца, купит!

Мужик тут же ушел, помахивая баранками. Ганька задумался об отце, которого уже давно нет в живых, но которого он хорошо помнит. Если бы встал из могилы отец, Ганька не утерпел бы и рассказал, как мать по два дня не дает ему есть, бьет его чем попало за дело и без дела.

Время двигалось к полудню. Небо, очистившись от облаков, казалось синее и выше. Тяжкий воздух прело и кисло пахнул распотевшими коровами, лошадьми, шерстью овец.

Скоро Ганьке надоело сидеть, и он, подойдя к памятнику Карла Маркса, любопытно осмотрел его сзади и спереди, покачал руками ограду, сделанную из еловых очищенных колышков. Чья это длинноволосая большая голова стояла на деревянном ящике, Ганька не знал. И почему она глядит на двухэтажное здание совета с маленькой вывеской, а не на пятиглавую белую церковь, которая стоит через площадь? Знал он только одно, что Иисуса Христа или Николая-угодника большевики не поставят, — не любят они их, да и непохожа эта голова ни на Иисусову, ни на Николая-угодника, ни на отрубленную голову Иоанна-крестителя. У всех у них головы не такие большие. Ленина ежели, — та совсем другая, ее Ганька видел на портрете в училище.

У ограды спиной к памятнику стояла низкорослая женщина со свернутым зонтиком, в черном ситцевом фартуке; она что-то держала: не то яблоки, не то картошку. Ганька подошел к ней поближе, тихонько спросил, указывая на памятник:

— Тетк, кто это... не знаешь?

Женщина, не поворачивая корпуса, взглянула на памятник:

— А кто ё знает!.. Карлов Марксов говорят, какой-то!.. Большевики с Москвы привезли, поставили.

Ганька перевел глаза с головы к подножью памятника, где пробивалась между камней молодая зеленая травка.

— Это его тут, под памятником, похоронили?

— Да нет, что ты? Он не наш, немецкий какой-то, и помер невесть когда, и не у нас в Расеи.

Напомнила баба про далекую Москву. Знал Ганька, что там, в Москве, всего много, чего он отроду не видал. Есть там автомобили, трамваи, которые сами без лошадей ездят. А в больших домах горят не керосиновые лампы, а электричество, от которого светлее, чем от «молнии» керосиновой. Слышал про какой-то сад Ганька, в котором живут звери разные и слон большой с длинным хоботом ходит. Говорят в деревне мужики, что Ленину там, в Москве, мавзолей большевики поставили.

Но не знал Ганька, что это за мавзолей: не то памятник, не то дом пятиэтажный, в который положили Ленина. Рассказывали Ганьке, что в Москве за водой с ведрами на колодец не ходят, а отвернут медный крантик в стене — и вода сама польется, сколько хошь цеди, хошь ведро, хошь ушат. Все это Ганьке своими глазами хотелось посмотреть. Но как побывать в этой невиданной Москве, до которой пешком не дойдешь и на лошади не доедешь, а ездит туда железная машина какая-то, которую Ганька тоже не видел? Вот это невиданное мучило его. Что Ганька ни делает и где ни бывает, Москва не выходит из его головы. Смотрит ли на избушку с соломенной крышей, дом пятиэтажный каменный видит, смотрит ли на гнедого мерина, — автомобиль или трамвай с железными колесами перед глазами стоит; видит ли лампу, подвешенную к потолку, — электричество бескеросиновое светлое видит, от которого режет глаза и ночью светлее, чем днем. За водой ли с ведрами на колодец идет, — видит крантик, вделанный в стену, который только поверни — и вода потечет: хочешь холодная, хочешь горячая.

Шатаясь по рынку, Ганька вспомнил, что он давно ушел от телеги.

— Аа-а-а, здо-рово, Гаврила Филиппыч! — громко крикнул ему незнакомый мужик. — Как поживаешь? Ну, давай руку-то!

Мальчик застенчиво протянул руку.

— Не узнаешь, Гань? Это дядя Филимон из Москвы приехал! Помнишь, он приезжал к нам, когда отец еще был жив?

Пока мать разговаривала с сыном, Филимон открыл корзинку. Ганька в это время с завистью смотрел на него; ему хотелось заглянуть в корзинку, посмотреть, что там есть, но корзинка стояла высоко на телеге — и увидеть было нельзя. Хорошо знал и чувствовал он, что сейчас дядя Филимон что-нибудь даст — но что? Съесть Ганьке хотелось чего-нибудь побольше да посытнее. А когда Филимон дал ему две обсыпанные сахаром плюшки, он смотрел, не зная, что с ними делать.

Выбрав минуту, когда никто не глядел на него, он захотел было полным ртом укусить плюшку, а мать вдруг сказала:

— А спасибо-то что ж дяде не сказал! Эх, ты!

От неожиданных слов матери Ганька растерялся, прижав к груди сладкие плюшки, но дядя ободрил его:

— Ладно, Гаврила, ешь! Наешься и спасибо скажешь!

— Братец, надолго приехал к нам побывать-то? — спросила Лукерья, поправляя обеими руками платок на голове.

Филимон ответил не сразу. Он обвел большими пальцами рук ремень, обхватывающий черную рубашку с частыми перламутровыми пуговицами, поправил кепку, сшитую из полосатого материала, и улыбаясь сказал:

— Отпуск мне дали!.. Поживу!.. Косить покос вам подсоблю! Хотел было в Москве остаться, но надоело там пыль-то глотать, в деревне лучше, воздух хорош здесь.

— Что ты, братец! Ты забывать стал нас, сирот! Я и так на тебя страсть как разобиделась! Да как же, сколько лет не был! У нас и родни-то только ты один.

Филимон снова открыл корзинку, достал бутылку.

— Давай выпьем, Луша?

Лукерья, растерянно хватаясь то за вожжи, то за фартук, аккуратно подвязанный, сказала, не гляда на брата:

— Не стоит, Филь! Домой приедем, там лучше!

Заметив, что сестра не очень-то отказывается, он обдавил сургуч об колесо и стукнул бутылку донышком об согнутую коленку. Вместе с пробкой выплеснулось вино, а пробка, перелетев через Ганькину голову, упала по ту сторону телеги. Ганька услужливо поднял пробку, украдкой из кулака понюхал ее. Запах пробки понравился Ганьке, но он решил, что пить вино не будет, если дядя станет ему подносить. Тут же, не отходя от телеги, Филимон посмотрел на проходящий народ, выпил стакан и столько же налил сестре.

— Ты очень мне много! — сказала Лукерья, прижимаясь ближе к телеге. — Пьяная буду! Ну, будь здоров! Со свиданьем, братец! С приездом!

— Кушай на здоровье, сестрица! — сказал Филимон, прожевывая булку. А когда Лукерья, подув в стакан, до донышка выпила, он добавил одобрительно: — Молодчина, сестрица, не капризная! Ну, а тебе поднесть? Выпьешь, Гаврила Филиппыч?

Ганька потряс головой, попятился назад, держась рукой за оглоблю.

— Я не буду.

— Почему? Выпей, немножко, ничего!..

— Мал я еще!

— А когда вырастешь большой, тогда выпьешь?

— Тогда выпью. Большие все пьют, — уверенно ответил Ганька, глядя на плюшку.

Закусив булкой, Лукерья повернула лошадь на выезд, а Филимон куда-то отошел. В это время Ганька подбежал к матери и спросил:

— Что это у дяди Филимона усы-то обстрижены? Под самым носом чуть-чуть только оставлены. Нехорошо, ма, так, а?

— Мода наверно такая в Москве, сынок, — ласково ответила Лукерья. — Ты смотри, в глаза не скажи ему, нехорошо, смотри, — погрозилась она.

— В Москве, ма, все так делают? — спросил Ганька, облизывая пальцы.

— Ладно, отстань! Не знаю, сама не была там, может быть все так выбривают.

Разговор у брата с сестрой не клеился, хотя уж проехали больше половины пути. Здесь Филимон в первый раз обратился к Лукерье:

— Давай, сестра, споем старинную! Чего унывать-то? Эх-ма! — и, не дожидаясь ответа, нескладно затянул, кругло махая рукой:

Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь...

Когда Филимон запел, Лукерья радостно засмеялась, обернувшись к Ганьке, обняла его и поцеловала.

— Будешь, разбойник, мать слушаться, будешь? Я жалею тебя.

— Да, — вдумчиво произнес мальчик, — ты жалеешь, когда я хвораю.

— А ну, спой мне, Гаврила, спой веселую!

— Я не умею, — отказывался Ганька, глядя на мать.

— Умеет, умеет, врет, — сказала Лукерья, — девкам на улице поет, а дяде родному не хочет.

— Ну, пой, запой, Гаврила! — настаивал Филимон, не выпуская из рук Ганькиной рубашки. — А то никогда плюшек не дам.

— А в Москву за это возьмешь меня? — спросил Ганька, глядя на опрокинутое лицо дяди.

— Возьму, возьму, ну да, возьму, покажу тебе все...

— А какую тебе?

— Вали какую повеселее! Говорю же: повеселей.

— Я прибаутки умею.

— Во! Вали прибаутки! — махнул рукой охмелевший дядя.

Ганька встал на колени, погладил себя по голове, запел весело и звонко, не сводя глаз с матери, как бы дразня ее своей веселостью:

Хорошо на горке жить,
Трудно подыматься, —
Хорошо милку любить,
Трудно расставаться...

Филимон дико захохотал, крикнул, хлопнув в ладоши:

— Сукин кот! Мошенник, неужто у тебя есть милка?

— Да как же, с Катькой Селезневой гуляет, ребят бьет за нее, — сказала Лукерья.

— Дядь, на этим на трамвае самому править надо? Как на лошади?

— Да нет же, дурень! — сказал Филимон. — Взошел, как в избу, сел на полированную лавочку — и за восемь копеек везет тебя верст двадцать, только держись, поглядывай в окошко. Лошадь хорошая, говорю тебе, не угонится! А дома, дома-то, посмотрел бы ты, десятиэтажёвые! Глянешь из окна вниз, — голова закружится, люди внизу, как тараканы ползают. Приезжай, Гаврила, ко мне на Пятницкую улицу. Ты — большой, один найдешь меня, я там в буржуйском доме живу. В Зоологический сад тебя сведу, слона, медведей там посмотришь, в мавзолей к Ленину на Красную площадь сходим. Вот, Ганька, в Москве, что у нас! — спьяна подзадоривал дядя племянника. — А у вас здесь,

в деревне, что? Ничего нет хорошего, воздух только свежий. Да, да, сестра, из-за воздуху к вам еду.

Въезжая в деревню, Лукерья поправила платок на голове, взялась покороче за вожжи, бережно одергивая чужую лошадь, стараясь быть трезвой, аккуратной на глазах деревни.

— Гань, что ты сейчас будешь делать дома? — спросил Филимон, стараясь быть серьезным.

— Картошку есть, — не думавши, ответил Ганька и соскочил с телеги.

У дороги на зеленом лужке лежала соседняя черная собака Дружок. Увидя Ганьку, она поползла к нему на животе, постукивая об землю белыми лапками. Ганька присел на корточки, дал Дружку из рук тугой комочек московской плюшки. Дружок жадно щелкнул зубами, как будто ему в рот ничего не попало.

— Дружок, Дружочек! Больше нет у меня, самому две плюшки только дядя дал. А что в них мозгу-то: два раза в рот положить — и все, — уговаривал мальчик собаку, но собака не верила, шевелила ушами, просила еще. — На! Гляди, — вывернул Ганька карман у штанов, — думаешь, обманываю?

Войдя в избу, Ганька объявил:

— Дядя Филимон из Москвы приехал, сейчас в избу придет!

Изба в эту минуту жила своей непринужденной жизнью. Митька ездил верхом на палке от двери до окна, на каждом повороте синей тряпкой стегал он свою непослушную березовую лошадь и кричал с неподдельной серьезностью:

— Но, но, задурила! Ворочайся, я тебе задам, но-о!

У маленькой Дуньки — своя забота. На руках у нее была свернута черная одежда, немного похожая на большую куклу, подпоясанную по шею белым платком. Кукла в это время неслышно, но горько плакала. Дунька ходила от печки до стены по одной половичке в белых, домашней вязки чулках. Она, как жалостливая мать, наклоняла к кукле пушистую белую голову, качала ее из стороны в сторону и картавя приговаривала:

— Не пвачь, не пвачь! Коя мама скова пвидеть, гостинку пливизеть, не пвачь, не пвачь!

Правой ногой с опущенным чулком, на которой вдоль белой икры виднелась кровавая царапина, Дунька притопывала, успокаивая ребенка, над словами «Не пвачь».

От Ганькиных слов: «Дядя из Москвы приехал» Митька бросил под лавку свою «лошадь», Дунька к двери на сундук — плачущую куклу, у которой два белых угла платка торчали кверху, как уши зайца.

— А что он тебе дал? — тихо спросил Ганьку братишка.

— Две плюшки, — ответил Ганька, ища глазами бабушку, — сладкие! Просите — и вам что-нибудь даст, у него чем-то полна корзина набита.

— Мое почтение, здравствуйте! — громко сказал Филимон, войдя с корзинкой в избу.

И, звучно топая ногами, поцеловал Митьку, а Дунька надулась, спряталась за стол в угол, загородив лицо пухлыми белыми ручонками, будто перевязанными в кистях глубоко врезавшейся ниткой.

— Э! Какая невеста: боится, ну я ей за это конфетку не дам.

От Филимоновых слов Дунька навзрыд заплакала, часто вздрагивая плечами в сером ситцевом платьице, расстегнутом на спине.

Выпустив несколько раз из себя воздух, надувая чисто выбритые щеки, Филимон сел у окна на лавку. Черноволосая голова, рассеченная пробором на две равные половинки, была причесана «под бабочку». Заложив ногу на ногу, он достал из серебряного портсигара папироску, размеренно стукнул ею два раза об ноготь большого пальца, закурил, многозначительно щелкнув портсигаром.

Бабушка Марина подвязала черный немятый платок, вытерла фартуком губы и, низко кланяясь, вышла из каморки.

— Здорово, Филимон Ягорыч! Как поживаешь, родимый? Как здоров-то, батюшка?

— Живу, что нам не жить, — ответил приезжий, пуская дым в потолок, местами обуглившийся от лампы.

— Что, по печному делу работаешь?

— Да, лишь бы деньги платили, мне все равно.

— Ну и слава богу, давно я тебя не видала, сытый ты стал, видно житье тебе в Москве хорошее?

Через полчаса по-праздничному сидела Пряхина семья вокруг начищенного самовара. Чашку за чашкой пили чай с московскими конфетами.

— Жениться тебе, братец, пора уж небось, — заговорила Лукерья. — Скучно, небось, одному-то.

— Пора, пора уж, Филимон Ягорыч, пора! — подхватила бабушка Марина, опуская на стол недопитое блюдце. — А девок-то у нас сколько: хоть пруд пруди, а женихов нету! Теперь по-новому: без попов женятся. Сходят, распишутся — и попа не надо. Неловко как-то!..

— Чего неловко-то? — перебил ее Филимон. — Неужели я буду попу десять рублей платить за венчанье? Я лучше на вине их пропью. За десять рублей-то, знаешь, сколько вина-то купишь? Э-э, сватья!..

Убирая со стола чашки, бабушка Марина спросила:

— Филимон Ягорыч! Что, за отпуск тоже тебе деньги идут? — На ответ Филимона старуха удивленно сказала: — Ишь ты, вот поди! Какие стали порядки: даром деньги дают, хорошо!

Когда вошел в избу Филимон, старуха хотела спросить, не коммунист ли Филимон Егорыч, — а теперь, когда он сказал, что деньги ему за отпуск платят сполна, твердо решила, что он — непременно коммунист.

— Сват, ты в коммунисты уж записался? — осмелившись, спросила она.

Филимон, не долго думая, смело ответил:

— Меня, сватъ, давно большевики зовут. «Иди, — говорят, — в нашу партию, Филимон Егорыч, ты нам страсть как нужен. У нас в партии таких товарищей, как ты, мало». Да, да, сватъ, им такие работники, как я, дозарезу необходимы при теперешнем строительстве страны.

Наговорив старухе, кто он сейчас и кем он мог быть, Филимон поднялся с лавки, запустив в карманы брюк руки, стал расхаживаться по избе, разглядывая свои новые штиблеты.

— Чего же ты не хочешь, сват, коммунистом записаться? — поинтересовалась старуха. — Коммунистам хорошо живется...

— Чего я там не видал? У нас есть один коммунист, — какой это коммунист? Он пьет вино хлеще меня.

— Филимон Ягорыч! — выпытывающе обратилась старуха. — Что, правду говорят, что всем коммунистам на левой лопатке Ленин клеймы наставил? — с неподдельной серьезностью спросила старая Марина и с нетерпеньем ожидала ответа.

— Нет, не может этого быть. Я вместе с коммунистом сколько раз в баню ходил, у него что-то вроде ничего не видать, незаметно, а там кто ё, сват, знает, может быть у ярых и есть!

— Есть, есть, батюшка, есть, — утверждала старуха, — на левой лопатке, говорят, как все равно у лошадей казенных, у них тоже на боку на ляжке выжжено. Ведь сказано в священном писании, что народится Антихрист и будет прикладывать всем, кто продастся, такие печати. Вот оно так и есть! К тому, к тому, батюшка мой, Филимон Ягорыч, клонится. К тому! Вò, ей-богу, к тому!

Наговорившись вдоволь со старухой, Филимон вышел из избяной тяжкоты на воздух, приятно разбавленный ветерком, цветущими травами и сильным запахом растущей за двором конопли.

На крыльце Ганька забивал в старые грабли новый зуб. Митька сидел около него на ступеньках, держал в руке широкий ножик с прилипшими хлебными крошками. Филимон глядел на них сверху вниз, приглаживая ладонями волосы, поднятые ветром.

— Косить со мной пойдешь завтра, а, Гаврила Филиппыч?

— Пойду, пойду, дядя. Меня мать не берет, я просился.

— Почему же она не берет?..

— Мал, руку, говорит, обрежешь, а я, дядь, пробовал косить на огороде. Ничего нехитро. Чего мудреного? Махай да махай, вот и все.

Присадив Ганьке косу, Филимон, устало потягиваясь, сказал:

— Спать в сарай пойдешь со мной, Гаврил?

— Ну, да, пойду, — ответил Ганька, — в избе мухи очень!..

Филимон взял Ганьку за руки, три раза повернул вокруг себя и поставил на землю.

— А здоровый ты растешь, тяжелый! Расти, расти, хозяином будешь!

«Спать вместе, косить вместе, в Москву поедем вместе — хорошо!» — подумал Ганька, запрыгав от радости.

Глава вторая.

Скоро наступила ночь. В неизмеримой вышине всплыл желтый круг месяца, освещая светлосиним причудливым светом траву, убранную мокрым серебряным бисером, темный лес, одетый в белую туманную ткань, черную воду на пруду, отражавшую небо — раззолоченный потолок; новые крыши домов казались медными, стекла — огненными. Мертвая в этот час была деревня Вишенки в сорок восемь дворов. Лишь изредка перекликались на двух слободах петухи, да сонно тявкала во дворе собака. А когда сквозь туман, обжигая верхушки спящего леса, взметнула кровавые искры заря, — закряхтели, заворочались бабы, мужики, прощаясь с короткой ночью.

— Филь, Филимош, вставай! — подойдя к воротам, сказала Лукерья. — Косить уж пошел народ!

— Ма, и я пойду! — тут же отозвался Ганька.

— Дядю буди, а сам спи. Куда тебе! Думаешь: легко!

Ганька встал на колени и принялся шевелить дядю, но он не вставал; шурша сеном, ворочался, почесывая белую в черном волосе грудь.

— Братец, а братец, вставай, привык в Москве спать-то по-господски, не добудишься!

Наконец Филимон проснулся, увидел перед собой вместо штукатуренного белого потолка соломенную светящуюся крышу.

— Ах, как здорово спал! — воскликнул он, выбирая длинные сенинки из-под рубашки. — Хорошо на сене!..

Промыв на скорую руку глаза, Филимон с Ганькой положили на плечи косы и пошли за деревню.

Пройдя березовый лес, смешанный с зелеными кустами молодого орешника, они вышли на большую круглую поляну, и перед их глазами выросла живая, шумливая картина труда. Мужиками, парнями, с засученными, еще не загорелыми руками, бабами, девками, одетыми в разноцветные сарафаны, была усеяна эта поляна, словно буйно взошедшими живыми цветами. Люди работали, визжали косы, срезая ровными рядами траву. Трава валилась, облитая тяжелой росой, точно кровью, выцветшей на солнце. Разгоряченный народ, вооружаясь длинными палками, махал руками, медленно двигался, будто гнал по земле большое невидимое чудовище, ползущее по траве. Над головами работающих стальными звенящими змеями блестели косы, гремели бруски, лопаточники, слышались голоса, стук стали о камни.

Ганька впервые увидел эту картину. Она показалась ему красивой, страшной, — страшной до того, что он боялся к ней подойти.

— Дядь, дядь, гляди! — указал он Филимону, расширив серые блестящие глаза. — Как махают руками, вроде как дерутся! Вроде как все равно бьют друг дружку, кулаками, палками по ногам колотят. Мне что-то боязно, мал я! Я назад домой пойду.

Филимон махнул свободной рукой.

— Боязно! Хлеб есть небоязно! Смотри мать, она где-нибудь здесь косит.

Подойдя к доле, Филимон сказал сестре: «Бог на помощь» и, поточив сначала свою, потом Ганькину косу, принялся косить. Коса Филимона легко заскользила, как по воде, срезая под самый корешок сочную траву, которая образовывала с Лукерьиной подкошенной травой вал, убранный перепутанными стебельками и чашечками. Через минуту ему в пиджаке стало жарко. Он скинул его, положил здесь же на траву, засучил по-локоть рукава белой рубахи, пошел дальше, помахивая косой, которая сердито визжала в его сильных руках.

Ганька, тоже не глядя на народ, расставил широко ноги, обутые в бабушкины худые полусапожки, и принялся косить. Но коса не очень слушалась, тыкалась носом в землю, пропускала, лохматила траву. У дяди Филимона выходил прокос чистый: на нем не оставалось ни одной травинки, а на Ганькином прокосе трава стояла длинными путаными клочьями, и вал с левой стороны получался где толще, где тоньше, невзглядный, шершавый, перепутанный.

Кое-как пройдя вперед шага четыре, Ганька подался назад и стал докашивать пропущенные клочья измятой, почти вбитой в землю травы. Лицо у него сделалось красное, пышащее пламенем; из-под кепки по вискам лил пот грязными непрерывными дорожками. Сил затрачивал Ганька много, а работа не спорилась. Пропущенную траву он не столько скосил, сколько примял к земле ударами косы. От сильного неумелого взмаха коса тыкалась носом в землю, лезла под корни травы, как бы издевалась над косцом, пружинила, сбрасывая прилипшую землю Ганьке в глаза и в раскрытый рот с высунутым языком.

— Дрянная коса эта, ничего не косит! — еле выговорил Ганька, вытирая руковом пот с раскрасневшегося лица, не глядя на подошедшего.

Поточив Ганькину косу, Филимон стал пробовать косить ей.

— Ну-ка, пусти! — нетерпеливо сказал Ганька, хватаясь за косу.

— Ты норови больше на пятку нажимать, — учил дядя племянника. — Вот, вот так вали! Дело пойдет! Широко не махай, много не захватывай!.. Не тычь, не тычь носом-то! На пятку, на пятку больше налегай! Вот, вот, так! Не торопись!

Через несколько долей от Пряхиных косили отец и мать Катьки Селезневой, которую почему-то лет пять считали в Вишенках Ганькиной невестой. Ганька давно заметил своих нареченных тестя с тещей, но старался в ту сторону не смотреть. А если и смотрел, то делал вид, что смотрит совсем не на Селезневых, а на других людей, которых было так много на этой поляне.

«Что глядите на меня? Как я кошу? — думал Ганька, косясь из-под козырька на Селезневых. — Что на меня глядеть? Я из бедного дома, я вашей Катьки не стою, вы сами ей говорили, что я не стою ее. Ну

и ищите себе зятя богатого, у которого дом под железом и лошадь хорошая. Лошадь с домом это все ерунда, наживется, заработается. А вот вы найдите, попробуйте, такого зятя, чтоб в таких годах, как я, косить умел! Такого, я знаю, вы ни за какие деньги не найдете. Сейчас все мои и Катькины ровестники спят, а я, как мужик, кошу, вваливаю. А что получится из меня, когда мне будет лет двадцать? Тогда, пожалуй, я и сам ее не возьму. Подумаешь, какая красавица! Веснушка на веснушке на лице. Парным молоком все умывается, яйцами сырыми мажет лицо, а не помогает! Только глаза одни ничего, да пляшет хорошо. Да она сама вас не послушает, возьмет да выйдет за меня, если я ей велю! Да, да, тетка Дарья с дядей Федотом, теперь порядки стали не те! Уйдет ваша Катя, не послушает! А что вы тогда с ней сделаете? Да ничего! Уйдет в наш дом, да и вся недолга. А ваш дом к тому времени сгниет, и крыша проржавеет, течь будет», так рассуждал Ганька, стараясь махать еще сильнее косой, когда на него смотрели Катькины отец с матерью.

Перед концом доли, обтирая травой косу, чтоб поточить, Ганька о чем-то задумался и порезал палец на правой руке. Не бросая из рук косы, он достал из кармана холщевую белую тряпочку, припасенную еще вчера с вечера для этого случая. Обертывая палец, из надреза которого падали на худые, мокрые от росы, полусапожки тяжелые капли крови, Ганька ругался почти вслух.

По дороге на другую долю Лукерья сказала, заметив тряпку на порезанной руке сына, которую он хитро прятал в карман штанов или за спину:

— Что, никак уж починил пальчик-то?

— Я чуть-чуть, немножко... — ответил косец.

Они шли по скошенной поляне, изрезанной длинными прямыми валами скошенной травы. Поляна теперь казалась во много раз просторней и глубже, будто окружавший ее лес далеко отступил от нее, освободив солнцу затененную опушку. Время не стояло. Солнце, поднявшись выше леса, искрясь, сушило скошенную траву, бритую землю, освободившуюся от зеленых кудрявых волос.

Ганька очень устал. У него болели бока, спина, руки. Он не знал, как он дойдет до дому, на таких тяжелых будто отбитых, вывернутых ногах. Теперь он бо́льшую часть времени отдыхал, опершись на косу, смотрел по сторонам на неустанно работающий народ, не обращая внимания, что его могут увидеть Катькины мать и отец.

У той стороны, где болотце подходило к лесу, Ганька заметил девку, недвижно стоящую за зеленым кустом, еще не обсохшим с теневой стороны от светлых капель росы. Следя за ней, Ганька видел, как она вытащила из кармана черного фартука маленькое зеркальце, из руки посмотрелась в него, утерла платком свежие тонкие губы, синие блестящие глаза под черными широко разросшимися бровями, и все красное распотевшее лицо ее брызгало счастьем и радостью. Положив

в карман зеркальце, она стала косить, напевая песенку под визг острой косы:

Мил поклялся любить меня вечно,
Как голубку ласкать одноё...

Лениво водя бруском по косе, Ганька взглянул кверху и увидел слева над лесом разорванную цепь кружащихся журавлей. Подняв кверху окосье и зажмуря глаз, навел его на спокойно курлыкающих журавлей, будто хотел выстрелить в них из поднятой косы.

— Коси, коси, сынок, помаленьку! Еще три маленькие дольки остались, скосим — и домой чай пить пойдем, — ласково сказала Лукерья, остановясь перевести дух.

— Ма, можно я маленько посижу? Очень замучился, руки больно, мозоли большие натер, одна прорвалась, щипет, дерет очень! — Не дождавшись ответа, Ганька опустился на первую попавшуюся кочку, не выпуская из рук косы.

— А мне думаешь, сынок, легко? Я тоже страсть как замучилась,— говорила Лукерья. — А что сделаешь, косить-то надо! Смотри, люди на последнюю долю пошли. Мозоли ничего, пройдут, спервачка только, а потом обтерпятся руки, затвердеют ладони, ничего... Мне уж не больки они...

И Лукерья, поплевав на руки, продолжала косить.

Пряхины отстали в косьбе от многих сильных семей, но когда пришли в овражек косить свою часть на пять едоков, там было много народу.

С краю от деревни сердито ругались мужчина с женщиной, не поделившие заливную траву.

Когда Ганька с Филимоном мимоходом остановились послушать, женщина сквозь слезы громко кричала, не думая даже поправить съехавшего с головы на плечи желтого платка.

— За что, какое ты имеешь полное право ударять меня! Дьявол, кулацкая твоя образина! В суд подам, посидишь.

Высокий старик, на которого кричала Прасковья Мироновна, был затронут за живое. Его ноги, обутые в размякшие солдатские ботинки, дрожали в коленях. В сильных руках тряслась коса, которую он, не переставая, точил без всякой нужды.

— Не толкайся, не бери чужого, — отрывисто, сдержанно говорил старик, повернув к женщине, в белом волосе, лицо. — Поняла? Убью, за это отвечать не буду!

— Православные, будьте свидетели! Он, чорт, голову проломил мне! Косой ударил. За что, православные граждане, за что? Что я взяла у него? Я со зла толкнула его, вот и все. А он, чорт... Мало, мало, ей-богу мало у тебя, чорта, отобрали в революцию. Не только что лошадей с коровами, а последние портки с рубашкой надо было отнять. Что! Что! Тогда посидел два дня, узнал! Какой хороший вышел! «Православные, защитите меня, — ходил, ныл по деревне. — Что я вам плохого сделал?» А я, дура, глотку драла за тебя! Хоть бы еще господь бы

батюшка велел большевикам сделать такую же революцию! Хорошо бы, ей-богу хорошо! Я бы тогда первая отбирать к тебе пошла. Все б до нитки обобрала, не пожалела. Я не солдат, не милиционер, ты у меня не спрятал бы ни иголки. Все бы, чорт, дочиста мне выложил. Я хорошо знаю, что есть у тебя!

Усталый народ серьезно слушал, некоторые смеялись, глядя на Захара Захарыча, который все-таки изредка оборонялся, подливая горючего в огонь.

— У меня хоть и отобрали, а я опять богаче тебя живу.

— Я знаю, ты, чорт, опять богатеть стал. Машину-чесалку поставил. По семь копеечек с фунта берешь. А это что, чорт, живоглот, не стыдно, по-божьи это, по семь копеек, а за что: раз повернет колесом, семь копеек ему!

— Придешь ко мне чесать, я с тебя по полтиннику возьму со срамницы, я тебя выучу.

Тут женщина расставила ноги, смешно перекосила лицо, ударяя рукой по колену:

— Так я тебе и дала полтинник, держи, как же! Я схожу в совет, попрошу бумажку, — ты мне задаром неимущей очешешь, очешешь, чорт, дьявол, очешешь, заставят!

— Машина моя и руки мои, отдашь. На суд вот ты на меня можешь подавать за то, что я еще не убил тебя, срамницу. Подавай, ищи свидетелей, кто видал, как я ударил тебя. И я, брат, найду свидетелей. Подавай, будем судиться.

— Будет, папаш, замолчи, связался! — одернул сын старика.

Старик злобно взглянул на молодого румяного сына и, скривя рот, тихо сказал ему, хватаясь за бороду, будто намереваясь в отчаянии вырвать ее:

— Заступись, тебе эта голытьба дороже отца! Сегодня же придем с косьбы, бери свою часть и уходи в свой комсомол от меня! Ты в свидетели к ней пойдешь, отца родного посадишь.

Сын, точно чувствуя силу свою, похлопал себя по чистой загорелой груди.

— Врать нельзя, папаш. Что видел, то и скажу.

В это время откуда-то издалека, через головы Пряхиных, из середины работающего народа послышался здоровый, жизнерадостный голос:

— Эй, граждане, будет вам грызней-то заниматься! Работайте! На будущий год коммуной, коллективно будем косить!

Народ на минуту притих, а сын кулака встал на носки, вытянулся, поднял кверху ослепительно горевшую на солнце косу, неестественно разинув рот, крикнул:

— Две косилки в кредит возьмем! Коллективно, машинами косить будем! К чорту старое! Пора по-новому!

Отчаянный крик комсомольца заставил повернуть головы всего общества в сторону Захара Захарыча. Люди ждали, что между отцом

и сыном завяжется кровавая драка, в которой нередко пускают в ход косы. Но этого не было; родные по крови, чужие по духу, кулак и комсомолец спокойно косили, один веря в правоту и молодую силу свою, другой — в неизбежную гибель всего, чем он жил и живет. Общество резко разделилось на два враждующих лагеря.

Ганька не смотрел на Захара Захарыча, он пристально глядел в лицо своему дяде, который, по его мнению, должен был сейчас что-то интересное сказать матери, но Филимон, точно пораженный услышанным, разинув рот, стоял, как вкопанный.

— Что это за коммуна такая у вас раскричалась? — спросил он через минуту сестру.

— Комсомольцы наши, их туда шесть человек записалось. Вот и мутят весь мир, все общество. Землю на четыре поля поделили, теперь на шесть делить настаивают. Видишь, и косить коммуной кричат. Вот тут как-то три раза перед покосом собирались на сходку. Знают толмят: не делить луга, а всем вместе косить, колехтивно. И председатель вроде на ихну сторону гнет. И ему закружили голову.

Ганька с Филимоном сели отдохнуть на скошенную траву.

— А Власову Маньку знаешь? — спросила Лукерья, устало опускаясь на землю.

— Это Давида Власова дочь? Знаю.

— Тоже в комсомол записалась, — устало вздохнула Лукерья. — Крест с шеи сняла. Волосы под кружок остригла. А коса была длинная, толстая, до колен. Отрезала, не пожалела. Мать в голос выла. Отец из дому сколько раз выгонял, а все равно не послушалась, записалась. Ну, ребятам еще туда-сюда, ничего, а девкам как-то неловко. Да из хорошей семьи! Власовы сроду, спокон веку богомольные были. А дочь, на вот тебе, поди, — в церковь не ходит. Отец с матерью плачут, а она, знай, новые песни поет.

— Коммуной, сестра, ничего не выйдет, — уверенно начал Филимон, — лет тыщу еще подождать надо, не доросли!

Филимон снял с мокрой головы кепку, положил ее около ног и, закурив, щелкнул серебряным портсигаром.

— Дядь, дай мне поглядеть, я отдам, — протянул Ганька руку за портсигаром.

Филимон отрицательно потряс головой и пустился в политику, сизо дымя папироской.

— Со мной в одном доме один ученый живет. Старик седой уж, с палочкой ходит. Он ни одной обедни не пропустит, а знаешь, что он говорит? Он говорит: до полного коммунизма еще далеко, у нас в Рассеи он не привьется. А сам Ленин на этот счет что говорил? Да он, сестра, я знаю, он, покойник, сказывал, он говорил, что нам без ученых и без научного мира социализма не выстроить. Ваши комсомольцы, да и сами коммунисты не знают точно, они еще не поймут ничего из этих слов, не доросли. Голову, сестра, для этого большую надо, чтобы в этих словах

как следует разбираться. Я и то в некоторых вопросах как следует не могу разобраться по порядку, а газету читаю, выписываю.

— Это, братец, откуда же выписываешь-то? — перебила Лукерья. — Не из нашей земли, что ли?

Филимон махнул рукой, сморщился.

— Да нет, не из чужой земли, из редакции. Ты, сестра, тоже ничего не понимаешь, трудно с тобой объясняться.

— Чего мы, братец, знаем? Конечно, ничего, — соглашалась Лукерья, — мы народ темный, что скажут, то и верим.

— Вот то-то и оно-то, что темнота-то, сестра, заела нас. Эта темнота, я скажу, самый страшный бич мирового человечества. Всего, я скажу, шара земного, европейского! Вот в чем дело-то, сестра. А ваши комсомольцы — «коммуной, шестиполье»... Говорить-то, я скажу и, одно дело, а делать — другое. Надо как-нибудь собрать мне их, поговорить с ними. Надо пощупать, что они из себя для меня представляют? Чем дышат они?

— Чего их, братец, щупать, молодые еще. Хорошо, хорошо дышат, здоровые, что им? И Манька Власова полная, крепкая, румяная, ничего ей не делается. Отец с матерью сокрушаются, а она хоть бы что...

— Вот то-то и оно, что молодые, а глотку дерут, кричат на все общество, кто мы. Они не знают, что нас буржуазия международная в два счета может «угноировать» [1]). До стандартизации, машинизации, я скажу, электрификации нашей великой исторической мировой стране далеко. Я об этом, сестра, думал много. Другой раз придешь с работы, делать нечего — и думаешь.

Лукерья удивленно покачала головой, глядя на брата.

— Посмотрю я на тебя, Филь, какой ты умный, образованный стал! Больше ученого знаешь. А ведь раньше ты совсем не такой был. В кого ты такой уродился? Отец с матерью наши не очень умные были. Я сама про себя скажу, — у меня память стала слаба, плохая, а ты эво какие слова заучил! Ликтрификация какая-то, стаканизация, прямо не выговоришь, таких и слов-то у нас в деревне не говорят.

Филимон улыбнулся, бросив далеко в траву догоревшую папироску, сказал:

— Я тебе, сестра, говорю: я почти каждый день газету с толком читаю. Вот и развился.

— Угноировать, какое это, братец, слово-то страшное, — морщась, удивлялась Лукерья. — Я в первый раз слышу такое. Это хуже матерного по-моему.

— Это значит, — задумавшись, посмотрел в небо Филимон, — это значит, империализм если захочет, если, скажем, хватит силы у него, может нас, ну скажем, уморить с голоду, блокадой, дымом, газами может, в состоянии задушить. Ну, одним словом, проще сказать, выразиться, —

---

[1]) Игнорировать.

в гной всю Россию нашу превратить! А в одном слове, по-научному сказать, кратко — угноировать. Ну вот и все, понятно вам расшифровано?

— Понятно, — сказал Ганька.

А Лукерья, всплеснув руками, соглашалась и нет.

— Братец, как страшно, я ночи теперь не усну! Да неужто это случится! Неужто союзники допустят до этого?

— Не бойся, сестра, не допустят, — сказал без соображенья Филимон, не зная, о каких союзниках сказала Лукерья.

Напротив через овраг Ганька увидел между кустов зеленого орешника зеркальный блеск стальных кос, платья разных цветов. Т м по узкой лесной дорожке шли ко дворам бабы, девки. Гулко по оврагу и лесу раскатывалась их старая песня:

Чудный месяц плывет над рекою...

Оставив Филимона с Ганькой докашивать долю, Лукерья ушла домой ставить самовар.

Ганька так измучился, что ему нельзя было дотронуться до боков, точно их отбили кулаками или палками. Глубокий вздох вызывал сильную боль, ладони рук, распухшие от мозолей, не сгибались, не держали косы. Чтобы не стоять без дела, он то и дело точил, вытирал травой косу.

Ему казалось, что сейчас самый подходящий момент заговорить, намекнуть... Еще ночью лежа с дядей на сене он сосчитал, когда, в какой день дядя Филимон выедет с ним из деревни в Москву. Филимон Егорыч сам сказал, что ему необходимо дня за три за четыре выехать из Вишенок. Это решение пришлось Ганьке на-руку. Не только эти четыре дня, но час, минута, даже, может быть, секунда времени имели для Ганьки теперь большое значение. Минутой раньше выйти из дома — это значит на целую большую минуту приехать раньше и увидать Москву. Москвой он теперь жил, о Москве думал. Вся жизнь для Ганьки — Москва! Дядя Филимон — мост, по которому он легко пройдет и увидит Москву.

«Не сломалась бы к тому времени машина, — мучительно думал мальчик. — Пешком такую даль не дойдешь. Ну вот, выдумал тоже, все время люди ездят, не ломается, а как тебе ехать — сломается! Ничего не сломается — она железная. Дурень! — ругал он себя. — Небось не вся она железная. Там и дерево есть, на чем сидят-то, загореться может».

Решив, что машина все-таки на его счастье не сгорит, Ганька сказал:

— Дядь, я сейчас сосчитал: шестнадцатое число будет в субботу, — в субботу мы и поедем с тобой?

Филимон сначала улыбнулся, потом сделал серьезное лицо:

— Куда это поедем?

— А в Москву-то! Эх ты, позабыл уж!

— Нет, не позабыл.

— Не забыл, а спрашиваешь, куда? Знамо дело, в Москву! Сегодня ночку ночуем — меньше будет, еще ночку — еще меньше, да, дядь, да?

— А что там делать тебе, зачем? — нетерпеливо спросил Филимон.

Дядины слова напугали Ганьку. Он на некоторое время смутился, не зная, что ответить ему.

— Москву поглядеть, слона, еще Ленина. Я, дядь, там буду тебе в комнате пол мыть, за папиросками ходить. Я, дядь, без дела не просижу. Я, дядь, что заставишь, все тебе сделаю.

— Были бы деньги, за папиросками я сам схожу и пол сам в три месяца раз вымою. Незачем тебе. Ты здесь нужен.

Ганька принялся доказывать, что он ненужен в деревне.

— На что нужен-то? Покос, дядь, мы с тобой скосим. Рожь жать еще рано, она к тому времени не поспеет. Я там с тобой, дядь, поживу недельку, сяду на машину и живо прикачу домой. Что же мне долго делать-то там?

— Нет, ты лучше не думай. Не возьму все равно, — безжалостно отрезал Филимон. — Туда семь рублей, оттуда семь рублей, да и до станции шестьдесят верст пешком не дойдешь, надо нанять.

— Я, дядь, до машины пешком помаленьку дойду, — перебил взволнованно Ганька. — Я, дядь, с отдыхом два дня пройду, не замучаюсь, разуюсь и дойду. Я здесь в деревне целый день бегаю — и ни капельки не замучаюсь.

Филимон, недовольно сморщившись и нахмурив брови, сказал Ганьке:

— Это одна только дорога, я тебе говорю. Не пей, не ешь, а с харчами ты мне в два червонца вкатаешь. Нет, не возьму. Ты лучше это из башки выбрось.

— На харчи, дядь, мне не надо, — горестно доказывал Ганька. — Я хлеба из дому на тебя и на себя захвачу. Хлеба нешто жалко! Мы с тобой, дядь, хлеба два непочатых захватим, чтобы в Москве не покупать. Не съедим, — я уеду, тебе останется, ты один без меня доешь. Деньги целей у тебя будут. А за дорогу, за билет, дядь, который ты за меня заплатишь, я вырасту большой — заработаю, отдам тебе. Я, дядь, тогда тебе еще больше отдам. Я, дядь, для тебя тогда ничего не пожалею, как ты все равно для меня! Я еще, может быть, прутьев нарежу, корья надеру, продам осенью, а деньги по почте пришлю тебе в Москву на Пятницкую улицу. Напишу: получить эти деньги Филимону Егорычу Хватову.

Филимон молча выслушал Ганьку и с жестокой холодностью сказал ему:

— Нет, парень, лучше не забивай себе голову. Отложи попеченье. Не возьму!

Ганьке больше нечего было доказывать Филимону, и бесполезно было уговаривать его. Сознав это, он закричал с дрожью в голосе:

— А ты зачем говорил мне: «Гань, пой, пой песни, я обязательно возьму тебя с собой в Москву», — а теперь отказываешься? Обманщик, обманщик! Не сулил бы, врун, хвост овечий! Зачем обманул?

Филимона эти слова покоробили, достали до сердца, он неожиданно для Ганьки снял с плеча косу, остановился, будто в свирепости намеревался проглотить мальчика.

— Ты что, паршивый чертенок, с дядей ругаться вздумал? Срамить меня захотел? Морду разобью!

Ганька, не сходя с места, резко сказал, как бы намереваясь ударить Филимона косой:

— На, на, бей! — подошел ближе на шаг. — Было бы за что бить. Обманщик, обманул, хвост овечий, злой, чумовой чорт!

Здесь уж Филимон не вытерпел. Бросив на траву свою косу, вырвал Ганькину и двумя ударами по лицу сшиб с ног усталого мальчугана. Покончив с этим, молча поднял дрожащими руками с земли большую и маленькую косы, положил их на плечо, поглядел кругом, как убийца, только что совершивший преступление и пошел в деревню с торчащими трубами вдали, дым которых был виден ему через овраг.

Встать Ганьке нехватало сил. Он пополз в высокую, густую траву и ткнулся в нее плачущим, окровавленным лицом. Через несколько минут, повернувшись на спину, крепко уснул, положив на грудь испачканную в крови руку, другую отбросил ровно с плечом, кверху распухшей ладонью, будто показывая свету кровавые мозоли, набитые непосильно-тяжелым трудом. След помятой травы поднялся так, что было похоже, как будто Ганька не приполз в траву с дороги, а упал сверху и плотно лежал на ней, как убитый.

Глава третья.

Перед обедом муравьи, мухи, голод и солнце разбудили Ганьку. Потный, с запекшейся кровью на лице, он испуганно вскочил и сразу же вспомнил, что с ним случилось. Выйдя из травы, он поискал на дороге кепку и, не найдя ее, погонялся за большой бабочкой, которая, то сжимая, то разжимая резные пестрые крылышки, садилась с малинового клевера на белую ромашку, у которой в густой траве на желтом донышке не успела обсохнуть роса.

— Ну, ладно, лети! — махнул грязной рукой Ганька, направляясь к дворам. — Не поддаешься, я хотел из рук посмотреть на тебя, какая красивая! Какие бывают красивые бабочки!.. Как больно мне, — добавил он, осторожно щупая губу. — Филя не возьмет!..

Ближе к деревне Ганька увидел мужика с косой на плече. Морщась от боли в ногах, он скоро догнал того самого старика, который ударил Прасковью Мироновну на лугу косой.

Захар Захарыч — сухой, жилистый, оттого казавшийся высоким, — шел бодро, медленно переставляя немного выгнутые изнутра ноги в черных до колен мокрых штанах, нескладно нависших на порыжевшие солдатские ботинки. Обнаженная, с густым седеющим волосом, голова старика была посажена на короткой шее, будто приготовленная в любую минуту для крепкого удара противника.

Ганька шел за ним сбоку, по левую руку, в которой Захар Захарыч держал кепку и картуз, полный молодых грибов.

— Дедушка Захар! — обратился к нему мальчик. — Это моя кепка, отдай!

Старик остановился, спокойно глядя на Ганьку маленькими серыми глазками сквозь серебряную щетину нависших бровей.

— Нет, я нашел, это моя. Что с возу упало, то, брат, пропало.

— Ну, отдай, дедушка. Меня мать убьет за нее.

— А почему ты можешь узнать, что она твоя, а не моя? Ну, почему? А что у тебя лицо-то в грязи аль в крови? Эх, косец, кровь из носу пошла, вот до чего доработался! А где же коса-то у тебя, тоже потерял? Раненько, раненько, за косу-то взялся, обрежешься.

— Я уж обрезался, — показал ему Ганька завязанный палец.

После злобной ссоры с Прасковьей Захару Захарычу видимо хотелось с Ганькой в лад поговорить и тем открыть свою скрытную душу.

— Ну, говори, почему ты узнаешь ее, что она у тебя — мечена?

Почти всегда, когда Ганьке приходилось о чем-нибудь думать, что-нибудь припоминать, он жмурясь клал указательный палец правой руки вдоль носа, быстро соображал. Так и теперь, приложив палец, Ганька ответил:

— Пуговка у ремешка с левой стороны пришита белыми нитками, другая — с правой стороны черными, — я помню, я сам пришивал. Вот поэтому, дедушка Захар, я и знаю, что это моя кепка.

Старик, повертывая в руках кепку, внимательно осмотрел ее и спросил:

— А еще что есть приметное?

— Еще донышко в пятнах. Я ягоды брал в нее.

— Верно, молодец, что помнишь. Поди умойся вон в той луже, а то я не отдам такому грязному. Иди, иди, я подожду.

— Я не пойду умываться.

— Почему? Поди, поди, рубахой утрешься, как же так в крови?

— Не пойду. Дядя Филимон избил меня. Я пожалуюсь на него бабушке с матерью, а если они ничего не сделают ему, пойду заявлю председателю.

Они шли по дорожке, пересекавшей скошенный луг, по которому по обе стороны, тяжело переваливаясь с боку на бок, ходили вороны, грачи, ища червей и подкошенных лягушек. Захар Захарыч глубоко вздыхал, хмурился. По его морщинистому лицу было видно, что он думал совсем не то, что говорил.

— Ударил, значит жаловаться пойдешь? Так и надо его, не бей. Ты в суд подай на него. Вместе с твоим дядей в тюрьме будем сидеть. Кровь, стало быть, смывать не хочешь? Так с кровью под носом и пойдешь? Сопли, слезы еще распусти! За что же это он, парень, так обидел тебя? А, за что?

Ганька поправил на голове кепку и рассказал старику, как это все вышло, за что дядя Филимон ударил его, и в заключенье добавил, вспомнив про мать:

— Мать наша тоже меня обманывает. Посулила к Пасхе на мои корьевые деньги, которые я сам заработал, купить мне красную рубашку, а не купила. Вот и дядя Филимон весь в нее, такой же обманщик. Он ведь брат родной доводится моей матери.

Поворачивая к своему дому — под красной железной крышей с белыми резными наличниками, — Захар Захарыч глубоко вздохнул и остановился, говоря вполголоса мальчику:

— В твои годы мы слово боялись поперек выговорить, а ты вон что, в суд хочешь дядю тащить. Сроду этого, я говорю тебе, не бывало. Где же это видано? Помирись поди, Ганюшка, с ним, помирись!

«Как же, буду мириться, — думал Ганька, идя по улице, — пускай он сам у меня прощенья попросит. Он меня ударил, а не я его, — он виноват, а не я. Пусть скажет: «Гань, прости меня, я вгорячах понапрасну обидел тебя». Тогда я прощу или предупрежду его, чтоб он еще в следующий раз не делал этого. Неужели он и взаправду не возьмет меня в Москву».

Переходя через речку, Ганька умылся ее теплой водой и неспеша пошел вдоль деревни. Подходя к своему дому, он старался не глядеть в окна, из которых, ему казалось, кто-нибудь на него смотрит.

Ганька попал под обед. Филимон, причесав мокрую голову, сел за стол, за ним Ганька и Митька с Дунькой.

Положив на стол мокрые деревянные ложки, бабушка Марина заметила, улыбаясь, вытянув губы:

— Филимон Ягорыч, нешто ты косомолец? Сел за стол, а богу не помолился. Вчерась сел не перекрестился и сегодня. Как-то неловко.

— Он-то ладно, ребята-то сели так... Большой все виноват,— указала Лукерья на Ганьку. — У меня сейчас же вылезай, молись, жрать не дам! А вы что, паршивые, на него, на дурака, смотрите! Живо вылезайте, молитесь, а то сейчас веником!

— Вылезай, мнучек, помолись, чай не долго перекреститься, — сказала в недоуменьи бабушка.

Ганька посмотрел вопросительно на дядю, как бы ища в нем поддержки.

— Дядя Филимон не молится, и я не буду.

Филимон сидел, улыбался. Лукерья, не зная, как ей поступить, говорила рядом сидящей с ней дочке:

— Встань на ножки, помолись, дочка! Ты у меня умница, а ребята — неслухи, дураки.

— А либяти сяво не молюса? — прижавшись к матери, протяжно выговорила девочка.

Лукерья зло отпихнула от себя дочку и крикнула, стукнув кулаком по столу так, что отпрыгнуло полное зеленых щей блюдо.

— Вылезай, молись! Тебе говорят или нет? Мучитель, ах, мучитель!

— Ну, заорала, не ори, пообедаю — вылезу, — сказал Ганька, незаметно двигаясь в угол. — Я, чай, не гулял, я работал, мне есть хочется.

— Не балуй с этих пор, — ввязался Филимон, — до меня тебе далеко. Раз мать велит, надо молиться. Ты что же, негодяй, не слушаешь матери?!

Ганька упрямился.

— А я вот не буду. Ты не молишься, и я не буду. Нам учитель говорил: нет бога!

Лукерья, расплескав по столу дымящиеся щи, поймала Ганьку за руку и пыталась вытащить его из-за стола.

— Бабушка, дорогая моя бабушка! — упираясь, кричал мальчик. — Заступись за меня. Куда она тащит меня, есть мне не дает! Я, небось, работал. Я, небось, косил, замучился. Бабушка, есть хочется мне!..

Шум, плач, очевидно, надоели Филимону, и он сильной рукой разнял вцепившуюся в сына сестру.

— Ладно, оставь, Лушь, я с ним после потолкую, я его в работу возьму. Он у меня не забалуется, я его выучу, я и не таких молодцов успокаивал.

Дядины слова до того показались Ганьке обидными, что он не вытерпел, закричал сквозь слезы:

— Уж ты-то молчи! Что ты со мной сделаешь? Вот я еще с тобой потолкую, вот я еще захочу, как следует тебя подтяну! За что ты два раза по щеке ударил меня, разбил губу за что? Какое ты имеешь право? Подам в суд, ответишь за меня, ответишь! Хотел простить, теперь не прощу нипочем, теперь не прощу ни в жисть.

Филимон, поймав дрожащей рукой Ганьку за волосы, вытащил из-за стола, голодного, словно котенка, выкинул за дверь.

— Вот как по-моему, чего с ним разговаривать, время зря тратить! Я его выучу! Я же говорю вам, что я не с такими чертями справлялся, а он для меня плевое дело.

Не успел Филимон в победоносной позе уйти до стола, как ему по ногам ударило из отворившейся двери березовое полено. Удар был настолько резок и силен, что Филимон присел и заохал, побелев в лице. Оправившись от испуга и сообразив в чем дело, он матерно выругался, перекосившись бросился к двери, но ни на мосту, ни на крыльце виновника не было, и Филимон, морщась, прихрамывая, вернулся в избу.

— Ах, стервец, по кости попал! Ну, погоди, я его изничтожу! Он мне попадется, сволочь такая, дрянь паршивый, он еще меня, дядю, поленом!

Лукерья, дотронувшись до ложки, из-за стола сказала ему:

— Говорила я тебе, братец, — плакала она, — беда мне с ним, прямо беда, сладу нет! Ну что вот я с ним сделаю? Убьет? Не только мне, но и тебе ни в одном слове не уступает. Дорогой ты мой братец, помоги мне справиться с ним! Что я, горемычная, с ним сделаю? Я нервёная стала от него... я... я.

Филимон, облокотясь на стол, выволакивал по полной ложке из блюда зеленую капусту. А рассердившаяся Лукерья, наоборот, лишилась

аппетита, сидела, сложа на груди чуть вздрагивающие руки. Детей около нее не было; она заговорила, как бы соскучившись по ним:

— Другой раз, Филь, я скажу тебе, парню цаны нету! Нынешнюю весну все дрова порубил и поколол один. Придет, бывало, из училища, вырвет у меня колун: «Мам, дай я поколю, а ты сядь отдохни, небось, замучилась». Скажешь ему: «А тебе, сынок, нешто жалко меня?» Ничего не скажет, покраснеет, промолчит, — а сам начнет колоть без отдыха, сильный, ловкий, так щепки во все стороны летят.

— А по дому-то,— перебила Марина сноху,— за что ни возьмется, все сделает. Ухват насадит и корзинку сплетет. Корыто вон курам выдолбил. Как на что взглянет, все ментом сделает. А вот поди ты,— настоист, неуважителен, любит, чтобы все по нем было, и шибко выговорист. Еще года его такие, — будет побольше, совсем не тот станет, много умнее будет.

После щей бабушка Марина подала на стол противень картошки, обильно политой молоком и сметаной. За картошкой Лукерья, обращаясь к брату, заговорила о другом. Она чуть ли не по пальцам начала пересчитывать нужду:

— Вот надейся на него... А избу, ты сам видишь, братец, надо было бы подрубить. Села на правый передний угол. А денег никак не соберешь, рублей пятьдесят за работу и за лес готовить надо. Я говорила намедни с дядей Митрием, и он мне такую же цену сказал.

— Сарай еще туда-сюда, терпимо, постоит годок-другой,— поддакивала старуха.— А вот изба, Филимон Ягорыч, это верно, плоха. Избу подрубать беспременно этой осенью надо. Помилуй бог, еще задавит, стара стала. Так еще не трогавши стоит, а тряхни, одни гнилушки окажутся, не соберешь.

— И плуг вот тоже,— продолжала Лукерья,— отвал насквозь протерся, не пашня на нем, дорогой братец, а горе. И у ребят чай видишь,— ни обувенки, ни одежонки. Плохо, тяжело жить без хозяина, без добышника. Какое дело одной бабе, куда я гожусь?

Филимон Егорыч, разумеется, догадался, что слова сестры и сватьи направлены с расчетом на его поддержку и помощь.

«Ишь, как на дутых подъезжают! — думал он, облизывая с ложки сметану.— Небось, считаете, как все равно в своем кармане, что я вам червонцев пять отвалю. Дам при отъезде рубля три-четыре, тем и утретесь — и на этом скажете спасибо. Да работать буду у вас две недели, как вол, а это чего-нибудь да стоит, это, я скажу, дорого в такое горячее время».

Пообедав, Филимон вышел из избы отдохнуть.

Как только он перешел луговинку, отделявшую сарай от избы, и затворил за собой скрипучие ворота, в эту же минуту следивший за ним Ганька вошел в избу:

— Собери-ка поесть, бабушка! Жрать — смерть как хочу!

Бабушка Марина охотно открыла печку и, гремя заслонкой, сказала, глядя на внука:

— Мошенник, да нешто так можно с дядей-то?.. А я насолила ломотик хлеба, хотела с Митькой тебе послать...

Нетерпеливо стуча по столу ложкой, Ганька ответил:

— А он не приставай, не дотрагивайся до меня!

— А тебе, мнучек, надо уважить, он постарше тебя. Мы здесь с матерью говорили с ним насчет избы, может — поможет. А ты поленом в него. Разве так можно! — кивая головой, погрозилась старуха, переводя взгляд на лежащее у печки суковатое полено.— Хорошо, что так, бог дал, попал. А то ведь им ногу можно вполне перешибить. И то он бедный так и присел и из лица изменился. Да как же! Небось, как больно-то! И обидно. По кости, говорит, попал. Пошел в сарай, я смотрела на него в окно, вроде хромает,— что как распухнет, работать нельзя — будет лежать, корми его. А пора рабочая. Наделал делов! Эх ты, непутевый!

— Ничего, я смотрел из-за угла, он ничуть не хромает. Ему не перешибешь — чай он не курица!

И Ганька с большим аппетитом хлебал щи.

Пообедав, Ганька вылез из-за стола и подошел к бабушке.

— Поди, полежи, мнучек, чай замучился. Небось воза два сегодня накосили?

— Два-то, бабушка, накосили, как не больше,— спрыгнув с лавки, радостно сказал Ганька.— Я косил хорошо: чисто, только бока, бабушка, шибко болят. Я сейчас гольцов ловить пойду и Митьку с собой возьму.

Глава четвертая.

В овраге за овинами пастухова жалейка уныло выводила песню:

Не велят Маше за реченьку ходить,
Не велят младой молодчика любить...

Немало знает хороших заунывных песен Никанорова жалейка. Недаром на зорьке подолгу слушают проснувшиеся бабы и мужики. Любит, особенно любит песни жалейки Лукерья, Ганькина мать — вишенская вдова.

В эту ночь,— как только уснули Ганька, брат и сестра его,— она встала, накинула на плечи большую красную шаль и, босая, неслышно прошла темные сени, спустилась на навоз; тихо, стараясь не дышать, отперла заднюю калитку, чуть-чуть приподнимая ее, чтоб не скрипела, ушла со двора.

Подняв высоко подол, она бежала усадьбами, мимо безмолвно стоящих лип, черемух, оставляя темный след позади себя на траве. Трава, убранная мелкой росой, казалась серебряной при свете луны. Деревья, кусты стояли блестящие, будто в снегу. И у самой Лукерьи, как у кошки, огненно горели глаза, ее красная шаль, точно крылья птицы, раскидывала по бокам длинные концы. Под белыми ногами вдовы в траве неумолчно трещали кузнечики. За овинами Лукерья подбежала к ручью, который

пересекал рожь, овес, травяные луга, убегая серебристо-стеклянным концом своим в лес. Выбросив попавшего между пальцев ноги сверчка и звучно поплескавшись, точно утка, в теплой воде, Лукерья перешла ручей, поднялась на пригорок и увидела меж кустов табун лошадей. С этого места она пошла тише, не опуская высоко поднятого подола.

Дойдя до куреня молодых кудрявых березок, Лукерья остановилась. Прислушиваясь, вдова высматривала между лошадей пастуха. Никанор заметил ее и беззаботно засвистел соловьем. Тут уж больше ничего не слыхала вдова... Опустив подол, наклонив голову, она легко, как девочка, подходила к нему. Расчесав пальцами бороду, отливавшую золотом при свете луны, пастух торопливо сбросил с себя халат и, расстелив его на мокрую траву у куста, сказал:

— Садись! Давай скорей ноги заверну.

Лукерья послушно села, и пастух, стоя перед ней на коленях, любовно завертывал вдовьи белые ноги.

— Иззябли?

Лукерья, закидывая наперед концы шали, ответила, облизывая губы:

— Нет, сегодня роса как парное молоко — теплая!

— Сама-то ты, как парное молоко,— смеялся пастух, тряся бородой, подсаживаясь ближе к вдове.

— Правда... Роса теплая,— застенчиво глядя себе на руки, говорила Лукерья.— Смеешься все, знала бы не ходила.

— Ты и так долго сегодня;— ласкался пастух, положив руку на мягкое плечо вдовы.— Ждал, ждал, все глаза проглядел, думал: не придешь!

Вокруг пастуха и Лукерьи между мелких кустов можжевельника ходили лошади.

— Собиралась пораньше,— говорила Лукерья,— да ребята, нескоро уложишь, а там старуха долго ворочалась...

— А чего бояться-то? Все знают, что ты любишь меня,— сказал Никанор, потянув от куста мокрую ветку.

— А может не люблю? Почему ты знаешь?

— А ты сама говорила. Забыла? Память-то девичья!

— Мало ли что говорила. А за что тебя любить-то — такого рыжего?

— Нет, Лушь! Скажи: ты меня горячее, чем Филиппа, любишь? Али нет?

— Чудак ты какой,— улыбнулась Лукерья.— С Филиппом я жила, молодая была, и он молодой был, а ты на сямнадцать годов старше. С ума я сошла, связалась с тобой. Сын уж большой.

Никанор, нагнувшись, хотел было поцеловать вдову, но она отвернулась и загородила руками лицо.

— Как ты, рыжий шут, любишь целоваться! — дергая пастуха за бороду, сказала вдова.

— А ты не любишь?

— Я — нет...

— Рассказывай, с Филиппом своим небось целовалась, а со мной не хошь, отворачиваешься.

Лукерья быстро подняла голову с колен пастуха, как бы собираясь уйти от него.

— Про Филиппа что вспоминать!.. Ты мне, Никанор, никогда про него не говори. Был бы жив Филипп, совсем другое бы дело было. Совсем по-другому бы я жила. Он бы теперь обязательно коммунист был, где-нибудь в совете сидел.

— В совет проперетъ,— надо голову не маленькую. Грамотность большая нужна,— сказал Никанор, смотря сквозь куст на фыркающих лошадей.

— А он разве неграмотный был? Он читать и писать умел. Когда сделалась революция, газеты, книги все у учителя брал, читал. Как бывало минута свободная выйдет,— смотришь, сидит на крыльце, читает. Раз как-то,— встрепенулась Лукерья, стегая концом шали себя по ноге,— спали мы с ним в горенке, в революцию при большевиках уж, когда он пришел из солдат. Проснулась, гляжу,— он стоит на полу, махает руками и вполголоса промеж себя говорит. Я испугалась, слова не могу выговорить, думала: с ума сошел, помешался от читанья-то! Он очень много последнее время читал. Потом кое-как выговорила: «Батюшка Филипп! Что с тобой?» А он, упокойник, улыбнулся и говорит: «Ну вот, уж проснулась! Спи, я,— говорит,— учусь. Выбрали меня вот в волость, а я говорить речи плохо умею, все сбиваюсь, путаюсь. Читать, писать, доклады делать нам, всем крестьянам, надо уметь. Власть-то,— говорит он,— Лушь, теперь наша! Теперь уж скоро из нужды выдеремся».

Сказав это, Лукерья, встала, посмотрела вокруг, волнуясь добавила:

— А вот поди ты: выкарабкался — умер! Если б не умер! Он бы по-бондарному — деньги зарабатывал. Хороших бондарей-то по нашей округе нету... Побегу, вроде, уж рассвет.

Напав на тот самый след, по которому пришла, она побежала домой, а Никанор, проводив глазами вдову, пошел проверять лошадей.

Через полчаса бабушка Марина разбудила только что уснувшую сноху.

— Вставай! Небось выспалась? Время-то уж много. Вставай живей!

В луга в этот день Пряхины не ходили, и Лукерья с Мариной работали в избе по хозяйству. Ганька, измученный впечатлениями пережитого дня, проснулся поздно. Выйдя из сеней на крыльцо, он увидал дядю Филимона, который ходил в огороде между гряд огурцов и капусты... Незавидные деревенские харчи, каждодневное недосыпание через несколько дней изменили его щегольской вид. На нем нижняя солдатская рубашка с широко растянутым воротом, на котором уцелела одна пуговичка, искрящаяся на солнце зеленым стеклом. Недорогие серые брюки, которые он перед отъездом в деревню купил, теперь выгорели, сморщились, как

меха поднимались к коленам. Два клочка усов под носом переросли всякие парикмахерские границы,— смешавшись с бородой, они колючей щетиной обильно затянули щеки и дружно наступали через горло Филимону на грудь. Обожженные солнцем грудь и руки были густо красны, свекольного цвета.

С крыльца Ганька вошел в избу и заметил, что Дунька, сидя на лавке, вместе с рукой окунула в чашку рожок баранки. Здесь же на столе Лукерья мыла в большом алюминиевом блюде деревянные ложки.

Тут в избу вошел Филимон, засучил рукава и прошелся взад-вперед, будто ища что-то потерянное. Следивший за ним Ганька зачерпнул из отпотевшего ведра полную кружку воды и услужливо сказал, заглядывая на дно кружки:

— Дядь, пойдем на крыльцо я тебе полью, самому-то неловко: одной рукой лей — другой умывайся.

— Пойдем, пойдем,— проговорил Филимон, лениво потягиваясь, и заложив за голову руки с натянувшимися сухожилиями.— Как, больше поленом в меня бросаться не будешь? Сукин сын! Злой какой! Хотел тебе за это дело трепку хорошую дать. Ладно!..

Проходя по мосту, Ганька ответил, что он никогда первый не пристает ни к большому, ни к маленькому и вообще драться не любит.

— Если ты, дядь, со мной по-хорошему, то и я с тобой по-хорошему,— сказал он на крыльце, поливая на руки Филимону.

Расставив ноги, Филимон сопел, фыркал, крепко натирая широкими ладонями лицо. А Ганька в это время смотрел на его перегнутую назад, с красными складками шею, которая казалась ему очень толстой и сильной.

— Вот так, Гаврила, молодец! — похваливал Филимон, подставляя под кружку ладони.— Всегда надо постарше себя услугу оказывать. Это необходимо при внутреннем современном положении.

Ганька почти не расслышал дядиных слов,— он думал о Москве, которая ни день, ни ночь не давала ему покоя. «Если б знал, что не возьмешь меня с собой в Москву, то так бы и хватил тебе кружкой по затылку,— говорил он про себя, заглядывая в воду.— Нет, неправда, возьмешь, Филимон Егорыч, возьмешь! Я тебе услужу. Ты любишь...»

Когда в кружке вода была вся, Филимон разогнулся, стряхнув с рук воду и сказал, глядя на Ганьку:

— Вот хорошо! Услужлив ты, парень!

В избе Ганька, подавая Филимону полотенце, сказал:

— Дядь, штиблеты-то у тебя грязные. Я после чая почищу, все равно мне покамест нечего делать. А гребешок, дядь, там на полке... Ты утирайся, утирайся, я сейчас принесу тебе, а то ты сам не найдешь.

Лукерья, Марина, Митька, Дунька сидели за столом, окружив кипевший самовар и дожидаясь Филимона. Но Филимон за стол сел нескоро; он долго причесывался, приглаживал брови и голову, заглядывая в зеркальце на свое обросшее лицо. А Ганька, дожидаясь гребня, стоял около него, подпихнув под ремень длинные тонкие руки.

— Филимон Ягорыч! — крикнула, улыбаясь, бабушка Марина.— Видишь, как парень-то за тобой ухаживает. Гляди, ведь, не отходит от тебя... Исстрадался весь. Все думает, ты его с собой в Москву возьмешь. Ох и хитрец! Захочет—кому хошь потрафит, а не захочет—убей не станет!

У Ганьки густо покраснело лицо. Правдивые слова бабушки смутили, испугали, будто вывернули у него наружу затаенные мысли. Но Филимон, садясь за стол, сказал, облегчив положение Ганьки:

— Будет уважать, слушаться — возьму. Что ж, жалко мне, что ли. Пускай недельку поживет, посмотрит. Я чужих по две недели кормил, а он — свой. Чужим по пятерке на харчи давал, а на него — червонец изведу, не пожалею. Вырастет — отдаст.

Ганька обрадовался и рассеянно смотрел на самовар, который шумел, точно подгулявший молодец с фуражкой набок, из-под которой, вздрагивая, струился синий угарный дымок.

Скоро бабушка Марина поставила на стол семейную сковородку, на которой большими белыми ломтями, утонув в яичнице, лежали поджаренные куски щуки.

Обрадованный Ганька торжествовал, потчевал Филимона.

— Ты, дядь, вот эту дольку бери. С этого боку поджарилось лучше, а с того вроде маленько сыровата.

— Да не ври пожалыста,— противоречила бабушка, задетая за самолюбие стряпухи,— где ж сырая-то? В самый раз зажарена. Я сегодня жарко печку топила, две охапки дров сожгла. Вы ешьте-то с хлебом,— посмотрела она на ребят, а то нешто без хлеба наешься? Я, бывало, смолоду по целому ломтю хлеба с одним яйцом ела. А вы все норовите без хлеба слизнуть. Вот и будете рость худые, драные.

— Мало ли что раньше,— сказал Ганька, черпая деревянной ложкой затянутую желтой пенкой яичницу.— Раньше был царь, а теперь — советы.

Филимон, плотно наевшись, посмотрел на бабушку Марину и глубоко вздохнул:

— Да, свать, теперь совсем другое дело. Жизнь стала не та, не та — другая.

— Я тоже, Филимон Ягорыч, говорю. Все переменилось. Не только молодые, а мы-то, старики, совсем с ума сошли. Бывало, в старину, я помню, молились богу-то нешто так: по часу на коленях стояли. А теперь ленимся. Ох, господи! — вздохнула Марина, вытерев фартуком губы.— А теперь ты вот не молишься, и ребята, глядя на тебя, совсем не крестятся. Наши ребята настоисты. Большой виноват все...

Лукерья допила блюдце, вылезла из-за стола и сказала:

— А ты думаешь, так они и не будут молиться? Уедет брат,— заставлю. А не будут,— на улицу выгоню.

Ганька, поглядывая на дядю, подумав, сказал матери:

— Ма, ты меня хоть убей, я не буду молиться. Я и крест с шеи закину. На кой он?

Лукерья ничего не сказала, злобно плюнула и, в сердцах хлопнув дверью, ушла на двор.

— Сколько раз она тебя драла, лупила за такие слова,— сказала нравоучительно бабушка.— А ты все свое... Хоть бы ты, Филимон Ягорыч, его в Москву определил. Похлопотал бы ты, родимый, куда-нибудь, в кузнецы, в столяры аль в сапожники. По правде сказать, измучил он нас своим карахтером. Как бы было хорошо! Он смышленный: скоро займется...

— Учить его дальше, свать, надо,— сказал Филимон.— Самое главное — учить... Человеком будет.

Старуха, отвернувшись, махнула рукой и, положив ее, сжатую в кулак, на стол, сказала:

— Что ты, батюшка! Зачем нам его учить? Читать писать, маленько знает — и ладно. Что нам в писаря, что ль, его отдавать? Учит вон Логин свово Коську, небось уж одиннадцатый год; наверно уж четвертый год учится, как не больше, в Москве, а толк-то, батюшка мой, какой? Все на отцовской шее сидит. Уже невесту, говорят, там себе завел, а добывать не выучился, все учится.

— Ну что ж! В Вишенках свой инженер али алектромонтер будет,— перебил ее Филимон.

— Да, да, он на анженера идет. Говорят, учится-то хорошо. А учителя-то ишь, Филимон Ягорыч, говорят, которые его учат, что из сапожникова сына учите не учите, а анженер все равно не выйдет... Вот и ловко! Отец учит, учит, старается, сил не жалеет, а он выйдет ни туды, ни сюды. Нет, нет, Филимон Ягорыч, нам лучше его по столярному аль сапожному обучить. Это рукомесло самое по нашему делу хорошее, подходящее. Чай не господский сын.— Сказав это, бабушка Марина послала Митьку в каморку за тряпкой и принялась убирать со стола посуду. — Вот тут как-то намедни попался мне на большой дороге учитель Матвей Матвеич, — не унималась старуха, — он сказал, что ваш парень хороший, мозголовный, его, — говорит, — дальше беспременно надыть учить.

— Я осенью в пионеры запишусь,— обратился Ганька к Филимону, не слушая бабушку.

— Гань, а Гань! — вмешался в разговор Митька.— А ты тогда хотел у Васьки в комсомольцы записаться?

Дальше Ганька рассказал дяде, что его в комсомол по годам не принимают, а осенью, когда будет организовываться пионерский отряд, то его первого Васька Поленов запишет. Он долго с блеском в глазах рассказывал Филимону, что Васька для записных пионеров обязательно выхлопочет из города синие костюмы, красные галстуки, один барабан и одну медную трубу-горн на отряд. Всем, кто будет записан через неделю или самое большее — две, выдадут такие небольшие розовенькие книжечки, вроде как у комсомольцев, в которых сам Васька напишет фамилию, а в Горлове поставят печать.

— Мне он, дядь, напишет,— взволнованно закончил будущий пионер,— «Гаврила Пряхин». Год поставит, а потом внизу распишется: «Вожатый В. Поленов».

— Гань, Гань,— толкнул его в бок Митька,— а по отцу-то что ж, позабыл?

— Отечество полностью не будет писать, поставит Ф., точку,— вот и все,— разъяснил Ганька, вылезая за Филимоном из-за стола,— чего там еще расписывать: «Филиппыч». Ф будет стоять — и хорошо!

Филимон, как бы соглашаясь, молчал. Молчала и старуха, занявшись с посудой. А когда Ганька, сбегал в каморку, два раза повернулся кругом на полу и, взяв Митьку за руку, хотел было уходить из избы, она сказала:

— Запишись, запишись, попробуй! Она те, мать-то, таких печатей, надписей на спине наставит! Она тогда тебя на порог не пустит!

— Пустит, бабушк, неправда! Чай, я ей не чужой, ты, бабушк, я знаю тогда за меня заступишься,— сказал Ганька и, захлопнув за собой дверь, убежал из избы.

На крыльце Ганька напомнил Филимону, чтоб он не забыл нагнуться, когда проходит в отверстие калитки.

— А то ты, дядь, все головой об притолку ударяешься. Небось, больно? Чай голова-то у тебя не деревянная. Ты, дядь, пойдешь в огород? — спросил заботливый племянник.

— Ну да, а что тебе нужно? Куда захочу, туда и пойду.

— Да я так спросил,— как бы извинялся мальчик.— Ты, дядь, иди по ту сторону картошки прямо, прямо по дорожке. А направо не ходи, там очень колко: у тебя ноги нежные, непривычные. Вот мои,— взглянул он на свои загорелые ноги,— ничего: я по стеклам бегаю.

После этих слов Ганька сбежал с крыльца и, словно теленок, запрыгал по мягкой луговине. Подбежав к Митьке, он брякнулся наземь, постоял на голове, несколько раз перекувыркнулся, попрыгал по-лягушечьи на четвереньках, перевернулся на спину и, задрав вверх ноги, сказал:

— Эх ма! Митька, Митюшка, Митюшенька! Прощай, до свиданья! Гаврила Филиппыч, гражданин Пряхин, скоро едет на машине в Москву!

Митька встал на колени, завистливо глядя брату в глаза, долго говорил ему, загораживая от солнца лицо:

— А ты, Гань, привезешь чего-нибудь мне? Мне, Гань, купи транывай, маленький, заводной такой, с колесиками, еще балалайку: знаешь, как у Леньки Сидорова, со струнами, с наклеенными цветочками. Привезешь?

— Привезу,— задумчиво сказал Ганька, не раскрывая глаза.

— Ты там, Гань, недолго.

— А что тебе, жалко?

Митька откачнулся от Ганькиной головы и загородился рукой.

— Мне, Гань, будет скушно без тебя.

Ганька открыл глаза и заметил:

— О-о! Уж отвернулся! Заплачь еще, об чем это? Что я совсем, что ли? Я на недельку, самое большое — на две.

— Да-а, ты не на недельку, ты — долго,— протянул Митька, отняв от лица руки.

— Ладно, дорогой мой братец! Не тужи! Я всего-всего тебе накуплю! А Дуньке привезу куклу, у какой глаза мигают.

Занявшись разговорами, братья не заметили, как к ним подошла белокурая, рослая девочка с красной ленточкой в короткой льняного цвета косичке, с мелким бисером веснушек вокруг вздернутого носа, под карими глазами.

— Скоро поедете? — проговорила она.

— В Москву-то? — спросил Ганька, обнимая Митьку за шею.— Скоро. Накажи со мной, что купить тебе? Я привезу. Уж я, Кать, для тебя постараюсь.

Девочка вдруг оживилась, присела на корточки и, одергивая ситцевое беленькое платьице, сказала, радостно глядя Ганьке в глаза:

— Привези мне, Гань, гребеночку с красненьким ободочком! Только ты, смотри, ради бога, Гань, никому не говори, что я просила тебя,— серьезно протянула девочка.— Меня и так народ все дразнит,— говорит, что я твоя невеста, а какая я еще невеста? Я маленькая.

Ганька вопросительно поднял на Катьку глаза. Катька, махая палкой и переминаясь с ноги на ногу, стояла перед ним.

— А что, Кать, и вправду,— если я тебя посватаю, ты за меня тогда пойдешь? Ну, скажи! Так, нарочно скажи?

Девочка вдруг улыбнулась, покраснела, подняла фартучек, будто намереваясь от стыда спрятаться под него:

— Ну тебя, озорника бессовестного! Ты и вправду! Чего раньше время говорить! Вырастем — видно будет,— краснея, сказала она, как рассудительная женщина, сделав неподдельно серьезное лицо.— Да ты и не любишь меня: ты за Нюшкой Рыжевой «топаешь».

Последние слова растревожили Ганьку. Он ревностно стал извиняться, оправдываться, успокаивать девочку, чтоб она не сомневалась в его верности.

— Да нет, нет, это я так! Шел за коровой, с минутку поговорил, посмеялся с ней. А ты уж: «топаешь»! На кой же она мне, картавая такая: она мне не нравится. Ты, Кать, много лучше ее, только отец с матерью мне твои не нравятся.

Глава пятая.

Лукерья, держа на руках Дуньку, сидела на лавке, расчесывая черным гребешком белые волосы девочки. На Маринины ворчливые слова насчет денег, которые они рассчитывали получить от Филимона, Лукерья коротко отвечала:

— Не буду я больше говорить с ним нащет этого. Мы с тобой вдвоем не раз намекали ему. Что он сам — нешто маленький, не видит, не понимает, что нужда у нас?

Дети, сидя по лавкам, внимательно слушали разговор бабушки с матерью, как бы приобщаясь, прислушиваясь к жизни, которая со дня на день забирала их в свои жесткие лапы. Когда бабушка сказала: «Что ж ждать до тех пор, пока рухнет?», — то все они посмотрели на старый закопченный потолок, под которым выросли и померли их отец, сестры и братья, дяди и тетки, а маленькая Дунька, подняв кверху голубые глаза, прижалась еще плотней к груди матери, очевидно боясь, как бы сейчас не провалился висевший над ней потолок.

— Не будешь, — продолжала Марина. — Ну вот жди теперь... А чего, откудыва ждать-то нам? Добышники-то вон еще какие сидят, — указала она на Ганьку с Митькой, — их не дождешься. А люди-то все строятся, все перестраиваются, все переделывают. Хорошие дома ломают, строят еще того лучше. Господи, грешная, прямо завидки берут. Что ж не строить, коли денежки есть, а лес доступен, лес даровой. Баринову-то рощу эна как высветили, реденька стала. И все берут лесу, записывают, пилят, возят, строят. Вся деревня, за это время, при большевиках, заново выстроилась. А мы вот жди, покудова весь лес сведут, попилят. Вот глаза лопни, — осенью, через год, весь попилят, ни одной шестеричины не выберешь.

— Ну, а я-то что ж сделаю? — перебила старуху сноха. — Ведь денег-то нет у меня? Что ж ты изводишь кажный день, докоряешь меня?

— Я нешто ругаю тебя, — успокаивала Марина Лукерью, — я только говорю: он тебе родной брат, чего бояться? Проси, небось не ударит. Надо за-время припасть леску, пока можно, а то придут союзники, вернутся в именья свои господа, — тогда прута у них не возьмешь! Пока большевики — надо пилить, надо возить, мало ли что, могут сшибить, — тогда у господ, я говорю, прута не возьмешь.

В это время отворилась дверь, и в избу, жуя морковину, вошел Филимон, перервав старуху.

— Никак ты, сестра, плачешь? — сказал он, звучно ломая в зубах морковину. — Поругалась, что ль?

— Нет, так, — сказала Лукерья, утирая слезы концом повязанного платка. — На сходку давно, братец, наряжали; ты хотел итить — ступай.

Филимон, недолго думая, стал собираться. Ему необходимо было поговорить на собраньи с вишенскими мужиками. Когда Филимон надел ярко начищенные племянником щиблеты, Ганька вышел на улицу, где на траве у крыльца сидели Митька с Дунькой, еще до прихода Филимона выбежавшие из избы. Брат с сестрой строили из палочек домик для скворца-детеныша, которого Митька чуть живого отнял у Сомовой кошки. Помятый скворец, вытянув дрожащее, коротко-оперенное крылышко, лежал на траве, то и дело разевая острый чистенький клюв, как бы при-

нимая пищу от матери, тревожно-плачущий голос которой он слышал у избы — на рябине. Подержав в руках скворца, Ганька положил его на траву и ушел, наказав ребятам, чтоб они его не тискали руками, потому что скворец, по его мнению, еще мог ожить. У Митьки в это время была горячая работа, — он торопливо втыкал в землю разной толщины и вышины палочки, из которых у него получался круглый домик, похожий на клетку для умирающего скворца.

Скворец недвижно лежал на подстеленной ему Дунькой траве; бойкий маленький глаз его теперь закрылся синим просвечивающим веком; желтые ножки, будто озябли, плотно прижались к груди, и застыло навсегда судорожно вытянутое крылышко. А мать, одетая в черное, будто траурное, платье, перелетая с рябины на елку, все продолжала кричать и плакать о потерянном сыне, родном песеннике своем.

Вслед за Митькой, который бегал в избу за ножом, вышел во всем своем облачении Филимон. Под пиджаком у него была одета черная с частыми перламутровыми пуговицами рубашка, туго подпоясанная ремнем с никелированной пряжкой; серая клетчатая кепка с желтым козырьком придавала ему праздничный вид. Проходя мимо строящегося домика, он он не заметил ни Митьки с Дунькой, ни скворца, о котором все плакала скворчиха, кружа над головой Филимона, как бы прося у него вернуть ее мертвого сына. Через несколько домов дядя встретил племянника, бросавшего камни с дороги в торопливо бежавшую речку.

— Ну что ж, хозяин, пойдем на собранье-то? — сказал Филимон, закуривая папироску.

— А что мне там делать-то? — ответил Ганька. — Там большие одни...

— Посидим, послушаем, в прениях с тобой поучаствуем.

Налево от них спокойно шумела плотина, спуская из пруда под мост широкий бесконечно длинный холст стеклянной воды. Вода внизу пенилась, бурлила, кружилась и бежала вниз под мост спешащей узенькой речкой. Пройдя мост, дядя с племянником повернули к избе, у которой шумел собравшийся народ. Эта бодро стоящая изба годами и давностью своей не уступала Пряхиной избе. В одном из трех окон огненно отражалось вечернее солнце.

Поздоровавшись за руки с мужиками и бабами, Филимон встал у окна рядом с хозяйкой избы, которую по всей округе звали «Да́шей-табашницей» — за то, что она, как-то еще смолоду, лет пятьдесят назад, пьяная понюхала табаку у вишенского Ивана-кабатчика.

Даша-табашница — бобылка-старушка, с непрерывно трясущейся головой, с одним открытым глазом, кривая, старая, как и изба, в которой она доживала жизнь. За пользование Дашиной избой вишенские мужики каждую осень привозят к ее двору по возу хвороста с семьи с каждого дома. Кроме того, идя на сходку, каждый считает своим долгом захватить Даше кусок хлеба или пяток картошек, — тем и живет она.

Ни Филимон, ни Ганька, идя на сходку, ничего не захватили старушке.

— Филимон Ягорыч, подай, батюшка, Христа ради копеечку, — жалобно попросила она, тряся головой.

Филимон достал из кармана брюк медную монету и, кладя ее сверху вниз в дрожащую руку старушки, торжественно и громко, чтобы все слышали, сказал:

— На, получай, старух! На хлеб я нищим даю, не отказываю. На вино — извини, подвинься.

— А сам-то, Филимон Ягорыч, не потребляешь? — спросила женщина, сидевшая в ногах Филимона.

— Сам-то я особь статья, — сказал Филимон. — Я заработать могу, отчего не выпить с получкой хорошенького парфейцу.

Народ сидел, стоял, лежал на траве, не умолкая слышались мужские и женские голоса.

А Ганька откуда-то притащил толстый березовый чурбан и, поставив его у ног дяди, сказал:

— Садись, а то замучаешься. Он чистый, я его обтер.

Филимон безоговорочно сел. А Ганька опустился у его ног на траву.

Группа мужиков во главе с председателем что-то обсуждала, разложив на табуретке книги — дела вишенского общества. Обсуждали громко, но говор баб заглушал их голоса.

Летом, в страдную пору, бабам редко приходится видеться, наедине поговорить между собой о своих бабьих делах, о коровах, ребятах, о хозяйстве. И теперь, увидавшись на сходке, они сели в тесный кружок и не умолкая разговаривали, сбоку около Ганьки, у ног Филимона.

— Ну, твоя, Матрен, и баловница рыжая корова! — говорила женщина, почесывая затылок под белым платком. — Три раза на той неделе забиралась ко мне в огород. И шут ее знает, как ухитрится пролезть? Проход-то у сарая прямо курице пройти, ну ягненку пролезть. А она как-то боком, вытянется, смотришь — уж там, окаянная, капусту жрет!

— Ну бабы, бабы! — крикнул председатель. — Будет вам, небось накалякались! Ничего не слыхать из-за вас, заглушили всех.

— Да подожди же ты, Марф, тараторить-то! Слушай, что Стяпан-то говорит, — громко сказал седой, высокий старик, переведя серьезный взгляд с женщины на председателя, который сидел на толстом еловом пне, окруженный мужиками, примостившимися вокруг него.

— Стрась, помешали, — огрызнулась женщина. — «Марфа, Марфа!» Что, я одна, что ль, говорю: эва, нас тут сколько сидит!

Кое-как успокоив женщину, Степан крепко потер ладонью светлую, клочковатую бороду и объявил:

— Граждане! Слушайте! Вот бумажка из потребиловки, из кооператива: всех нас велят, просят в члены кооператива записаться. — В Горлове это. Пай по три рубля; не сразу — по частям; кто внесет там рубль аль полтинник, тот книжку получит — тому товару, ситцу будут давать

вперед всех и дешевле, со скидкой. Скидывать будут — дешевле. Много дешевле против купцов. Поняли?

— Поняли! А куда вносить-то? — заговорила, перебив всех, женщина. — А чего они будут давать-то? Рожон получишь от них! От них не только что, от них обхожденья — и того нету. Придешь, а на тебя и не смотрят, и разговаривать-то с тобой не хотят, рыло отворачивают приказчики-то за прилавком.

Утихомирив народ, председатель еще разъяснил и добавил:

— Вот Петра Иваныч с дядей Егором записались. И я записался. Я вам скажу, граждане, по чистой совести: есть ращет.

— Какой ращет? Никакого ращета нетути, — перебила Степана женщина. — У Владимира Сергеича в тыщу раз лучше. Он как был купец, так и останется. Уважительный он, знает, как с народом обойтиться.

— Да подожди, подожди, давай по порядку: скажу я, а потом и тебе слово дам. Ты говоришь нету, а я говорю — есть выгода. Вот в Похлебкине домов двадцать записалось — находят выгоду. И я тужу, что еще тада, той осенью, не записался. Вот в это воскресенье прихожу, показал книжку — и ситцу на кофту дали, и талончик оторвала кассирша на скидку. А нечленам — фига, — в последнем порядке.

При неумолкаемом говоре растревоженных женщин председатель сказал, что для полного разъяснения насчет кооперативного членства на той неделе приедет оратор. Усевшись на пень, он оповестил, что за четверо мирских ворот, сделанных дядей Митрием, приходится по десять копеек со двора.

— Деньги давайте мне, граждане! Оттого, что я уплатил дяде Митрию четыре целковых из сваво кошелька.

Тут все время недвижно сидевший Филимон достал из кармана двугривенный и, получив от председателя сдачи, отошел и сел на свое место.

Разобрав еще несколько вопросов: о косьбе, о загородках, которые необходимо починить, — председатель объявил заседание закрытым, но тут вдруг раздались голоса, предлагавшие разобрать еще один важный вопрос: о священнике, которого надо было пригласить на престольный праздник в Петров день.

— Это не мое дело, — сказал председатель, выбрав спокойную минуту. — Это в мои обязанности не входит. Мне молодежь говорила: нынче иконы принимать не будем.

— Как так не твое дело? — послышался всех сильней мужской голос. — А жалованье ты за что получаешь? Спокон веков принимали, а нынче не надо — ишь ты?

— Молодежь, а чего тебе молодежь слушать? — кричала женщина, подойдя вплотную к председателю. — Плюнь на нее, на молодежь!

— Не надо икон! Не принимать попа! — кричала меньшая часть людей. Народ шумел. Ушедшие со сходки снова вернулись. Голоса пред-

седателя не было слышно. Молодежь просила Филимона, чтобы он сказал что-нибудь.

— Дядь, а дядь! — толкал Ганька в бок Филимона. — Встань, скажи не надо принимать батюшку.

— Ты меня не учи! — сказал Филимон, подымаясь. — Я сам без тебя знаю, что сказать.

Когда Филимон поднялся, народ утих, и председатель, воспользовавшись этим, сказал:

— Погодите, бабы, погодите, так ни к чему не придем. Дайте Филимону Егорычу слово сказать!

Народ утих, повернув лица в сторону Филимона, который, помолчав, начал:

— Допустим, граждане, что вам иконы с попами совсем не нужны, хотя у вас совсем уж на носу престольный праздник. Религия, граждане, это я скажу — частное дело. Религия, граждане, знаете, что на этот щет нам сказал товарищ Ленин? Он, упокойник, сказал, что эта религия — смертный страшный яд, опиум для православного, русского народа. Религия я вам, граждане, скажу еще больше: она — эта религия — боится, как чорт ладона, мирового пролетариата.

Сказав это, Филимон поднял упавший отрезок бревна и опять сел на него.

Народ зашумел сильнее. В темноте вечера слышались голоса за попа и против него, за бога и против него.

Председатель стоял словно оглушенный, держа в руках рваный переплет.

От моста по дороге черной крепкой стеной шла вишенская молодежь:

Волга Волга, мать родная,
Волга русская река...

Атаманская песня шумно лилась по деревне, катилась по окрестным полям и оврагам. Выли и лаяли собаки, потревоженные силой молодых голосов. Подойдя к спорящей сходке, молодежь резко оборвала песню и влилась свежей струей в шумно галдевшую толпу.

— Граждане! Да молчите же, голосуйте! — кричал охрипшим голосом председатель. — Кто за то, чтоб принимать иконы на Петров день? Подымите руки!

При абсолютной тишине вяло поднялись над головами руки за попа и иконы.

— Считай, Васька! — сказал председатель.

— Готово — тридцать девять! — отчеканил молодой голос.

— Теперь, граждане, — продолжал голосовать Степан-председатель, — кто за то, чтоб не принимать на Петров день иконы?

Дружно поднялись в воздухе руки, будто грозя небу.

— Считай, Васька! — повторил председатель.

Во время второго голосования по Ганькиной высоко поднятой руке настойчиво колотила женщина.

— Опусти, опусти, паршивый чертенок, — кричала она. — Ты мал, тебе нельзя поднимать! Опусти!

Ганька упирался, подымая кверху сжатую в кулак руку. Сопя, обдирая Ганьке лицо, женщина все-таки ухватилась за его руку и, повиснув, опустила ее, но Ганька поднял другую, которая как раз попала в счет громко считавшему Ваське.

— Тридцать, дядя Степан, — обидчиво сказал счетчик и громче добавил: — Мы все равно не поедем за попом! За иконами тоже!

После долгого спора старые люди, словно после жаркого боя, из которого они вышли победителями, согнувшись, устало пошли по домам, тяжело переставляя ноги, точно на шее у них висел тяжелый крест, который им суждено было таскать всю свою жизнь.

А побежденная молодежь слилась в одну сильную группу и, выйдя на дорогу, снова затянула вольную песню, которая как нельзя лучше подошла ко времени:

Мы не верим в поповские сказки,
Нас не манит небесный рай...

Вслед за молодежью дойдя до моста, Филимон с Ганькой повернули в сторону, к дому.

— Дядь, а я тоже голосовал, — радостно сказал Ганька. — Мне тетка Ольга Голубенкова всю руку ободрала, ругалась все, а я поднял другую. Васька тоже сосчитал и мою, а без моей было бы двадцать девять. Да, дядь?

Филимон ничего не ответил племяннику; он, остановясь, прислушивался к говору двух старух, которые говорили, стоя одна против другой у дороги.

— Зашла это я намедни к Глебовым, будто за делом, — сказала одна в мужском пиджаке, — а самой страсть хочется их некрещенную девочку посмотреть. Прихожу, а Верка сидит у окна, держит на руках девочку, дочку-то свою. Подошла это я, матушка ты моя, к ней поближе и гляжу: девочка так из лица хорошенькая, крепенькая, глядит на меня и понимает уж, а волосы, Аксиньюшка, у ней-то так дыбом и стоят!

Филимон с Ганькой встали к сараю, заинтересовавшись разговором старух.

— Верка их все норовит пригладить, а они у ней, матушка ты моя, все стоят, — продолжала тихо старуха. — Она их гладит, а они знай дыбом встают, топырщутся, от самой шейки, до макушки, так кверху и тянутся. Так и дыбятся, господи ты мой батюшка! У крещенного ребенка волосики-то мягенькие, а у ней наверно жесткие, как все равно щетина!

— Врет, врет, дядь, не верь ей — не стоят! — шептал Ганька.

— Я видел: не стоят! Хорошая-прехорошая девочка! И ходит уж, сам ее видел.

— От крещенных детей-то ладаном пахнет, а от нее пес знает чем, — продолжала в потемках старуха. — Нехорошо! И в руки-то такого ребенка взять противно. Грешная, я побрезговала. Мне давала Верка подержать, а я отказалась, не взяла, не могу, вроде голова кружится. А водит она ее хорошо: такая она у ней чистенькая, беленькая, а поди ты — вот чем-то вроде пахнет! Пахнет, ей-богу, Авдотьюшка, пахнет!

— Глебов Колька, — сказал Ганька, — все иконы хочет выбросить. Леворверт, дядь, у него есть.

— Господи, я все, грешная, думаю, — слушали дядя с племянником: — что мы до светопреставления дожилй! Как же, к чему же это клонит: детей перестают крестить, богу не молятся, икон не надо! А в потребиловку, ты знаешь, они зачем зазывают? — спросила она согнувшуюся подругу свою.

— Зачем? Нет.

— Да как же! Мой старик говорит, что в священном писании сказано: народится Антихрист и будет народу прикладывать печати, — оно так и есть! Сущая правда! Кто перейдет на его сторону, продастся, тому книжечку с печатью дадут. Так оно, так и есть, матушка! Мы со стариком говорим, что мы до самой своей смерти под печать нипочем не пойдем!

На этих словах старухи, громко вздыхая и охая, разошлись по домам.

В окнах домов горели огни; в небе искрилась звезда. Где-то, за деревней, тревожно мычала заблудившаяся корова. Отходя от сарая, Ганька с Филимоном слышали, как на слободе пронзительно взвизгивали девки и раскатисто хохотали парни.

Придя домой, дядя с племянником плотно поужинали и крепко уснули на сене, под дырявой крышей сарая.

(Окончание следует.)

Фарфоровый город.

(Роман.)

Александр Перегудов.

(Окончание.)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

1.

Прошло лето, наступили ненастные дни сентября.

Попрежнему мертвыми стояли заводские корпуса, над их крышами не дымили трубы. В построенном здании машинного отдела дремотная лежала тишина, на каменных плитах пола стыли большие чаны мешалок, недвижимые стояли бегуны, и пахло в нем сырым угрюмым склепом. Не было аппаратуры, чтобы бодрым грохотом работы разбудить застывшие его стены. Изредка только тишина здания нарушалась шагами человека. Инженер Шумов приходил в отдел и подолгу оставался в нем. Он молча смотрел на трансмиссию, на окна, покрытые пылью и казавшиеся слепыми, на зеленые пятна плесени, выступившие на стенах. Подходил к бегунам и клал руку на холодный шершавый камень. Упираясь ногами в пол, налегал на жернов, будто хотел сдвинуть его с места и заставить кружиться по твердому лежню. Щеки инженера покрывались алыми пятнами, на лбу выступали бусинки пота, на губах порхала жалкая полубезумная улыбка.

С тех пор как уехал с завода управляющий и скрылся Беренс, очень изменился Шумов. Кожа плотно облегала его скулы, нос заострился, ввалились щеки, и только глаза горели темным нутряным огнем, — их блеск был ненормален и жуток, как у маньяка. Его тело одряхлело, обессилело, но тревожило не это: мертвые корпуса сжигали силы. Невоплощенные в жизнь горящие мысли испепеляли волю, доводили до отчаяния. И уже не любовь чувствовал инженер к заводу, а ненависть: завод казался ему упрямым и коварным врагом, победить которого необходимо во что бы то ни стало.

— Я заставлю тебя работать, — злобно шептал Борис, пиная ногой разбросанные части мешалок и прессов; он грозил им кулаком, как будто

куски металла и дерева были живыми существами, хитро притаившимися, внимательно наблюдавшими за ним.

Желание заставить работать мертвый этот отдел было так велико, что инженер начинал галлюцинировать. Однажды, — когда он долго смотрел на трансмиссию, — ему показалось, что валы шевельнулись, замелькали спицы шкивов, и, наполняя гулом пустой корпус, трансмиссия завертелась. Он ясно слышал пощелкивающий шелест ремней, ощущал запах масла. В сухом, обжигающем глаза, тумане качнулись стены, Борис пошатнулся и, боясь упасть, ухватился за дубовый чан мешалки. Огромным усилием воли подавил головокружение, и, по мере того как прояснялось сознание, — оживший отдел умирал. И когда трансмиссия недвижимо замерла, инженер прислонился к стене, изумленно оглядываясь.

«От недоедания... переутомления... — подумал он и бледно улыбнулся. — Плохо дело!..»

Вечерами Борис подолгу сидел за письменным столом, вспоминая расчеты Беренса. На листах бумаги быстро вырастали цифры, оживающие формулы казались прос ыми и близкими, — вот-вот еще усилие, еще одно напряжение уставшего, дряблого мозга — и будет восстановлено все, что унес Беренс. И мысленным своим взором уже видел Борис обновленный, так непохожий на прежний, завод: светлые мастерские наполнены гулом вентиляции; точильные машинки, убивающие пылью рабочих, заменены литейными машинами; машинный отдел, работающий по новым принципам, подъемниками бросает в точильные мастерские прекрасную фарфоровую массу; в гулких корпусах не суетятся изможденные туберкулезом люди, — иные, бодрые бодро выполняют свой облегченный, строго размеренный, труд... Быстрее сыпались цифры, строились формулы, — но жесткий взмах карандаша убивал расчеты. «Не то!»

Откинувшись на спинку кресла, Борис успокаивал себя, вспоминая слова механика: «Все эти проекты хороши, но не это нам нужно сегодня... Нам бы хотя несколько барабанов поставить да два-три пресса, чтобы скорее пустить отдел. А все эти рационализации и машинизации придут в свое время...»

Шумов чувствовал: механик прав. Но слишком ярки, безумно смелы были идеи Беренса, чтобы так легко можно было отрешиться от них; они таили в себе такие возможности, от которых кружилась голова и замирало сердце. И опять на свежем листе под бледными пальцами инженера вырастали ряды и столбцы цифр.

Катя, застыв в углу кушетки, следила за мужем. Ее пугало злое выражение его лица: скорбная складка на переносье, морщины, захлестнувшие углы губ, упрямый блеск прищуренных глаз. Она видела: у мужа что-то не ладится, что-то мучит его и, не зная, как помочь ему, — мучилась сама. Ее ласки не зажигали Бориса, он сурово отстранял жену, когда она подходила к нему, клала ладонь на пылающий его лоб, наклоняясь, целовала в серый висок:

— Оставь!

И опять, далекий и черствый, склонялся над столом.

Катя, съежившись, отходила к окну, смотрела в темь. Свет фонарей выхватывал из тьмы куски крыш, стен, сырые пятна земли. За фонарями, за воротами завода притихший лежал поселок, и туда уносились мысли Кати. Она знала: в двери каморок, в окна маленьких домиков костлявой лапой стучит голод. Голод делал людей иными: многие уже не думали о восстановлении завода, — их сердца очерствели, как земля на солнцепеке, их желания выражались одним словом, пахучим и круглым: хлеб. На хлеб меняли платье, обувь, посуду, за хлебом ездили в неведомую хлебородную сторону. О хлебородной этой стороне рассказывали сказки: там живут люди беспечно и сытно, там не едят картофельных очисток и не прибавляют в хлеб жмыхов и кормовой свеклы, там колеса мажут сливочным маслом и пуд пшена меняют на старую рубашку. Многие рабочие, всю свою жизнь не отлучавшиеся с завода, запихивали в мешки барахло и, очертя голову, бросались добывать хлеб в Самарскую, Саратовскую губернии, в сказочный город Ташкент. Проходило какое-то количество дней, — и некоторые из уехавших возвращались с мешками муки, прятали ее, как скупец золото, под кроватями, в перинах, в погребах за крепкими замками, — а иные погибали в чужих землях. Были и такие, что навсегда покидали завод, уезжали искать счастья в неведомом.

В черноте ночи чудилось Кате: над заводом и поселком лежит огромная туча, она суха и зловеще бесшумна, она давит людей, и в ней никогда не громыхнет гром, не разрядит тяжелого ее удушья.

2.

В эти дни не в казармах и общежитиях суетились люди, а у березового перелеска в клетках множества огородиков. Железными лопатами, скрюченными пальцами рыли и щупали землю, выбирая из развороченных гряд картошку. Согнувшись, шатаясь от истощения и непомерной тяжести, таскали мешки в поселок. Злыми завистливыми взглядами смотрели в соседние огородики: а сколько уродилось у соседа, а не крупнее ли у него картошка? Под дождем, в грязных одеждах, дрожащие от стужи, копались люди в земле, каждую картофелину любовно вытирали ладонями, подолами юбок и рубах и прятали в мешки. Те, кто не успел или не хотел копать весной землю, ходили по огородам с глазами, налитыми тоской и отчаянием. Воровски подбирали они затерявшиеся под плетнями и кочками картофелины, рылись в пустых огородах в земле, много раз перерытой. Иногда за частоколами вспыхивала яростная бабья ругань, ненавистью было пропитано каждое слово, неоправданной злобой и жадностью.

И однажды у перелеска вспыхнуло безумие.

Рядом с огородиком Терентия Силина копался в земле Ефим Дудкин с женой и сыном, пятнадцатилетним Санькой. Возле ходила вдова недавно

умершего точильщика, Пелагея Горшкова. В ее руках был маленький мешочек, в него она собирала на опустошенных огородах остатки картошек. Часто отдыхая, успокаивая хрипящие легкие, Терентий видел, как Пелагея пустыми, невидящими глазами скользила по земле.

«Плохо бабе», подумал Силин, вспомнив, что у Горшковой после мужа остались пустая каморка и трое маленьких детей.

Выкапывая из гряд картошку, он сваливал ее кучкой под плетень и как-то, внезапно обернувшись, заметил: Марфа осторожно подошла к этой кучке и, быстро схватив две картошины, спрятала их в мешок. Терентий бросил лопату, негромко крикнул:

— Поля!

Баба вздрогнула, в блеклых ее глазах забился жалкий животный страх. Она прятала мешочек за юбку и торопливо уходила за плетень.

— Поля, подожди!.. Иди-ка, я тебе картошек дам.

Горшкова остановилась, смотрела из-за плетня сторожко и недоверчиво, боялась подойти.

— Иди, дура, — снова позвал Терентий и, неуклюже шагая через гряды, проковылял к плетню. — Подставляй мешок.

Он видел, как испуганное выражение бабьих глаз сменилось иным, — детски радостным, изумленным, и, все еще боясь верить, Пелагея раскрыла за плетнем мешочек и молча ждала. Горбун, приподнимаясь на носки, перебросил через плетень десяток картошек.

— Спаси Христос, — шепнула баба и часто заморгала белесыми ресницами.

— Что, плохо?

Горшкова не ответила, жадно закрывая мешочек, отошла к огородику Дудкина. И Терентию надолго запомнилась нелепая черная заплата на сером ее платке.

Перелесок туманился в дымке частого дождя, поникшие сиротливо стояли березы. За огородами громоздились корпуса завода, тихие и тусклые, похожие на мираж. От сиротливого перелеска, от далеких неживых корпусов пахнуло на Силина безнадежной тоской. Он оглядел огороды, согнутые фигуры рабочих, взрытую мокрую землю, — тоска усилилась. Терентий отошел от плетня и нагнулся к лопате. Внезапно сырую тишину прорезал звонкий мальчишеский крик:

— Мамка, ма́-амка, воруют!

Заглушая детский крик, вскипел злобный голос женщины:

— Ты што жа это, стерва!.. Воровка!

Оглянувшись, Терентий увидал, как жена Дудкина, вцепившись в мешочек Горшковой, дергала его, исступленно крича:

— Отдай!.. Отдай!.. Ефим, да што жа это!

Пелагея не отдавала мешка, ее лицо похоже было на морду затравленного зверя. Ощерив зубы, полузакрыв глаза, она молча дергала руками. Со всех сторон сбегались люди, окружали баб. Неожиданно Горшкова взмахнула рукой и ударила по лицу Дудкину.

— Ой, убили! — охнула баба и выпустила мешок.

Ефим в два прыжка подскочил к Пелагее, размахнувшись, опустил кулак на серый с черной заплатой платок. Женщина качнулась. Второй удар сбил ее с ног. Кривой ожигальщик, согнувшись, пинал ногами неподвижно лежащее тело. Прибежал Васька Прошин, племянник Пелагеи. Стиснув челюсти, он бросился на Ефима. Кривой отшатнулся, потом, набычив голову, рванулся вперед. Васька с разбитым лицом грохнулся на плетень.

Терентий, спотыкаясь на грядах, выбежал из своего огорода. Он видел, как Васькин отец, перемахнув изгородь, бежал на Дудкина, широкий и страшный, как дикий кабан.

— Что вы делаете?!. Что вы делаете?!. — тонко кричал Силин, и его голос тонул в разгорающемся гомоне озверевших людей. Люди бежали к месту драки, ломали изгороди, кричали и ругались. На огороде Дудкина кипела свалка. На внезапно опустевших огородах засуетились одинокие фигуры баб, они быстро нагребали в подолы картошку и бежали прочь, оглядываясь на гомон и рев толпы.

— Что вы делаете?!. — беспомощно кричал Терентий, протискиваясь сквозь гущу тел к месту драки. Внезапно толпа шарахнулась в сторону, и горбун увидел, как на мокрой земле, сцепившись, катались несколько человек и над ними прыгал Ефим, ударяя железной лопатой по головам и спинам.

— Ефим!.. Ефим!.. Опомнись!.. — бросился к нему Терентий и сжался, увидав занесенную над ним лопату. Тяжелый удар упал на горб Силина, точильщик ткнулся в развороченную гряду, раскинув руки, зацарапал пальцами землю.

Прибежал с далекого огорода кузнец Кувалдин, высокий и черный, с руками, похожими на рычаги. Он, пригибаясь, ловко подскочил к Дудкину и коротким взмахом жилистой руки свалил его на землю. Толпа опять хлынула на огород, несколько рабочих с перекошенными от злобы лицами бросились на Кувалдина. Кузнец, прижавшись спиной к плетню, стоял неподвижно и твердо, только страшные его руки тяжело взмахивали над головами и под их ударами, как под ударами молота, падали люди. Лицо кузнеца посерело, плотно сомкнутые челюсти, казалось, сведены были судорогой, он изредка разжимал их, бросая железные слова:

— Раз!.. Получил?.. Я вас образумлю, дьяволы!

Под ногами Кувалдина уже лежало несколько неподвижных тел, толпа редела, некоторые испуганно шмыгали за изгородь.

— Я вас образумлю, дьяволы!

Неожиданно кузнец прыгнул вперед и, рассыпая удары, пошел на толпу, вытесняя ее из огорода.

— Расходись!.. Ну!.. Раз!.. Получил?!

Когда Терентий поднял голову, — в огороде было пусто, только у плетня сидели два молодых парня, ощупывали головы и плевались кровью. Чувствуя тупую ноющую боль в спине, Силин с трудом поднялся

и сел. Рядом с ним лежал мешочек Пелагеи Горшковой, и, увидав этот мешочек, горбун задергал губами и всхлипнул, как обиженный ребенок. Он пытался встать, но ноги подкашивались и горб тяжелой гирей тянул к земле.

3.

В пятнадцати верстах от завода, в лесах и болотах, прятался маленький старообрядческий скит. Под хмурыми лапами елей, обнесенные высоким забором, стояли обомшелые кельи; они соединялись между собой сенцами, коридорчиками, переходиками и были похожи на затейливую старинную игрушку, склеенную из деревянных коробочек. С востока к кельям примыкала моленная с крутой тесовой крышей и покосившимся восьмиконечным крестом. Около моленной за плетнем росли яблони, кусты смородины и малины, за ними — двор с хлевами, погребами, сеновалами. В коробочках-кельях хранили «древлее благочестие» восемнадцать скитниц. Ежедневно — чуть брезжила за лесом заря — скитницы тихими черными тенями шли в моленную, пели молитвы, по ременным четкам клали положенное число земных поклонов, потом совершали трапезу и занимались хозяйством: были у скитниц три коровы и десяток овец. Днями в кельях вышивали бисером подушечки, крестики, пели духовные стихи.

Много лет топкие болота хоронили скит от греховного мира, и скитницам казалось: ничто не может нарушить тишины и спокойствия их жизни. Но однажды в болота и топи пришли люди, прорубили в березняках просеки, нарыли канав, и от них узнали скитницы: Аким Никитич Карпухин будет добывать на болотах торф — топливо для своего завода. Спустя два года в трех верстах от скита выросли бараки; звонкие посвисты локомобилей, гул работ, песни разбудили дремотную глушь. От торфоразработок к заводу протянулась узкоколейка, и по ней засновали паровозики, таща груженные торфом вагонетки. С мая по август кипела на болотах работа, в сентябре затихал лес, изредка только крики паровозиков вспугивали сырую его тишину.

С тех пор как ожили болота, изменился скит: мирское греховное пододвинулось вплотную. Вначале скитницы чурались людей, прятались за высоким забором, а потом понемногу привыкли к новому: продавали на торфоразработки молоко, грибы, ягоды. И уже не было прежней строгости в укладе их жизни. В окрестных деревнях повелся обычай: если девушка забеременеет, — скит принимал ее, обомшелые коробочки крепко хоронили грехи и тайны.

В скиту жила тетка Петровой, мать Таисия, и к ней, озлобленная насмешками, истощенная голодом, пришла Маня, принесла в подарок дюжину фарфоровых чашек и два чайника.

Тетка встретила ее радушно, накормила солеными грибами и мягким ржаным хлебом. Такого хлеба девушка давно не видала, она много и жадно ела, мельком оглядывая келью. Пол и потолок были желты и

необыкновенно чисты, стены казались сложенными из толстых восковых свечей — пахло от них ладаном и медом. В переднем углу в три ряда стояли на полочках иконы: большие и маленькие, в серебряных ризах и темные, нагие. У окна — столик и два табурета, справа от стола — узкая деревянная койка; над ней висели четки, связка бисерных крестиков, холщевое полотенце.

Мать Таисия сидела у окна, положив на стол бледные кисти рук, внимательно смотрела на племянницу. Маленькая, сухая, одетая во все черное, непохожа была она на заводских женщин. На ее лице, изжелта белом, крыльями ласточки размахнулись широкие черные брови, под ними в длинных ресницах прятались дремучие глаза. Восковой нос был прям и тонок, от губ по подбородку бежали две бледнокрасных полоски. Заметив их, вспомнила Маня, что говорили в рабочем поселке о матери Таисии.

Тридцать лет назад работала в живописной мастерской веселая девушка Таня. В то время на заводе был управляющим Дементий Ильич Грошев, пьяница и распутник. Плакали от управляющего сестры и жены рабочих, в его кабинет боялись ходить в одиночку, приходили вдвоем, втроем и с опаской поглядывали на широкий кожаный диван, знали: на этом диване много пролилось девичьих и бабьих слез. Приходя в живописную мастерскую, Грошев подолгу стоял у стола, где Таня расписывала чашки. При его появлении смолкали песни и разговоры, торопливее бегали по фарфору кисти, ниже опускались над столами головы. Однажды управляющий жарко дохнул в лицо девушки:

— Нынче вечером зайди в кабинет, — и, грузно ступая, пошел из мастерской.

Таня испуганным взглядом окинула настороживщихся женщин, из дрожащих пальцев выскользнул шпахтель, тонко звякнув на цементном полу.

— Вот и до тебя черед дошел, — сказала соседка. — Иди, не пойдешь — расчет.

— Не ты первая, не ты последняя, — утешающе шепнула другая.

Вечером плакала на диване обесчещенная девушка, и в ту же ночь в казарменной каморке выпила она едкой кислоты...

Спустя неделю Игнашка Корчагин, Танин жених, ударом ножа убил на заводском дворе управляющего и за это был судим и повешен. Таня ушла в скит, постриглась под именем Таисии...

— А ты ешь, ешь... — угощала мать Таисия. — Хочешь, еще грибков принесу?

— Не хочу больше, спасибо! — Вспомнив, что в скиту нужно благодарить не так, поправилась: — Спаси Христос.

Тетка смахнула в горстку хлебные крошки, высыпала их в блюдечко.

— Птичкам брошу в лесу.

Помолчав, спросила:

— К нам-то пришла совсем, аль на время?

Маня хотела сказать: «На время», — но испугалась: не прогнала бы, — ответила:

— Не знаю... Я ведь... — и, покраснев, взглянула на вздувшийся свой живот.

— Вижу, вижу, — торопливо заговорила мать Таисия. — Ну, что же, поживи, там видно будет. У нас житье, слава те, господи, тихое, сытное. А у вас, слыхала я, голодают. — И, притушив ресницами дремучие свои глаза, шопотнула: — Бросил тебя аль на войну ушел?

— Кто? — не поняла девушка.

— Ну, вот этот... Твой-то...

— На пожаре сгорел.

— Ох, господи, Исусе Христе!.. Упокой душу раба твоего... Как звать-то?

— Алексей.

Мать Таисия подошла к иконам и, легко сгибая сухое тело, положила три земных поклона.

— Упокой, господи, душу усопшего раба твоего Алексея во царствии твоем... Упокой, господи, душу...

За окном из хвойных чащей сочился вечер. Забор, тесовая крыша моленной темнели, будто осыпались с неба густым серым пеплом. Где-то за моленной глухо ударил колокол.

— Господи, Исусе Христе, — перекрестилась скитница, — молиться зовут... Ну, господь с тобой, пойду. Попрошу мать Измарагду оставить тебя. Игуменьей она у нас. Она добрая, всегда приют дает таким вот... несчастным. Как ты доплелась-то сюда?

— Меня знакомый мужик на лошади до Радуниц довез, а оттуда дошла потихоньку.

— Дай бог ему здоровья... А ты отдохни на моей кроватке, устала, чай.

Шепча молитвы, зажгла перед иконами лампадку, сняла с гвоздика четки и ушла, плотно притворив за собой дверь.

4.

Зойка заметила перемену в Иване Семеныче: старик перестал есть горячую пищу, пить чай, дольше молился ночами, — так поступал он великим постом, когда готовился к исповеди. Смотритель стал неразговорчив, ласков и тих, но ночные его шопоты пугали девочку. Часто видела она старика беспомощно лежащим на полу. Однажды она подумала, что ему дурно, подбежала, испуганно шепча:

— Иван Семеныч!.. Иван Семеныч, ты што?

Смотритель поднял голову, по щекам его текли слезы. Он долго непонимающим взглядом смотрел на девочку, потом, будто проснувшись, замахал рукой:

— Уйди!.. Уйди, не мешай мне!.. Я молюсь. Спи!

И снова седая его голова упала на узкий половичок.

Зойке страшно было спать в одной каморке со стариком, и с того дня, как Маня Петрова ушла в скит, девочка уходила ночевать к ее матери.

В субботу, — накануне того дня, когда Павел Нечаев получил известие, взбудораживщее весь поселок, — Иван Семеныч встал необычно рано, — за окном чуть брезжила туманная муть предутра. Каморка освещалась бледнорозовым светом лампадки. Старик в одном белье подошел к иконам, хотел молиться, но, взглянув на старинную икону, зашептал вдруг совсем непохожее на молитву:

— Господи, ты видишь... Как жить, господи? Прости меня, окаянного злодея! Не ведал, что творил. Ты знаешь, господи... От ока твоего ничто не скроется...

Потом неспеша оделся, взял в углу палочку и вышел из каморки.

Улица поселка была тиха и пустынна. Над крышами домиков дымились трубы, кое-где в окнах было видно, как жарко пылали печи. С точильного корпуса снялась стая галок, бестолково заметалась над заводом, бросая крики, осыпая казарму шелестящим шумом крыльев.

Смотритель пересек улицу, прошел главными воротами на завод. В тумане колыхались корпуса, земля под ногами была мягка и влажна. У машинного отдела Иван Семеныч остановился и, опираясь руками на палочку, долго смотрел на немое здание. Он наклонял голову, прислушивался к тишине, будто ждал: вот-вот за высокими окнами вспыхнет знакомый гул работы. Он очнулся, когда на руки капнула теплая слеза. Иван Семеныч достал из кармана красный с белыми горошинками платок, отер глаза, и вдруг его губы задергались, и он низко поклонился тихим стенам корпуса.

От машинного отдела смотритель прошел к точильному, потом к горновому. Он долго бродил по заводу, отдыхал на ступенях корпусов и вновь, тяжело поднимаясь, шел дальше. Он не заметил, как совсем уже рассвело, туман поднялся вверх и поплыл за поселок к лесу. В тумане над одной из крыш живописных мастерских раскаленной докрасна тарелкой вспыхнуло солнце, и старику показалось: солнце вынырнуло из трубы. Влажные крыши засверкали ярко, будто покрытые лаком; жарким полымем загорелись стекла окон на втором этаже конторы, где жил Борис. Иван Семеныч почувствовал вдруг непреодолимое желание видеть сына, услышать теплоту и ласку его голоса. Чувство жалости к Борису тихо трогало сердце смотрителя. Как изменился сын за это время! Он старается казаться бодрым, подбадривает других, но в изможденном его лице и глазах, налитых темной тревогой, заметны бессилие и безнадежность. Чем помочь ему, какими словами влить в его душу крепость и веру? «Веру во что?» — искрой вспыхнула мысль и погасла, оставляя в сердце смятение и горечь.

У парадного подъезда Иван Семеныч протянул руку к розетке электрического звонка и внезапно опустил ее. Ему почудилось, что идет он к Акиму Никитичу, что сейчас в глухом, слабо освещенном, кабинете встретит его хозяин и скажет: «Шагай, шагай, Иван Семеныч... Садись вот здесь, потолкуем...» Смотритель тяжело вздохнул и, не оглядываясь на залитые солнцем окна, пошел к заводским воротам.

Днем Иван Семеныч ходил в баню, потом до вечера лежал на кровати. Приходила Зойка, принесла паек хлеба и тощую ржавую селедку. Старик отказался от еды. Под вечер он надел кафтан и сел у окна, дожидаясь, когда ударят к вечерне. В окно были видны золотые кресты старообрядческой церкви; смотря на них, Иван Семеныч шептал молитвы, но молитвы не приносили успокоения, и часто его взгляд перебрасывался от крестов к заводским корпусам и молитвы сменялись беспокойными мыслями: «Не подняться заводу!.. Что сделал!.. Господи, прости меня, окаянного!»

На крышу казармы гулко осел удар колокола, и вслед за ним — еще гудела звонкая медь — в коридоре вспыхнул гомон голосов. Иван Семеныч вздрогнул, прислушался. Знакомый голос надрывно кричал:

— Я за это голову оторву! Убью!

В коридоре тыкался от одной каморки к другой Ефим Дудкин, громко и злобно срашивая:

— Кто? Говорите кто, мать вашу так-то!.. Убью!

Женщины, не отвечая, торопливо прятались за дверями. Увидав смотрителя, Ефим широкими вихляющимися шагами подскочил к нему.

— Говори кто? Голову проломлю за это!

Лицо Дудкина передергивалось, глаз, налитый кровью, выпучился, казался огромным.

— Господь с тобой, опомнись!.. — испуганно зашептал старик.— Что случилось-то?

Ожигальщик дернул головой, будто ударили его кулаком в подбородок.

— Хуже зверей стали!.. Што жа это такое? До чево жа дошли? Голубей сожрали, моих голубчиков... Вот, полюбуйся.

Дудкин разжал кулак, и на корявой, испачканной кровью, ладони Иван Семеныч увидал белоснежную, с розовым клювом, голубиную голову.

— Я за ними как за детьми ходил, последним пайком делился... Одна утеха была у меня в сволочной жизни... Как играли-то!.. — Коричневым ногтем Ефим оттянул закрывшееся веко голубиного глаза. — Не смотрит. — А может это кошки? — выдыхнул старик. — Как бы ни кошки!.. Клетка-то вся изломана... Напрочь головы рвали... Одну вот на зло оставили... Узнать бы, кто. — Наклонившись к старику, жалобно зашептал: — Может, узнаешь кто — скажи... Скажи, Христа ради!

И, опять налившись злобой, заметался по коридору, крича:

— Я узнаю! От меня не скроешься! Держись теперь!

Колокольный звон гудел над поселком.

На крыльце казармы Иван Семеныч помолился, кланяясь на все четыре стороны, и пошел к вечерне. В церкви он встал не на левом клиросе — обычном своем месте, — а в темном уголке у южных дверей. Рыдающие голоса певчих растопляли сердце старика. Он повторял за ними слова молитв, чувствуя, как тихое успокоение нисходит в его душу. Когда певчие замолкали, Иван Семеныч начинал молиться о своем: просил бога помочь Борису в трудной его работе, каялся в своем преступлении, а вспомнив Алешку, молился за упокой его души.

В полутемной церкви плавал дымок ладана, трепетали огоньки свеч, и многоцветными звездами теплились перед иконостасом лампады. Из церкви старик вышел успокоенным, бережно неся в сердце отеческую любовь ко всем людям и теплый осадок молитв. Но по мере того как подходил он к казарме, успокоение сменялось тоской, и пепел молитв сдувался холодной тревогой.

В каморке Иван Семеныч, не снимая кафтана, достал с полки старинную, в кожаном переплете, книгу — малый канонник, — и начал читать скитское покаяние:

— «Всесвятые троице, отце и сыне, и святые душе, всеистинный боже, и всего мира создателю, иже милости источнице и человеколюбия бездно; иже праведные любя и грешные милуя и всех зовый ко спасению. Тем же надеюся на милость человеколюбия твоего, припадая, молюся твоей милости, господи, помилуй мя, грешного раба Иоанна».

Толстые зеленоватые страницы канонника, закапанные воском, казались написанными неведомым мудрым старцем. В каком-то далеком скиту неведомый этот старец взывал к богу:

— «Благодарю тя, господи, Исусе Христе, за твое великое милосердие и человеколюбие, и за твою премногую благодать и утешение, и за твое неизреченное долготерпение и ожидание. Аще бо, господи, не твоя благодать покрывала меня, грешного, по все дни и нощи, и часы, то уже бых аз, окаянный, погибл, аки прах пред лицом ветра».

Гул казармы чудился Ивану Семенычу шумом дремучего леса, и маленькая каморка превращалась в убогую скитскую келью. За стенами кельи неумолчно поют сосны, над темными шапками их погасают и вновь разгораются зори. Над болотами ползут туманы, обнажает лицо свое мятежная земля. За стенами кельи, в городах и селах безумствуют люди, а древний старец, склонившись над тоненьким огарком свечи, страстно просит:

— «Яви крепость благотворного милосердия твоего, обращающеся приими мя, грешного, к твоим щедротам, и, хотяща каятися своих согрешениях, приими убо мя, господи, и мое многогрешное покаяние приими ныне, господи...»

Прорвавшись сквозь чащу леса, ударяет в окно кельи красный меч восходящего солнца. В жарком его свете умирает пламя свечи. Но-

вый день новые принесет грехи, и жаль старцу ушедшей ночи. Тоскует сердце его:

— «Ум мой смутися, и душа ми трепещет, и вси удове тела моего содрогнушеся от содеянным ми зол...»

Пришла Зойка, постояла у дверей, слушая шопот Ивана Семеныча:

— «Дарую ми, господи, смерть и кончину благу... Согреших, каяхся небом и землею и небесного царствия ненаследием...»

Увидав на столе нетронутые хлеб и селедку, сердито сказала:

— Что не ел-то?.. И так еле ноги таскаешь.

Старик вздрогнул, увидал себя в каморке, — в небытие ушли дремучий лес и скитская келья.

— Что тебе нужно? Уйди, не мешай мне!

И когда девочка ушла, не мог больше читать. Гнетущая тоска опять тяжело легла на сердце. Иван Семеныч закрыл книгу и бестолково засновал по комнате. Смотрел в темное окно, подходил к комоду, переставлял на нем фарфоровые игрушки. Из рук выскользнул фарфоровый пастушок и разбился о пол. Старик будто не заметил, не подобрал осколки. Свисающие с потолка голуби напоминали белоснежную голубиную голову на темной ладони Дудкина. Смотрителю почудилось: золотой голубь перед иконой спасителя шевельнул крыльями и, тяжело приподняв веко, взглянул мутным умершим зрачком. Старик испуганно оторвал от икон взгляд.

— Господи, прости меня, окаянного!..

5.

Письмо принесли в субботу под вечер, но Павел прочитал его поздно ночью, когда вернулся из конторы. Разорвав конверт, он прежде всего взглянул на подпись «Алексей Кирпичев» — и вспомнил молодого точильщика, работавшего вместе с ним в мастерской. Два месяца назад Кирпичев уехал из поселка искать сытой жизни в неведомых землях. По мере того как Нечаев разбирал корявые строки письма, его лицо ниже склонялось над бумагой, румянец возбуждения заиграл на щеках, в глазах заблестели горячие огоньки. А когда торопливо и бережно складывал он серый, неровно оторванный лист, пальцы его дрожали и сердце билось порывистыми толчками. Первой, мелькнувшей в сознании, мыслью была: «Нужно сейчас же бежать к Борису», но, взглянув на часы, подумал: «Поздно, Борис уже спит. Как жаль, что письмо не принесли на совещание!»

Возвращаясь из конторы в казарму, Павел чувствовал усталость, хотелось скорее лечь в постель, но сейчас усталость пропала, тело было свежим и бодрым, как после купанья в ледяной воде.

Мать спала, укрытая пестрым одеялом; она не слыхала, как пришел сын. Нечаев хотел разбудить старуху, — так велико было желание поделиться полученным известием, — он уже протянул к подушке руку,

но, раздумав, вышел из каморки. Долго ходил из коридора в коридор, надеясь встретить кого-нибудь из рабочих, но коридоры были пусты. Ему захотелось взбудоражить тишину казармы громким криком, переполошить людей и показать им письмо. Частыми молоточками билась в висках кровь, и это биение крови напоминало Павлу те минуты, когда, задыхаясь, метался он в дыму горящего корпуса. Необычайно ярко вспомнил он пожар, смерть Алешки, гудящую толпу, и ему почудилось, что сейчас должна вернуться та жуткая ночь. Вот сейчас забьются в окна казармы набатные звоны, тревожные крики гудка, казарма вздрогнет, закипит потревоженным ульем.

Широкой каменной лестницей вышел Нечаев на улицу.

С севера дул холодный ветер, лужи у крыльца покрывались слюдяными пленками льда. Очень ярко горели звезды. Над крышей горнового отдела зеленоватым прозрачным блюдом застыла луна. От холодного ее света, от резкого ветра повеяло первым дыханием зимы. У главных ворот пробили два. Павел, до конца прослушав перекличку чугунных досок, пошел в казарму. Он долго не мог заснуть, ночь казалась неимоверно длинной.

Рано утром Нечаев пошел к Борису. Инженер, согнувшись над письменным столом, что-то писал. Катя лежала на кровати, из-под голубого одеяла по белой подушке текли черные ее волосы.

— Борис! — крикнул Павел, широко распахивая дверь. — Посмотри, что я получил!

Шумов быстро повернул голову, но ничего не успел ответить, — Нечаев подскочил к столу, бросил на сукно грязный конверт, громко прихлопнув по нему ладонью.

— Читай!

Проснулась Катя, выглянула из-под одеяла и, увидав Нечаева, остановила на нем испуганный взгляд.

— В чем дело? — недовольно спросил инженер.

— Читай, — узнаешь.

И когда Борис развернул серый лист, Павел, сдерживая улыбку, наблюдал, как менялось его лицо. Шумов не дочитал письма, порывисто вскочил с кресла.

— Пойдем в контору, там все обсудим. Ну, кто бы мог этого ожидать!

В кабинете заводоуправления Борис позвонил Лаптеву. Женский голос пискнул в трубку: «Владимир Николаевич спит».

— Разбудите... Говорит Шумов. Да, да... Пусть сейчас же идет в контору... Да, да, очень нужно.

Скосив глаза на окно, инженер видел, как на голубом фоне неба четко вырисовывались освещенные солнцем корпуса, от корпусов по земле стлались синие тени. Две березки у забора горели золотом увядающих листьев. Рядом с ними, еще не тронутые осенью, густозеленые стояли тополя. По узкоколейке у машинного отдела протарахтел паровозик,

тонко свистнул, и пар, вырвавшись из звонкой его глотки, повис в воздухе охапкой ваты.

Положив трубку и не отнимая от нее руки, Борис еще раз перечитал письмо. Алексей Кирпичев писал, что на заводе, куда попал он в поисках лучшей жизни, есть полное оборудование для машинного отдела, эвакуированное из Риги с одной фарфоровой фабрики во время германского наступления в 1915 году. Кирпичев перечислял, сколько имеется на складах завода барабанов, прессов и прочей аппаратуры. Письмо заканчивалось: «Вот бы вам зацарапать это имущество. Здесь оно не нужно, а у вас пойдет в дело. Хлопочите».

— Зацарапаем, — вслух подумал Шумов, — я завтра же поеду хлопотать в Москву.

— Самое главное — сказал Павел,— то, что письмо встряхнет рабочих. Ни у кого никаких сомнений не останется. А то ведь чорт знает до чего дошли: из-за картофелины готовы друг другу горло перегрызть.

— А как у нас с сырьем?

— На несколько месяцев хватит. Карпухин был запасливый человек.

Резко хлопнула прихваченная пружиной дверь конторы, послышались быстрые шаги, и звонкий девичий голос кричал что-то непонятное.

Шумов удивленно зашевелил морщинами лба. Павел хотел выйти из кабинета, но не успел дойти до середины комнаты, — в кабинет вбежала Зойка. Она шаталась, хватая руками воздух, будто искала точку опоры. Ее кофта была расстегнута, под лифом чуть заметно обозначались маленькие груди, и по ним темной бабочкой порхал привязанный на тонком гайтане крестик. На лице Зойки застыли потемневшие от ужаса глаза, из перекосившегося, полуоткрытого рта вырывались похожие на собачий вой крики. Вдруг, словно порывом ветра, бросило девочку на диван; вцепившись пальцами в волосы, она застонала:

— Ой... Ой, батюшки! — Потом, вскинув голову, тяжелым невидящим взглядом уставилась на инженера и крикнула: — Иди скорее!.. Иван Семеныч удавился!

6.

В каморке Шумова женщины говорили шопотом, двигались тихо, словно боялись разбудить тяжелобольного. В раскрытую дверь заглядывали рабочие, испуганные стояли в коридоре мальчишки. Желтый утренний свет падал из окна на комод и зеркало, закрытое простыней, и в полосе света пыль была похожа на синеватый дымок ладана. На полу под дымной полосой блестела золотая шапочка разбитого фарфорового пастушка.

Увидав входившего в каморку Бориса, Анисья Петрова всплеснула руками и заплакала:

— Горе-то какое, Борис Иванович!..

Отец лежал на постели. Он был в черном, наглухо застегнутом кафтане, из-под которого высовывались ступни ног с желтыми, изуродованными мозолями, пальцами. Темное лицо старика было страшно: между раскрытых губ лежал лиловый взбухший язык, брови изумленно поднялись вверх, в щелях век мутнел белок глаз. На щеке около глаза ползала большая муха. Борис согнал ее и вздрогнул, когда муха села на его руку.

— Праведный старичок был, — шептала Анисья. — Смотри: все приготовил к смерти, — и показывала на белье, саван и кожаные туфли, лежащие на табуретке. — И гроб Иван Семеныч приготовил, уж сколько лет в сарае стоит... Пошли за гробом-то.

Борис не слыхал, что говорила Петрова, — он молча смотрел на отца, внимательно рассматривая каждую морщинку на его лице, каждую складку кафтана. На поле кафтана заметил несколько розовых восковых капель, и эти капли вдруг ярко напомнили далекое детство: пасхальную утреню и тонкую красную свечку в руке отца. Колокольня, крыша и церковная ограда освещены плошками, голые шумят в темном беззвездном небе тополя. Из ярко освещенных дверей по ступеням паперти течет толпа, в плотной гуще тел красными светлячками дрожат огни свеч. Вверху ликующие поют колокола. Иван Семеныч держит сына за руку, шепчет молитвы, он не замечает, как наклонилась в руке свеча и бледнорозовые капли воска падают на кафтан и застывают матовыми слезками.

— Посторонись, — послышался у порога грубый голос, и Борис увидел Ефима Дудкина, несущего гроб.

Пелагея Горшкова, пододвинув под иконы стол, снимала с него тарелки с хлебом и селедкой. Когда она взяла старинную в кожаном переплете книгу, — из нее выпали записка и пачка, завернутая в газетную бумагу и аккуратно перевязанная шпагатом. Борис поднял и отошел к комоду. Машинально развернув записку, он уставился в нее рассеянным взглядом, и вдруг его руки вздрогнули, и он поднес клочок бумаги ближе к глазам. Буквы прыгали в неровных строчках. Инженер пошатнулся и, хватаясь руками за комод, медленно опустился на пол. Его сознание тонуло в удушливой вязкой тьме, в которой золотым пятном теплился солнечный свет на желтой полированной стенке комода. Не отрывая взгляда от этого пятна, Борис пытался подняться. Он широко раскрывал глаза, боясь, что веки сомкнутся и сознание зальется тьмой. Его мозг острой болью пронизывала одна мысль:

«Не увидели бы записку... Вот сейчас я потеряю сознание — и записку прочтут».

Пальцы инженера судорожно комкали клочок бумаги.

Кто-то брызнул в его лицо водой, поднял и подвел к стулу. Постепенно таяла мгла, живительнее и ярче бил в окно поток света.

— Что ты?.. Господь с тобой! — шептала Анисья. — Нешто так можно?.. Ты уходи отсюдова, мы одни управимся... Не тревожь сердца.

Борис с трудом оторвался от стула и вышел из каморки, унося записку и пачку. В голове была тупая ноющая боль, как будто на темени

лежал непомерно тяжелый сырой пласт глины. Не помнил, как шел улицей поселка, заводским двором. Дома он ткнулся на кушетку, но тут же, вспомнив о записке, встал и подошел к столу. Развернув газетную бумагу, увидал кусок клеенки и в нем пачку николаевских десятирублевок. Опять закружилась голова, и коричневый лоскут клеенки показался темным лицом отца; по нему около глаза ползала муха. Взмахнул рукой, деньги рассыпались по полу. Борис поднял их, медленно пересчитал: двадцать две кредитки. Мелкой дрожью прыгало веко левого глаза, чудилось: по щеке ползает муха и неприятно щекочет. Он прикрывал ладонью глаз, но и под ней веко продолжало биться. Плеснув в стакан воды, инженер залпом выпил и распахнул фортку. Жадно вдыхая холодок воздуха, достал из кармана скомканную записку и еще раз прочитал ее:

Дорогой мой Боря!

Страшный грех свой не хочу унести в могилу, — каюсь тебе одному. Не осуждай отца своего за совершонное злодейство. Видит бог: лучше хотел я сделать, помочь хотел рабочим... Смутил меня Аким Никитич, уговорил поджечь машинный отдел, обещал вернуться в скорое время и все наладить. Поверил я ему и совершил злое дело. Одному господу-богу известно, что перенес и перестрадал я. Все надеялся я и все верил, и все молил бога... Не было мне спокойствия и нет греху моему прощения. Теперь я вижу: все гибнет, не подняться заводу. Голодают старики и дети, распря идет среди рабочих, и всему виной — я. Дорогой мой Боря, не могу я жить, окаянный злодей... Прости меня Христа ради... И об одном прошу: не бросай завод искупи елико возможно грех отца своего... Деньги, которые получил я от Акима Никитича, раздай неимущим... Трудно и горько мне, тоска съедает сердце, прости Христа ради...

«Так вот почему таким странным был отец после пожара, — мелькнули мысли. — Вот почему несколько раз настойчиво спрашивал он: можно ли восстановить завод?»

Борис застонал, сел на кушетку, стиснув голову руками. Где-то хлопнула дверь, инженер вздрогнул и быстро шагнул к столу. Внезапно его сердце наполнилось непримиримой ненавистью к фабриканту. Чем отплатить ему за преступление и смерть отца? Взгляд Шумова упал на пачку денег, дрожа от злобы, он разорвал их, потом, пьяно шатаясь, дошел до постели и лег. Голова кружилась, тело бил лихорадочный озноб.

7.

Так непохожа была тихая скитская жизнь на жизнь большого шумного завода: лампады, свечи, ладан, шопоты молитв, духовные стихи, толстые раскольнические книги заполняли дни бездумным однообразием.

Мать Таисия заставляла племянницу молиться по утрам, петь в моленной, вязать бисерные лестовки. Боясь обидеть тетку, Маня вставала

перед иконами, но вместо молитв из глубин сердца всплывали думы о родной казарме и заводе. Как-то живут там? Заводские женщины, зло насмехавшиеся над беременностью Мани, теперь казались девушке близкими, родными, — с ними связывали ее годы работы в живописной мастерской, казарменная кухня, вечерние беседы. В них, в этих женщинах, кипела знакомая, наполненая близкими заботами, жизнь. А здесь скитницы похожи были на полуумерших людей: они тенями двигались в коридорах, сенцах, моленной, на дворе, — бесшумно и осторожно, точно боясь громким и резким шагом совершить непростительный грех. Говорили смиренно, почти шопотом, вплетая в обыденную речь слова и вздохи.

В моленной запах ладана вызывал у Мани тошноту и вялое томление. В келье разноцветный бисер рассыпался по столу и полу, не нанизывался послушно на нитку.

— Я лучше буду по двору работать, ходить за коровами и овцами, — сказала Маня тетке. Мать Таисия попросила на то разрешения у матери Измарагды, и игуменья согласилась.

С коровами и овцами было легче, чем со скитницами, — они чем-то напоминали прошлую жизнь. Девушка подолгу оставалась в хлеву или на сеновале; запахи сена, теплого навоза заглушали приторность ладана, которым пропитаны были кельи. В хлеву и на сеновале хорошо было мечтать о будущем своем ребенке. Всем своим телом, по-звериному цепко любила Маня неведомого этого человечка, который тихими толчками часто напоминает о себе и заставляет бережно носить большой вздувшийся живот.

«Выращу девочку (она была уверена, что родит девочку) как цветочек. Красавица будет, умница... Подрастет — в живописной учить начну».

И Маню обидела и испугала игуменья, когда однажды после вечерни сказала:

— Видишь, как хорошо мы живем. Слава те, господи: тихо, сытно... А в миру — грех и смятение... Безумствуют люди, антихристово царство наступает. В книге об антихристе ясно сказано: «Антихрист тогда придет, егда монархическая власть взята будет от среды, тогда он нападет на безначалие и человеческую и божию поищет похитити власть». Вот... Не дай погибнуть душе своей, — оставайся у нас в скиту, живи по древлему благочестию... Подумай-ка!..

Петрова смотрела в широкое, с белесыми глазами, лицо матери Измарагды и не знала, что ей ответить. Беспокойным взглядом окинула пепельно-серые в вечерних сумерках постройки, темную стену леса и задержалась на толстых, перевитых ременной лестовкой пальцах игуменьи. Пальцы тихо шевелились, и четки текли по ним бесшумно и страшно. Подумалось: вот так же мертвенно и тихо потекут ее дни, если она останется в скиту; в серых, как клубы дыма, кельях лесная тишина засушит сердце.

— Подумай, — угрожающе сказала игуменья и пошла от моленной.

Маня долго стояла на ступенях, бездумно шумел лес, стыла земля под холодным северным ветром. Заслоняя звезды, ползла из-за сада туча, в порывах ветра закружились твердые, похожие на пшено, крупинки снега. Они сухо щелкали по соломенной крыше сеновала, катались, подпрыгивая, по жесткой, прихваченной морозом, земле. В хлеве жалобно замычала корова, и Маня вспомнила: нужно дать корму коровам и овцам. С трудом слазила по крутой, с широко расставленными ступенями, лестнице на сушило, принесла Лысенке сена. Лысенка ласково подула на девушку теплым своим дыханием, потерлась головой о ее живот.

— Ну, ты, балуй, — сурово окликнула ее девушка и, прислонясь к двери, смотрела на рыжий, тяжело раздувающийся и опадающий, коровий бок. Вспомнив, что со дня на день корова должна отелиться, почувствовала к ней нежность:

— Тоже, как и я... Тоже беспокоится... Ох, ты бедная!..

Она ласково погладила корову и, взвалив на спину корзину, полезла на сушило. Набирая сено, Маня вдруг побледнела и тихо вскрикнула. В ее животе сначала беспокойно двинулся ребенок, потом грубая рука стиснула внутренности и жесткими пальцами начала переворачивать их. Удерживая подступившие к горлу крики, Маня села на корзину и, корчась, глухо застонала. «Началось», подумала она, но боли внезапно стихли. Девушка боязливо поднялась и медленно, ощупывая ногой ступеньки, начала спускаться по лестнице «Не нужно тяжелое поднимать, — вспомнила совет матери. — От тяжести эти боли». Ей оставалось спуститься с трех перекладин, как вдруг она опять почувствовала под сердцем толчок и правая нога ее сорвалась, не нащупав ступеньку. Оглушенная падением, Маня лежала под сеновалом, каждое мгновение ожидая, что вот-вот грубая рука опять начнет тискать внутренности. Но болей не было. Волоком подтащив к хлеву корзину, девушка открыла дверь и выбросила сено овцам. Овцы, стуча копытцами о деревянный пол, подбежали к корму. Опять неожиданно начались мучительные боли. Маня громко застонала и повалилась на сырой грязный пол. Она каталась по полу, кричала, кусала руки. Овцы испуганно отбежали в угол, сбились в кучу и боялись подходить к корму. При каждом громком вскрике девушки они шарахались в сторону и снова замирали, тесно прижавшись одна к другой.

Маня не помнила, сколько времени лежит она в хлеве. Иногда ей казалось, что она теряет сознание, темнота, насыщенная запахами овец и навоза, тяжело давила тело. В такие минуты было легче, и в полубреде девушка думала о том, что хорошо было бы, если бы темнота отвердела и, грузно навалившись на живот, выдавила бы из него ребенка. Темной, режущей тело молнией вспыхивала боль. Маня корчилась на полу, скрюченными пальцами хватала сено вместе с навозом и набивала им рот, стараясь приглушить крики, утишить боль. Овцы метались по хлеву, потом одна и за ней остальные, торопливо простучав копытцами, выбежали во двор. Со двора в раскрытую дверь дуло холодом, но Маня не ощущала холода, — телу, покрытому испариной, было жарко. Обрывая пуговицы,

девушка распахнула кофту и полуоткрытым ртом жадно вдыхала порывы свежего ветра. Внезапно боли сделались нестерпимыми. Маня легла на спину и, широко раскинув ноги, двигалась по полу, напрягая мускулы живота, стараясь вытолкнуть ребенка. В одном нестерпимейшем порыве боли ей показалось, что внутренности вытекают из ее тела. Ослабев и внезапно почувствовав облегчение, она лежала неподвижно, боясь пошевелиться. За стеной шумно дышала и пережевывала жвачку корова, жалобно блеяли во дворе овцы, и издалека тоненьким комариным звоном плыл духовный стих о божьем страннике. Как в полудреме, услыхала она сердитый крик игуменьи:

— Кто это овец выпустил!

В мутном прямоугольнике распахнутой настежь двери показалась темная фигура, окрикнула:

— Кто здесь?

И вдруг суетливо задвигалась, зашептала:

— Ах, ах, батюшки!.. Господи Исусе!..

8.

После драки в огороде Терентий Силин слег в постель. Чахотка, долгими годами трухлявящая тело, съедала остатки легких. Лицо Терентия осунулось, серая, всегда влажная кожа туго оттянула скулы. Чаще в припадках кашля бился горбун и, сплевывая тяжелую мокроту, видел в ней алые пятна крови. Но он все еще надеялся на свое выздоровление. Навещавшим его рабочим говорил:

— Встану... Я встану... Я еще поработаю. И раньше так бывало: сляжешь — ну, думаешь, — капут, а потом выкарабкаешься.

Рабочие, успокаивая его, поддакивали:

— Канешно, встанешь... Вот придет зима, морозы — и лучше станет. Осенью — хуже, осенью воздух гнилой.

Только кривой Дудкин, приходя к больному, раздражал и мучил его. На второй день после драки в огороде Ефим пришел просить прощенья. Неуклюже согнув над постелью длинное свое туловище, тихо говорил:

— Не гневайся на меня, Терентий Петрович! Сам не знаю, как это случилось. Не в себе я был, ударило в голову, — и ничего не помню. Нешто бы та́к-то я тебя обидел? Прости, брат.

Силин кривил улыбкой губы.

— Бешеный ты, Ефим, трудно тебе жить с твоим карахтером.

— Не серчай.

— Я не серчаю, понимаю, что ты не с умыслом.

Дудкин приносил Терентию печеной картошки, овсяных лепешек, угощал:

— Ешь, а ты ешь, набирай сил. Может, тебе молочка хотца? Скажи — я достану. В деревню слетаю, выменяю на што-нибудь.

А после того как съели у Дудкина голубей, снова ожесточился он и, приходя в каморку Силина, говорил по-другому:

— Што, брат, допрыгался?.. Вот то-то и оно! Вот тебе и завод! Где уж там...

Горбун, съежившись, испуганно смотрел на ожигальщика.

— Слыхал: голубей у меня сожрали?

— Сколько раз уж говорил...

— Нет, ты погоди... Видишь, до чего дошло... Оч-чень хорошо! Новая власть всех к своему месту приберет: каво на фронт, каво в могилу, а другие с голоду сдохнут. Вот те и свобода! Што, брат, понял теперь, чья правда? Зря ты свободу застаивал.

Терентий пытался возражать Дудкину:

— Ну, и застаивал... И буду застаивать! Я не такой, как ты... Вот посмотришь, когда пустят завод...

— Пу-стя-а-ат, — насмешливо протягивал Дудкин. — Пустя-а-ат... Хе-хе!.. Скорей тебя в землю спустят... Дали дуракам игрушку, они и коверкают ее...

В груди Терентия закипала ненависть к этому озлобленному, несуразному человеку. Точильщику хотелось оскорбить его возможно сильнее, но он не находил слов, которые могли бы унизить и придавить Ефима. Клокочущая в груди ненависть выливалась припадками кашля. Передохнув, Силин начинал похабно ругаться, и кривой, посмеиваясь и подмигивая, уходил, будто радуясь, что разбередил душевную рану больного.

Иногда он задерживался у двери, шипел:

— А на меня не обижайся, што я тебя ударил. Это не оттого ты хвораешь. Спина заживет, ей ничего не сделается... На сырой земле ты долго лежал — оттого и простудился. Я тут ни при чем.

Когда Терентий оставался один, он вспоминал прошлую свою жизнь, будто перелистывал огромную со знакомыми картинками книгу. Он видел в ней свое детство, сурового отца, мать-алкоголичку, замерзшую однажды у крайнего домика поселка, видел свою машинку и нескончаемые ряды сработанных им чашек. Книга прошлого заполнена была суровыми и тусклыми картинками; ярче и радостнее были образы, создаваемые воображением.

«Сколько я за свою жизнь чашек наработал, — думал Силин, — большие миллионы! По всей Расеи, в Афганистан, Персию, Турцию пошли мои чашки. Вот если бы всех, кто пьет из моих чашек, собрать вместе на большом поле, выйти к ним и сказать: «Вот, товарищи, вас миллионы собрались, а я один на всех вас чашек наработал». Вот удивились бы...»

Закрывая глаза, Терентий представлял себе огромное поле и на нем многомиллионную толпу; тут были персы, бухарцы, сарты, калмыки, татары, турки, русские — и каждый из них держал в руках чашку, сработанную им, точильщиком Силиным.

«Если бы каждый из них дал мне по копейке, — я бы на всю жизнь обеспечен был. Если собрать всю силу, которую я затратил, работая чашки, — богатырем был бы, не издыхал от чахотки».

Его мысли переносились на другое, он начинал думать о несправедливости жизни:

«Вот Карпухин ни одной чашки не сделал, а богаче нас всех. Почему это так? Правду говорил Нечаев: много неверного в жизни... По-иному надо жизнь устроить: пусть каждый пьет из той чашки, которую сам сделал... А ты ничего не сделал, — ну, значит, и нет тебе ничего».

Будущая жизнь представлялась больному необыкновенной, полной чудес и радостей. Все будут равны, все по-одинаковому обеспечены.

«Я чашки делаю, инженер — машины, плотник — дома, столяры — табуретки, столы; собрать бы все наработанное, продать, а деньги поровну на всех разделить. Когда-нибудь додумаются люди до этого».

Эти мысли казались точильщику новыми, необыкновенно простыми и значительными, они радовали и успокаивали. Он тешился ими, как ребенок игрушками. Мир ограничился для Терентия четырьмя стенами каморки, полными чудесных образов, создаваемых воображением.

Ночами, страдая от бессонницы, Силин думал о том, что если бы все наработанные им чашки поставить одна к одной — получилась бы лента в тысячи верст длиной; если бы в каждую чашку налить воды, то этой водой можно было бы наполнить озеро; если бы наставить чашки одна на одну, вырос бы столб до самого неба, выше облаков и гор.

В детстве мать говорила Терентию: «Если не спится ночью, читай «Богородицу» — уснешь». «Теперь «Богородица» не помогала, помогали чашки. Мысленно слагая из них столбы, ленты и горы, точильщик незаметно засыпал.

Известие о смерти Ивана Семеныча потрясло горбуна. Испуганным взглядом долго смотрел он в лицо Марфы Нечаевой, сообщившей ему об этом, потом, тяжело шевельнув онемевшей челюстью, перекосил рот:

— Говоришь... удавился?

— Удавился... Не стерпел.

Терентий сбросил одеяло, длинными цепкими руками хватался за спинку кровати, вытягивал и поджимал ноги, — было похоже: на кровати шевелится огромный, с человечьей головой, паук.

— Ты што, Терентий Петрович?

— Пойду... друга навещу... — Он сунул ноги в валенки и, шаркая по полу, пошел в каморку Шумова.

Иван Семеныч лежал в гробу на столе под иконами. Вокруг стола толпились женщины, ненасытно смотря в лицо умершего. У окна, с опухшим от слез лицом, сидела Зойка, беспомощно опустив на колени руки. Приходили рабочие, неловко стояли у гроба и уходили. И странно прозвучал в тишине мальчишеский крик горбуна:

— Иван Семеныч!.. Мила-ай!.. — Терентий ухватился за гроб, голова его тяжело легла на белый саван, гроб задвигался на маленькой тощей спине. — Што жа ты наделал?!

Чьи-то руки нежно и властно упали на его плечи, оторвали от гроба. Всхлипывая, как обиженный ребенок, Терентий сел на подставленный табурет, скользнул взглядом по ласково обнимающим рукам и увидал Катю. Ее губы дрожали, глаза были налиты прозрачной влагой слез. Рядом с ней, согнувшись, стояла Анисья, шептала:

— Ну, што ты, Терентий Петрович?.. Скрепись... Всем жалко. Праведный старичок был, все к смерти приготовил: и белье, и гроб. В сарае гроб-то сколько лет хозяина дожидался.

Прыгающим взглядом Терентий окинул каморку, взгляд остановился на иконах, перед которыми золотой голубь, широко распластав крылья, нес на спине розовый огонек лампадки.

— Друх... Друх ты мой милай, — опустил голову Силин, и на его колени и серые валенки капали крупные слезы.

9.

За ночь выпал первый снег, крыши, заборы, фонари нахлобучили белые шапки, земля покрылась пушистыми одеялами.

Ефим Дудкин вышел из казармы задолго до рассвета. Он нарубил в лесу еловых веток и разбросал их на снегу от казармы до кладбища. И когда выносили гроб Ивана Семеныча, Пелагея Горшкова, увидав ельник, сказала:

— Ишь, какой-то добрый человек потрудился для покойника.

Марфа Нечаева, окинув взглядом белый поселок, ответила:

— И земля оделась для Ивана Семеныча... Дай бог ему царство небесное.

Проводить старого смотрителя собралось много рабочих. Нестройной толпой, с обнаженными головами, шли они за гробом. Выше всех несуразно длинный шагал впереди Дудкин, неся крышку гроба. Рядом с Борисом Шумовым шел Терентий Силин, без шапки с красным шерстяным шарфом, повязанным вокруг шеи. Он старался не отставать от инженера и часто семенил ногами. Ветерок шевелил редкие его волосы, горбун морщился, сопел носом. Катя нагнулась к нему, шепнула:

— Ты бы голову-то повязал шарфом, — холодно. Давай я повяжу.

В ее голосе была материнская нежность, но Терентий, сурово взглянув на Катю, отрывисто бросил:

— Не надо. Нехорошо.

Старообрядческий поп Иван отказался отпевать самоубийцу, запретил певчим, ссылаясь на церковные правила, петь «Со святыми упокой», и певчие пели только «Святый боже».

У домиков стояли кучки женщин, рабочих; они присоединялись к идущим. И когда, подходя к кладбищу, Борис оглянулся, то увидал огромную толпу. Его сердце наполнилось горечью, он подумал:

«Если бы они знали, кого провожают, если бы знали, что сделал отец...»

Желтые холмики песку, лежащие по обеим сторонам могилы, казались необычайно яркими, будто облитые оранжевой краской. Толпа рассыпалась между крестов и могил, теснилась к желтой яме, — каждому хотелось посмотреть, как будут спускать в могилу гроб, бросить на крышку прощальную горсть земли. Гроб поставили на снег. Дудкин, вытащив из кармана молоток и гвозди, начал приколачивать крышку. Глухо падали удары молотка. Они раскололи тишину: в голос заплакала Анисья Петрова, зарыдав бросилась на гроб Зойка.

— На кого же я теперь останусь! — кричала она, цепляясь руками за углы гроба. — На кого же ты меня бросил?!

Над Зойкой нагнулась Катя, с прыгающих ее губ срывались беспомощные слова утешения:

— Не плачь, Зоя, мы тебя не бросим... Ты — с нами...

И, внезапно выпрямившись, обернулась к Борису:

— Не могу я... Возьми ее.

Шумов стоял неподвижно и строго, не слыша голоса жены. На сером его лице дрожало веко левого глаза. Катя заметила: Борис быстро поднимал руку и проводил ладонью по щеке, будто сгонял невидимую муху.

Зойку подняли, посадили на скамью под старым, покосившимся крестом, и там, обняв крест, девочка неутешно рыдала.

На длинных полотенцах спустили в могилу гроб, — спуская, толкнули инженера. Он, недоумевая, посмотрел на Катю, потом медленно нагнулся и первый бросил вниз горсть песку. Вслед за ним замелькали над землей руки, и желтым дождем посыпался в могилу песок.

— Посторонись, — негромко сказал Дудкин и, быстро работая железной лопатой, начал засыпать могилу. Когда вырос свежий могильный холмик, Дудкин закинул на плечо лопату и, отирая рукавом пот, мелкими бусинками выступивший на лбу, сказал:

— Прощай, Иван Семеныч! — И быстро пошел с кладбища.

Борис долго следил взглядом, как высоко поднятая на плече лопата мелькала между крестов.

Толпа расходилась. Катя подошла к мужу, тронула за рукав.

— Пойдем, Боря.

— Иди. Я побуду немного здесь.

Он сел на скамью, положил локти на колени и закрыл ладонями лицо. Он чувствовал озноб во всем теле, голова тяжело давила на ладони, согревая своим жаром холодную кожу рук. Хотелось прогнать гнетущую тоску, вязкой глиной облепившую сердце, хотелось вычеркнуть из памяти последние дни и не думать о преступлении отца, — но мысли непо-

воротливыми камнями лежали в сознании, и не было сил их сбросить. Вспоминая свое детство, годы ученья в Москве, инженер искал оправдание отцу в милых истлевших страницах прошлого. И ему уже казалось: виноват не отец, а он, инженер Шумов. Поджог завода — это плата хозяину за то, что он вывел сына в люди. Отец верил: Аким Никитич не обманет, Акиму Никитичу нужно было что-то сделать, чтобы рабочие почувствовали его силу и поняли, что он благодетель и кормилец их... А когда старик увидал, что хозяин обманул, что неоткуда ждать помощи, — он петлей оборвал свою жизнь... «Не бросай завода, искупи грех отца своего», вспомнились слова предсмертной записки старика. «Нет, я не брошу завода, — думал Борис, сжимая ладонями пылающие щеки. — Всю жизнь я отдам заводу... И никто не узнает о твоем преступлении. Пусть в сердцах рабочих навсегда сохранится о тебе ничем незапятнанная память».

Опустив руки, инженер посмотрел на могилу.

— Клянусь тебе: я не брошу завода.

На кладбище никого уже не было. Между сосен и елей, осыпанные снегом, толпились кресты: зеленые, желтые, красные. Одни стояли крепко и прямо, другие нагнулись к могилам, точно желая обнять их широко распростертыми руками; иные, полусгнившие, лежали на земле. Солнечный свет золотой сеткой покрыл белые холмики, стволы и ветви. Снег на крестах и ветвях подтаивал, скупыми слезами падала капель.

Инженер не слыхал, как кто-то подошел сзади, и, только почувствовав на своем плече осторожное прикосновение руки, обернулся и увидал Силина. Терентий стоял, слегка нагнувшись вперед; в правой его руке была маленькая еловая веточка, он разминал ее пальцами и, поднося к лицу, нюхал. Заговорил он неспеша, вполголоса:

— Сидишь?.. А я вот по кладбищу погулял, товарищей навестил.

Борис встал со скамьи.

— Каких товарищей?

— Своих товарищей, точильщиков. Вон их сколько лежит, — он широко описал рукой полукруг. — Тоже вот: жили, горячились, а теперь лежат спокойно — и ничего им не надо. Сколько их со мной работало!

Глаза Терентия подернулись влагой, были печальны и, казалось, глубже залегли в глазницах. И весь он был тихий, маленький, как вылезший из-под земли гномик, смешно одетый в полушубок, валенки, с большой головой, повязанной красным шарфом.

Горбун помолчал, понюхал веточку.

— Лучше мне эти дни. Как погода изменилась, так и полегчало. Не знаю: надолго ли? С кладбища уходить не хотелось, дух здесь вольный, смольной. Я люблю, когда смолкой пахнет. Хорошо. Смола — она легкие очищает... А ты што тут застрял? Над отцом печалишься? Подождать бы ему еще денек... и не было бы ничего...

Инженер провел ладонью по лицу, сказал, не глядя на Силина:

— Я пойду. Прощай.

— Подожди... Побудь со мной маленько, вместе пойдем. На кладбище хорошо посидеть. Не знал я этого, а нынче походил, надписи почитал — и на сердце чище стало. Я нонче вот до чего додумался: кладбище — оно вроде книги, лучше людей про нашу жизнь расскажет. Ты почитай-ка.

Шумов посмотрел на зеленый покосившийся крест; выцветшими полууставными буквами на нем было написано:

Под сим крестом погребено тело раба божия Ивана Ивановича Веселова. Род. 4 января 1882 г. Сконч. 17 марта 1908 г. Жития его было 26 лет. В супружестве был 4 года.

Горбун подошел к кресту и постучал согнутым желтым пальцем в облупившуюся зеленую краску.

— Жития его было двадцать шесть лет... Заметь... Теперь вот сюда погляди, вот на этом кресте... «Погребено тело Василия Петровича Жаворонкова. Жития его было тридцать один год». Со мной вместе работал, веселый был парень, здоровый, а вот только до тридцати одного года дотянул... Смотри сюда. — Горбун, путаясь в полах длинного полушубка, шагнул к желтому покосившемуся кресту. — Петр Силантьич Мохов... Жития его было двадцать два года. Ну... Смекаешь, кто под этими крестами лежит?

— Точильщики?

— Верно, точильщики. Немногие из нашего брата до тридцати пяти лет доживали. Чахотка! А почему? Деваться нам некуда было, знали, что идем на смерть, а шли. Кто в точильную попадал, тому срок жизни — тридцать лет. В мастерских пылища облаками ходит, а мы дышим, фарфоровая пыль ядовитая, легкие разъедает. Проработает человек пять лет и готов — чахотка. Вот, говорят, точильщики — пьяницы, буяны, отчаянные головушки. А от чего это? Простой ответ: хошь ты смирно живи, хошь буйствуй, а конец твоей жизни близок. Ну, и пили, дрались, буянили... Ну, и отчаянный народ — точильщики: им што сейчас на нож лезть, што через пять лет чахотка прикончит, — все едино. Ты погляди, кладбище-то какое, — больше поселка! Ты подумай-ка: на костях завод построен, болота человечьими костями мостили.

Горбун покачал большой красной головой, недоуменно растопырил руки.

— Неужто всегда так будет?.. Ходил вот и жисть свою вспоминал. До сорока двух лет дожил, восемь лет чахотка меня гложет, а доканать не может, — крепкий. У меня отец силач был, водки в рот не брал, табак не курил. Я в него уродился. И жил осторожно, думал: не поддамся, ан, нет, — все равно скрутила... А все жадность хозяйская. Устроить бы вентиляцию хорошую, чтобы из мастерских пыль наружу вылетела, полы водичкой поливать. Пятьдесят тыщ такая вентиляция стоит, перед войной какой-то инженер предлагал Карпухину устроить. Пылинки, — говорил, — не будет... Пятьдесят тыщ!.. Пожадничал Аким Никитич: корпуса каждый год строил, а вот для рабочих что-нибудь сделать — не захотел. Да што ему? Разве нашего брата мало? Один помер — другой

на смену. А вот тех, кто помогал ему нас подхлестывать, и по смерти не забывал. Обернись-ка, сзади тебя знакомый человек похоронен.

За крепкой железной решеткой лежал темнокрасный гранитный памятник. Над памятником высился тяжелый чугунный крест, с прикрепленной к нему фарфоровой дощечкой. Яркозолотые, с темной траурной обводкой, сверкали на фарфоре буквы:

— «Дементий Ильич Грошев, — прочитал Борис, — жития его было пятьдесят шесть лет».

— Жития его было пятьдесят шесть лет, — криво усмехнулся Силин; его голос окреп, в нем дрожали знакомые инженеру отзвуки негодования, плохо скрываемой злобы. — Управляющий был... Он и больше прожил бы, да один парнишка ножом пырнул. Поганый человек был, сколько из-за него слез бабы пролили... Похабник... А вот смотри: за железной оградкой памятником украсили. А вот тут, — наскрозь все кладбище пройди и читай под ряд: жития его было двадцать пять лет... жития его было двадцать семь лет... тридцать лет... двадцать четыре года... А кто о них знает? Сгниет крест, втопчут его в землю — и все. А по правде-то: золотых решеток им мало. Миллионы Карпухину нажили, корпуса воз... дви... гали...

Голова Терентия качнулась вниз. Ухватившись за крест, он мычал, сдерживая приступ кашля. Борис видел, как густо побагровело его лицо. Разомкнув крепко сжатые челюсти, вырвался из перекошенного рта кашель. Терентий согнулся, его горб показался инженеру спрятанными под полушубком мехами; невидимая рука качала их, и воздух, нагнетаемый в грудь, не помещался в ней, со свистом и хрипом вырывался наружу. Горбун кашлял долго, потом выплюнул клокотавшую в горле мокроту, и на снегу расплылось алое пятно крови. Тяжело дыша, Силин смотрел на пятно, дрожащая улыбка кривила его губы. Ткнул пальцем вниз, невнятно говоря:

— Вот... Два дня крови не было... И вот опять.

Обессиленный, с трудом оторвал от креста руки и сел на скамью.

— Скоро и мне напишут: жития его было сорок два года... И — все...

— Пойдем, Терентий Петрович, — наклонился к нему инженер. — Тебе лечь нужно.

— Сейчас... пойдем... Вздохну только... Вредно мне горячиться.

10.

После похорон отца Борис заболел. Часами лежал он, не открывая глаз, вытянувшись под одеялом. Голова, налитая тупой болью, не поднималась с подушки. Сквозь полудрему слышал он, как подходила к постели Катя, наклоняясь, слушала его дыхание. Борис чувствовал облегчение, когда холодная ладонь жены ложилась на его лоб. Он устало приподнимал веки, смотрел в странно незнакомое, похудевшее лицо жен-

щины, и опять веки опускались, темной занавесью закрывали комнату. Он слышал шорохи и звуки и по этим шорохам и звукам старался определить, что делается в комнате. Звон чайной ложечки о стакан напоминал ему утро, и он представлял себе Катю, наливающую чай. Он до мельчайших подробностей видел всю ее фигуру в темной юбке и белой кофточке, с руками, обнаженными по локоть. Звон тарелок напоминал полдень — время обеда, — и опять видел он бледное с растрепанными космами волос лицо жены.

Пять дней пролежал Шумов в постели. На шестой день, проснувшись рано утром, он прежде всего почувствовал необыкновенную легкость век. Он несколько раз открывал и закрывал глаза: тупой ноющей боли в голове не было. Борис приподнялся с подушки, оглядел комнату.

Широкий поток солнечного света буйно бил в окно, и комната освещалась нестерпимо ярко. На темнокрасном ковре багровели теплые пятна солнца, над ними озолоченная дымилась пыль. Укрытая серым платком, спала на кушетке Катя. Борис перекинул взгляд на письменный стол. На зеленом сукне в строгом порядке лежали стопки бумаги, трубки чертежей, книги. Ему захотелось подойти к столу и по-старому удобно сесть в кресло. Он спустил с кровати ноги, встал и, пошатнувшись, ухватился за стул. Катя быстро подняла голову, несколько мгновений испуганно смотрела на мужа.

— Ты что встал?

Все еще держась за спинку стула, Борис улыбнулся.

— Довольно лежать... Я чувствую себя совсем хорошо.

Лицо Кати порозовело, тщетно старалась скрыть она свою радость. Нахмурила брови, сурово сказала:

— Все ночи бредил, а теперь сразу выздоровел. Ложись!

— Да не хочу я лежать... Ты лучше напоила бы меня чаем.

Катя помогла ему сесть в кресло, набросила на его плечи пуховый платок. Засуетилась, подавая на стол чашки, приводя в порядок постель. Он ловил на себе испытующие ее взгляды и отвечал на них ласковой улыбкой.

За стеной в комнате Березкина громко раздавались незнакомые голоса, о чем-то спорили.

— Что там такое? — спросил Борис.

— Не знаю, кто-нибудь пришел.

Она взяла чайник, хотела итти в кухню, но кто-то громко и властно застучал в дверь. Катя беспокойно посмотрела на мужа, шепнула:

— Ну, вот, только с постели встал, — а уж лезут.

— Войдите, — сказал Шумов.

В комнату вошли двое: один — высокий в серой солдатской шинели, другой — чернобородый в кожаной куртке, с портфелем. Высокий быстро оглядел комнату и, остановив взгляд на Борисе, сдержанно спросил:

— Инженер Шумов?

— Да.

Чернобородый сел на кушетку и расстегнул портфель; наклонив голову, он рылся в нем, говоря:

— Мы из уезда. Простите за беспокойство. Вы что — больны?

— Да, болен. Пять дней лежал в постели, только что встал.

— Мы вас не задержим.

— Это ваша жена? — спросил высокий, кивнув головой в сторону Кати.

— Жена.

— Я попрошу вас, товарищ, оставить нас одних... На десять минут. Пожалуйста.

Катя испуганно спросила:

— Что случилось?

— Ничего особенного. Будьте добры.

Он предупредительно распахнул двери, и Катя торопливо вышла из комнаты.

Плотно притворив дверь, высокий подошел к кушетке и сел рядом с кожаной курткой. Некоторое время он молчал, внимательно смотря на инженера, потом тихо заговорил:

— Прежде всего: наш разговор должен остаться между нами. Так. Дело в следующем. Мы имеем сведения о некоторых злоупотреблениях председателя совета рабочих депутатов. Недели две назад мы получили заявление... Я думаю, можно показать?

— Конечно, — чернобородый вынул из портфеля грязный листок бумаги и протянул его Борису. — Прочитайте.

На листке, вырванном из ученической тетради, было написано:

В уездный Совет Народных Комиссаров.

Заявление.

Заявляем мы вам о безобразиях председателя Березкина. Рабочих он ни во што не ставит, а делает все што ему пондравится. Вот так рабочая власть. Ещо заявляем, што он ворует больнишные пайки, мы с голоду дохнем, а он кажный день жрет ситный. А больные без ничево остаются. Што жа ето такое мы вас спрашиваем. Такая у вас правда. Народ озлоблен, а Березкин ещо злобы прибавляет и дает путевки ездить за хлебом кому вздумается и будто для учреждениев. Просим ето разобрать.

Рабочие фарфорового завода: *Митягин*, *Комов*, *Дудкин*.

— Прочитали? — спросил высокий и протянул руку за бумагой. — Так. Мы, пожалуй, не обратили бы на это заявление особого внимания, — такие заявления, часто ничем не оправданные, присылаются нам десятками. Но в данном случае мы имеем еще несколько устных заявлений местных партийцев. Правда, они говорили только о злоупотреблении властью, о недовольстве рабочих, не касаясь больничных пайков. Сегодня в ночь мы произвели в больнице ревизию. Так. Злоупотребления есть. Днем мы

соберем партийное собрание, на котором выяснится, как нужно поступить с Березкиным.

— Позвольте, при чем же тут я? — спросил Шумов.

Чернобородый, в упор смотря на инженера, ответил:

— Березкин нам заявил, что больничными пайками пользовался не он один, а все лица, занимающие ответственные должности на заводе. Он назвал Нечаева, Лаптева и вас.

— Меня?

— Он говорит, что напряженная работа по восстановлению завода падает на вас четверых и это дает вам право получать добавочные пайки... хотя бы за счет больницы.

Лицо Шумова побледнело, с обмякших его губ срывалось:

— Какая гадость!.. Я прошу вас расследовать это дело... Я, Нечаев и механик ничего не знали о больничных пайках...

— Значит, вы утверждаете, что больничными пайками не пользовались?

— Послушайте... Я прошу вас...

— Да вы не волнуйтесь, сегодня на партийном собрании все узнается. От заводоуправления мы вызовем Нечаева. Хорошо, если бы и вы пришли.

— Приду... если не будет хуже... Пять дней...

— Так, — оборвал высокий. — До вечера.

Сухо щелкнул замок портфеля.

Оставшись один, Борис медленно встал с кресла и подошел к кровати. «Березкин сказал, что я брал больничные пайки... Мерзавец!» — Он не успел лечь, в комнату, радостно улыбаясь, вбежала Катя. В одной руке она держала жестяной чайник, в другой — тарелку с двумя ломтями белого хлеба.

— Боря, давай пить чай! С белым хлебом!

— Где ты это взяла? — тихо спросил Борис.

— Иван Иваныч дал. Узнал, что ты встал с постели, и прислал гостинец.

— Гостинец, — так же тихо сказал инженер и вдруг замахал руками, закричал исступленно: — К чорту!.. Неси обратно!.. Швырни ему этот хлеб... Я сам отнесу... Дай сюда!

Катя испуганно отбежала к двери. Она видела, как Борис неловко согнул колени и ткнулся на ковер. Пытаясь встать, он упирался руками в пол и бессильно падал. Ненавидящим взглядом смотря на жену, с трудом выталкивал изо рта шершавые обрывки фраз:

— Сейчас же обратно... этот хлеб!.. Неси!.. Слышишь!..

11.

С юга подул теплый ветер, нагнал дождевые сизые тучи. Снег растаял, опять зачернела земля, окуталась дымными туманами; березовые перелески набухли сыростью. А потом ветер разметал тучи, и на голубом небе по-весеннему светило солнце, насыщая теплом поля.

По грязной проселочной дороге медленно шла Маня Петрова. Она бережно прижимала к груди закутанного в байковое одеяло ребенка. Останавливаясь, открывала край одеяльца и ненасытно смотрела в розовое сморщенное личико.

— Спишь, глупый?.. Спишь, несмышленочек?

Ее глаза светились тихой радостью, вокруг губ, не исчезая, порхала еле заметная довольная улыбка. Отдыхая, она садилась на пенек или ствол упавшего дерева, восторженным взглядом скользила по березовой поросли. Осень сорвала с берез листву, медными пятаками, семитками осыпала землю. Затейливой сеткой перепутались ветви деревьев; кое-где, точно пойманная рыба, бились в этой сетке увядшие листья. Над землей голубым шелком туго натянулось небо. Две вороны низко пролетели над лесом, шурша крыльями о голубой шелк. Птицы летели в ту сторону, где за болотами в темном краснолесье лежал оставленный скит. Вспомнились холодный вечер, тяжелые роды в хлеву. Улыбка стерлась с лица девушки, сурово нахмурились брови, и неподвижно устремленный взгляд видел не веселую поросль березняка, а дремотный ладанный скит...

В маленькой келье суетливо двигается мать Таисия, наливает в таз горячую воду, куда-то исчезает с большим медным кувшином и снова появляется. На ее плече перекинуто полотенце, его край от быстрых движений скитницы колеблется, и кажется, что на спине Таисии выросло белое крыло; оно трепещет, пытается упруго вытянуться и снова бессильно падает на черную одежду. На табуретке, освещенная красным светом лампадки, сидит игуменья. Толстое ее лицо размякло, похоже на пузырь, налитый розовой влагой. В руках игуменьи — лестовка; шепча неслышные молитвы, она перебирает четки привычными движениями пальцев. Открыв глаза, Маня видит, как в дверь входит незнакомая старуха. Она и мать Таисия говорят шопотом, двигаются неслышно, только шелестят их одежды. Скитницы напоминают девушке больших черных птиц; птицы чем-то напуганы, мечутся в трепетном розовом свете, а улететь из кельи не могут. Опять устало падают веки, и Маня с ужасающей ясностью видит себя на полу грязного хлева. Сизый прямоугольник двери дышит холодом, где-то жалобно кричат овцы. Девушка ожидает: вот-вот боли начнут резать ее живот. Она старается предугадать их, облегчить напряжением мускулов и воли. Распахнувшиеся веки опять открывают маленькую келью и бледное, с дремучими глазами, лицо Таисии.

— Очнулась, — шепчет тетка, наклоняясь над кроватью. — Ну-ка, господи благослови...

Внезапно сознание девушки пронизывает мысль: ребенок! Маня порывисто приподнимает голову, силится встать и, не спуская взгляда с дремучих глаз Таисии, спрашивает:

— Где она?

— Жив, жив... Слышишь, орет.

И только сейчас девушка слышит за тонкой перегородкой плач ребенка.

— Девочка?

— Мальчик. Вон орет-то как... Ну, ну, ложись...

— Принеси... Принесите его.

Старуха, недовольно ворча, ставит на табуретку таз и уходит. Маня жадно смотрит на дверь и не замечает, как по ее щекам бегут крупные слезы...

Ребенок заплакал, и опять Маня видит перед собой затейливую сетку березовых ветвей, голубое небо и грязную, с колеями, наполненными водой, дорогу. Тихонько покачивая сына, девушка идет дальше. Впереди расстилается болото, покрытое кочками и кустами осинника. Светлые лужицы осколками стекла блестят на грязножелтой земле. Под ногами хлюпает накатник гати, булькает и чмокает между бревен вода. Вот пройти эту гать и выйдешь на узкоколейку, а там — всего четыре версты до завода. Вспоминаются высокие корпуса, шумная казарма, веселый живописный отдел. Сейчас на заводе пустынно и глухо, пожар горячей лапой придавил мастерские, остановил биение их жизни. Но Маню не пугает будущее: в родной казарме легче жить, чем в скиту. Осторожно шагая по гати, девушка вспоминает вчерашний вечер, темное крылечко кельи и на нем грузную фигуру игуменьи. За высокой крышей моленной, за синими пиками елей желтеет засыпающее небо. Серые тени густым пеплом запорошили двор; когда налетает ветерок, кажется: тени скользят по земле и прячутся в темную пасть сарая. Игуменья шелестит неживыми словами, они не доходят к сердцу, вместе с тенями растекаются по двору, уносятся ветром.

— Суета мирская тебя обуяла. Не видишь ты, что идешь к бездне греха, душу свою погубить хочешь. Оставайся у нас, в молитвах успокоишь смятение, позабудешь греховную жизнь.

Маня стоит, опустив голову, думает:

«Ну, зачем она говорит это, все равно не останусь в скиту... И не о душе моей заботится игуменья, — а нужна ей молодая бесплатная работница».

Боится обидеть скитницу, говорит смиренно:

— Не могу я остаться, матушка, привыкла к заводу, трудно мне здесь будет. Не выдержу.

— Выдержишь, постом и молитвой смиришь дух свой.

— Нет, матушка, не уговаривайте, — все равно не останусь. Спасибо вам за вашу ласку.

Мать Измарагда грузно сходит со ступеней, злобно бросает:

— Наблудила, а грехи в скит хоронить... Нечестивица... Чтобы завтра же духу твоего здесь не было!

Ночью девушка плакала в келье, а утром простилась с теткой и вышла за ворота скита. В моленной, в утренних молитвах рыдали голоса скитниц, а впереди успокаивающе шумели сосны...

Гать круто повернула влево, вышла на узкоколейку. Справа сухой щетиной стояли заросли камыша, за ними над туманно-синей полосой

хвойного леса маячила высокая заводская труба. Девушка радостно улыбнулась родному и любимому, что лежало за лесом. Она откинула край одеяльца и, приподняв ребенка, зашептала:

— Смотри, глупый... Смотри, несмышленочек... Во-он наш завод. Видишь?..

12.

Быстро разнесся в поселке слух: Березкина смещают с должности председателя совета рабочих депутатов. Два дня работала на заводе приехавшая из уезда комиссия, собирались собрания партийной ячейки, потом совета, на котором вместо Березкина был избран председателем горновщик Никитин. Был он высок, черен, с медным лицом, будто пламя горнов обуглило и закалило его своим жаром. Никитин один из первых на заводе вступил в партию, на собраниях говорил он немного, но твердые, как камни, слова его всегда достигали цели. Был он спокоен, никогда не волновался, двигался неповоротливо, но в каждом его движении и в каждом слове чувствовалась несокрушимая сила. Рабочие были довольны избранием его в председатели совета, говорили:

— Совсем другой коленкор: Березкин блохой скачет, а толку мало, а этот ровно медведь: уж ежели что надо сделать, — напрет и сделает.

— Твердый.

Над табельщиком зло посмеивались:

— Кончилось твое царствование!

— Думал: выше тебя на свете нет, — ан нашлись, спихнули!

Больше всех злорадствовал Дудкин. Встречая Березкина, он быстро снимал фуражку и, держа ее на отлете, говорил:

— Начальству почтение, — шестнадцать с кисточкой!.. Я к вашей милости: нельзя ли мне из больничного пайка уделить фунта два маслица?

Табельщик, криво усмехаясь, торопился уйти, но Ефим загораживал дорогу и, поддерживаемый хихиканьем баб, продолжал:

— Не торопись, ваше степенство, поговори с рабочим человеком, не гнушайся... Мы люди маленькие, мы и паек-то получаем по четверти фунта на душу, — где нам с вами равняться.

И вдруг, багровея, начинал похабно и громко ругаться:

— Сволочь ты, сволочь... Своих грабить, больных объедать!.. Эх ты, мразь! Вот стукну тебя по чердаку — только мокро останется! Эх, мать твою!.. Уйди с глаз моих, смотреть на тебя противно!.. Брысь!

Березкин трусливо, бочком, обходил ожигальщика и прежней развинченной походкой шмыгал за угол или торопливо переходил на противоположную сторону улицы.

Недолго пробыл он на заводе, уехал неизвестно куда. Некоторые предполагали:

— На принудительные работы назначили.

Другие заботы вытеснили у рабочих нехорошую память о нем. Поселок нетерпеливо дожидался известий от механика, уехавшего за аппаратурой для машинного отдела.

Инженер Шумов приводил в порядок мастерские: вместе со слесарями проверял точильные машинки, глиномялки, с горновщиками осматривал горны. В пустых утробах горнов голоса раздавались глухо, как в огромных каменных бутылях. Стены горнов не полыхали привычным жаром; холодные и мертвые, похожи были они на стены склепа.

Нечаев, ведающий хозяйством завода, обегал склады, проверяя запасы сырья и топлива.

Вечерами они встречались в кабинете заводоуправления, писали заказы и просьбы в московское правление, губпродком, в уездный совет рабочих депутатов. Покончив с делами, молча сидели, думая каждый свое.

Борис не сомневался в том, что через месяц завод пойдет. Его мысли уносились дальше, в них опять настойчиво бились идеи химика Беренса. Павел, лениво дымя цыгаркой, хмурил брови. После суматошного дня, наполненного беготней и бодростью, он чувствовал необъяснимую тревогу. Приходили мысли:

«А вдруг Алексей Кирпичев ошибся: какие-то иные барабаны и части машин он принял за необходимую для нашего завода аппаратуру? Что же тогда будет? Ведь это как обухом ударит рабочих... И опять: злоба, ненависть, недоверие к новой власти».

Он не говорил о своих сомнениях Борису, видя, как горячо взялся Шумов за работу, — не хотел его тревожить.

На девятый день после отъезда механика пришла телеграмма: «Все необходимое нам имеется. Немедленно отправляю».

Вечерами Павел приходил в казарменную кухню, где попрежнему собирались рабочие. Он садился на кучку торфа и слушал, о чем они говорят. Больше всего говорили о заводе и о гражданской войне. Приехал с фронта Петька Рушнов. Он похудел, загорел, в его лице и серых, всегда немного прищуренных, глазах было что-то новое. Он часто сдвигал брови, сжимал тонкие губы, будто сердился. Он говорил о корниловщине, о поражениях генерала Краснова, и от него впервые услышали рабочие о Колчаке. Рассказывая о победах Красной армии, Петька добавлял:

— Не думайте, товарищи, что уж очень все хорошо у нас. Много еще придется горя хлебнуть: со всех сторон на нас навалились, кольцом захлестнули. Прорвем это кольцо — хорошо, закапканят нас — ну тогда держись: так согнут, что не распрямишься.

Дудкин ехидно спрашивал:

— А как, Петя, думаешь: победим ай нет?

Рушнов, щуря глаза, смотрел на ожигальщика:

— Что же ты меня спрашиваешь? Ты себя спроси. Если веришь в победу — победишь, не веришь — подставляй шею под хомут.

— Так, так, — кивал головой Ефим, — понимаю... Только веры-то у меня што-й-то маловато. Вот ты говоришь: и англичане, и колчаки и японцы лезут на нас... Где уж тут!..

Под сводчатым потолком тускло светилась электрическая лампочка, в углах кухни застыли тени. Поблескивали медные краны куба, за решеткой топки жарко горели кирпичи торфа. Изредка истопник распахивал дверцу, швыряя в нее торф, красные отсветы пламени падали на согнутые спины рабочих.

Нечаев всегда сидел в тени за кубом, отсюда лучше было наблюдать и слушать. Слушая рассказы Петьки, он видел огромное поле, изрытое окопами. Над полем плывут дни и ночи, раскатами грома катятся выстрелы орудий, швейными машинками стрекочут пулеметы. Ночами и днями, невидимая, но всеми ощутимая, гуляет в поле смерть.

— Вы сидите здесь и не знаете, как умирают там люди, — неторопливо и негромко говорил Рушнов, и в тишине отчетливо слышалось каждое его слово. — И я не знал, пока не увидал, не почувствовал. Подумайте, за что воюем-то: не за «веру, царя и отечество», а за самих себя, за волю нашу.

Под тихие шелесты разговоров Павел вспоминал прошлое. Его губы трогала горькая усмешка, когда он думал о Кате. Такой далекой казалась ему его любовь к ней. И разве можно сейчас мечтать о личном счастьи, разве можно спокойно жить, когда на далеких окраинах, защищая революцию, умирают люди? И разве не долг каждого честного рабочего пойти на смену погибшим?

С каждым днем эти мысли плотнее ложились на сердце, с каждым днем тверже становилось решение итти на фронт.

13.

Похудевший, грязный, в поддевке солдатского сукна, грузно топая яволочными сапогами, вошел механик в кабинет заводоуправления.

— Приехал! — радостно воскликнул Нечаев.

— Наконец-то, — улыбнулся Борис, пожимая руку Лаптева. — Ну, как дела, рассказывайте.

Владимир Николаевич шумно придвинул к столу кресло и, расстегивая крючки поддевки, ответил:

— Привез. Посылайте лошадей на станцию. Вот накладные. Пусть по ним хорошенько проверят имущество... А я пойду спать. Чорт знает, сколько ночей не спал. Вы тут, наверное, ругаете меня на чем свет стоит: уехал и пропал... С имуществом двигался. Толкал. Вагоны с продовольствием, воинские прицепляют к составам в первую очередь, а наши суют на запасные пути. Если бы сам не ехал с ними, — и сейчас где-нибудь болтались бы. Ну, пойду. Я ведь прямо со станции, пешком.

Спустя полчаса шесть подвод выехали на станцию, а через час весь поселок знал: барабаны пришли. Рабочие толпились у заводских ворот,

уходили на лесную дорогу встречать лошадей. В толпе сновал Ефим Дудкин. Он щурил свой глаз, теребил редкую бороденку, без причины снимал и надевал фуражку.

— Что, Ефим, не по-твоему выходит? — толкали его товарищи.

Дудкин растерянно улыбался:

— Чем чорт не шутит, когда поп спит!.. Выходит дело, и впрямь завод пойдет?!

— А помнишь, что говорил?

— Што говорил? Власть ругал. Это к делу не касаемо. Ругал и буду ругать. От новых властей хорошего я пока еще мало видал.

— Поживешь — увидишь.

— А увижу — по-другому заговорю.

На крыльце казармы, тепло закутанный в полушубок и шарф, сидел Терентий Силин. Не отрывая глаз от дороги, ждал, когда покажутся из-за поворота лошади. К нему часто подходили рабочие.

— Ну, вот и дождался, Терентий Петрович, опять работать будешь.

В полдень из леса прибежали мальчишки.

— Едут! Везут!

У заводских ворот скоплялась большая, возбужденно гудевшая толпа. Пришли инженер Шумов и Павел Нечаев. Их встретили молчаливыми поклонами, перед ними поспешно расступались. Из-за поворота, толкаясь и крича, высыпала стайка мальчишек, за ними, тяжело ступая мохнатыми у копыт ногами, широкогрудые заводские першероны везли полки, на которых лежали опутанные веревками барабаны. Рядом, покрикивая на лошадей, шагал кучер Фрол. У ворот подводы остановились. Толпа плотным кольцом захлестнула лошадей. Старая работница протискалась сквозь людскую гущу, пощупала холодное железо барабана и перекрестилась.

— Приложилась, бабушка! — крикнул кто-то задорно и молодо, и вокруг засмеялись.

Старуха не ответила, по дряблым ее щекам медленно текли слезы.

— Трогай! — сказал Павел, и толпа расступилась. Фрол задергал вожжами, закричал, подбадривая лошадей:

— Пошел! Но, пошел!

Рабочие бросились помогать лошадям. Налегая плечами, упираясь в барабаны руками, с красными от натуги лицами, хрипели:

— Пошел!.. Но, пошел!

Громыхнули барабаны, и лошади, оседая на задние ноги, повезли подводы на завод.

Терентий Силин, стоя на крыльце казармы, долго смотрел, как за решетчатыми воротами завода плыли, покачиваясь, огромные железные бочки.

14.

В слесарных мастерских застучали молотки, задвигались строгальные и токарные станки, и снова, почувствовав себя в знакомом кипении работы, механик бегал от станка к станку, проверял, указывал, кричал на рабочих. Окрики Владимира Николаевича не обижали, — мастеровые видели, что он полон желания поскорее сдать полученные заказы, приблизить день пуска завода.

— Загорелся старик!

— Пущай потешится, он свое дело твердо знает.

В машинном отделе устанавливали барабаны, собирали пресса. В машинный отдел часто приходили Нечаев и Шумов. Они видели: в строгом порядке располагалась аппаратура, вытесняя неуютную пустоту помещения, и все же иногда нетерпеливо спрашивали механика:

— Скоро?

Владимир Николаевич на мгновение отрывался от работы, смотрел далеким взглядом, потом сердито отвечал:

— Как сказал, так и будет готово.

И, отмахиваясь зажатым в кулаке складным метром, спешил к прессам, лез на помост к барабанам.

За складами материалов задымились похожие на огромные бутыли печи; в них обжигали шпат и кварц. Раскаленные камни быстро выгребали из печей на холодную землю, слегка обрызгивали водой, отчего куски шпата и кварца трескались и легче размалывались под бегунами.

Спустя три недели после получения оборудования машинный отдел был готов к работе. В тот день, когда загрохотали бегуны и барабаны, в восемь утра над рабочим поселком мощно проревел гудок. Он кричал необычно долго, будто радуясь предстоящей работе. На улицах и в окнах казармы сотни людей смотрели, как над высокой крышей котельной белоснежным крылом сказочной птицы трепетало облачко пара.

В машинном отделе у недвижимо застывших бегунов стояли Нечаев, Шумов и механик. Рабочие ждали с широкими железными лопатами в руках.

— Пускаем? — спросил Лаптев.

Шумов оглядел толпу рабочих, среди них не было его отца. Губы Бориса дрогнули, и, подавляя волнение, он громко сказал:

— Давай!

Владимир Николаевич махнул рукой слесарю, и тот нажал на рукоятку, переводя шкивы с холостого на рабочий ход. Огромные жернова дрогнули и сначала медленно, потом быстрей и быстрей покатились по лежню. Павел взял лопату и первый бросил на лежень желтые, словно сахар, подмоченный чаем, куски шпата. Бегуны с хрустом раздавили шпат. Замелькали лопаты и жернова, точно оголодавшие чудовища, глухо ворча, дробили твердые камни.

К концу дня привычный грохот наполнял машинный отдел. Размолотые под бегунами шпат и кварц просеивали на ситах, ссыпали в барабаны, и железные бочки, выложенные внутри гранитом, быстро начинали вращаться. Фарфоровые шары, стуча и катаясь в барабанах, растирали шпат и кварц в мельчайшую пыль. Из барабанов массу в виде густых сливок наливали в мешалки, прибавляя каолина, а из мешалок через особые сита жижа стекала в бетонные подвалы. Насосы накачивали массу в фильтр-пресса, похожие на большие гармонии, меха которых состояли из дубовых рам, проложенных толстым полотном. Пресса выжимали воду, а твердые частицы массы налипали на полотна пластами в дюйм толщиной. Блестящие, выложенные листовой медью, форовские мялки месили пласты, превращая их в тесто.

В этот день поздно вечером в кабинете заводоуправления Нечаев сказал Шумову о своем решении итти на фронт. Инженер, недоумевая, поднял брови и, смотря в лицо Павла, спросил:

— Значит — бросаешь завод?

— Завод обойдется и без меня, а вот фронт требует людей. Большевики лучших своих товарищей посылают в окопы. Добровольцем идет Воробьев, а у него двое детей...

Борис молчал, внимательно рассматривая чернильные пятна на зеленом сукне стола, потом тихо заговорил:

— Послушай, Павел: мы знаем друг друга с детства, мы когда-то были очень дружны, и я прошу тебя честно сказать: может быть, ты уходишь потому, что тебе трудно работать со мной?.. Ты любил Катю, а я...

Нечаев поспешно перебил:

— Не то, совсем не то... Нечестно сидеть дома когда другие идут умирать... И ты не отговаривай меня — не поможет. — Улыбнулся незнакомой улыбкой, протянул руку. — Прощай. Пойду к матери... Она еще не знает.

Борис неподвижно и долго сидел в кресле; на плечах тяжело лежала усталость. Потом, упираясь руками в стол, он поднялся и подошел к окну. Над заводом и поселком стыла зимняя ночь. Под снеговыми шапками спали заводские корпуса, над ними в морозном небе мерцали звезды. Инженер смотрел на трехэтажные громады зданий и думал о неведомых грядущих днях. Что принесут они заводу?

15.

Вечером того дня, когда заработали точильные мастерские Нечаев пришел к Терентию Силину. В каморке было темно и душно.

— Петрович! — окликнул Павел и, не получив ответа, нашарил на стене выключатель. Под потолком бледным светом вспыхнула лампочка. Горбун сидел на кровати, прислонясь спиной к стене. Несколько мгновений далеким и тусклым взглядом смотрел он на Павла, потом глаза его посветлели.

— А-а-а, Паша, навестить пришел?

— Смотри-ка, что я тебе принес. — Нечаев подошел к постели, держа в обеих руках маленькую, запачканную глиной скамеечку.

Терентий протянул руку и, взяв скамеечку, положил ее на колени. Он гладил ладонями пыльное дерево, кивал головой, будто встретился с давнишним и преданным другом.

— Проходил я точильной, вижу твоя скамеечка стоит... Дай, думаю тебе отнесу.

— Спасибо... Вот за это спасибо!.. Сколько лет я на ней стоял!.. Сроднились.

По серым щекам больного скользнули крупные слезы и упали на скамеечку. Терентий растер их пальцами, хотел улыбнуться, но губы дрожали, не складывались в улыбку.

«Сколько воспоминаний связано у него с этой скамейкой», — подумал Павел, и его сердце наполнилось жалостью к умирающему точильщику. Хотелось сказать что-то хорошее и значительное, и, наклонившись над кроватью, Павел шепнул:

— Нынче точильная пошла... Как мы с тобой думали так и вышло: поднялся завод.

Горбун не ответил, его ладони продолжали любовно гладить дерево.

Нечаев сказал громче:

— А я завтра на фронт ухожу... На войну.

— Што? — поднял голову Терентий.

— На фронт иду... Завод-то пустили — а ну как он врагам достанется, — защищать надо.

— Так, так... Пустили, говоришь, завод...

Было заметно, что Терентий думает о чем-то своем.

— Может, больше не увидимся... Проститься пришел.

Павел обеими руками взял дряблую и влажную руку Силина, осторожно пожал ее.

— Прощай, Терентий Петрович!

— Прощай... Ты заходи когда...

У двери Павел оглянулся. Горбун, положив руки на скамеечку, тихо шевелил тонкими пальцами. Его глаза были закрыты, казалось: он спал.

Перед отъездом с завода Павлу хотелось проститься с Катей, но он долго не решался пойти к ней. Память настойчиво выдвигала тот яркий солнечный день, когда у заводских ворот Катя подошла к нему, заговорила, а он бросил в лицо ей похабное ругательство. Это воспоминание мучило. И была еще боязнь, что Шумова не примет его.

Выходя из каморки Силина, Павел решил: пойду. Он быстро дошел до конторы и, поднявшись на второй этаж, постучал в дверь бывшей гостиной фабриканта. Дверь открыла Катя и остановилась, недоумевая, смотря на Павла. Он заметил мелькнувший в ее глазах испуг. Несколько секунд она молча смотрела, потом отступила в комнату.

— Входи!

На ней были золотисто-желтый капот и кружевной чепчик, ее лицо показалось странно чужим. Нечаев искал в нем знакомые милые черты и не находил.

— Входи! — повторила Катя.

Осторожно ступая грубыми своими сапогами на ковер, Павел подошел к кушетке. Широкая кровать, покрытая голубым одеялом, подушки в кружевных накидках смутили его. Он старался не смотреть на них, но его взгляд, бесцельно скользящий по стенам, помимо воли падал на постель, напоминая прошлое, рождая беспокойные мысли.

Катя села в кресло у стола, спросила:

— Уходишь?

— Ухожу. Пришел проститься.

— Мне Борис говорил. Очень жалеет, что ты покидаешь завод.

Нечаев не ответил. В наступившем неловком молчании он смотрел на Катю. Наклонив голову, она расправляла на коленях золотистую ткань халатика, и Павел заметил, как беспокойно двигались и дрожали ее пальцы.

— Пришел проститься, — прервал тяжелое молчание. — Не знаю: придется ли когда-нибудь встретиться.

— Спасибо, что не забыл. — И вдруг, подавшись вперед, горячо зашептала: — Паша, милый, не сердись, не обижайся... Меня все время мучат мысли, что я обманула тебя, оскорбила...

— Ну, что об этом говорить... Что случилось, — того не вернешь... И ты прости... Помнишь: я обругал тебя... Не знаю, как это сорвалось...

И опять сидели молча, не находя нужных слов.

— Борис-то на заводе?

— На заводе.

— Ну, я пошел... Не поминай лихом...

Нечаев поднялся с кушетки, протянул руку. Катя молча стояла перед ним, не подавая руки, потом порывисто охватила руками его шею и крепко поцеловала в губы.

— Прощай!

Утром мать проводила Павла за рабочий поселок. У березового леска простилась. Слабыми старческими руками она старалась возможно крепче обнять сына, целовала его щеки частыми поцелуями, шептала:

— Пиши, не забывай... Буду ждать от тебя весточки... Родимый ты мой...

Павел долго не мог оторвать от своей шеи ее рук. Твердый и горький комок застрял в его горле, глаза заволоклись теплой влагой слез.

— Пусти! Ну, что ты, глупая...

Наконец мать разжала руки, перекрестила сына.

— Господь с тобой, иди... Молиться буду... Материнская молитва со дна моря достанет.

Нечаев быстро зашагал по дороге. У поворота оглянулся, увидал над молодым березовым леском красные громады корпусов, высокие трубы и на проселке у белого ствола березки — маленькую серую фигуру матери.

16.

— Сегодня зажгут горны!

— Вечером зажгут горны!

Об этом говорили на улицах, в казармах, общежитиях. Тысячи глаз смотрели в этот день на холодные серые трубы.

На втором этаже горнового отдела подавальщики заставляли для утильного обжига колпаки горнов. В круглые из шамотной глины бандуры ставили фарфор, внутри горна бандуры вырастали высокими колоннами. От адского жара, годами раскаляющего горн, стены его, сложенные из огнеупорного кирпича, оплавились, казались выложенными серебром и чернью. Вверху колпака было круглое отверстие, в которое при обжиге вырывалось пламя; сейчас в это отверстие голубым глазом смотрело небо. Четыре подавальщика ставили бандуры под самый свод колпака. Они стояли на высоких лестницах и часто, наклоняясь, кричали вниз:

— Ношу!

Снизу подавали им по две бандуры.

За ставкой горна смотрел председатель совета Никитин. Старый и опытный горновщик, он пришел в отдел и сказал рабочим:

— Ну, товарищи, в этот день опять с вами поработаю, по-старому.

Инженер Шумов, увидав у горнов Никитина, улыбнулся:

— Не вытерпели?

— Не вытерпел... Сам хочу первые горны зажечь.

— Когда думаете?

— Ставку скоро закончим... Часов в десять вечера можно зажигать.

Когда каменные трубы печей были заполнены, пришли каменщики и начали наглухо закладывать кирпичами и замазывать глиной ниши горнов.

Полуподвальный этаж корпуса походил на запутанные галлереи каменноугольной шахты. Он весь был заполнен торфом, аккуратно сложенным в маленькие штабели и наваленным большими кучами. Узкие проходы между штабелей и куч вели к топкам горнов. Кое-где под потолком, затуманенные рыжей торфяной пылью, мутнокрасными одуванчиками светились электрические лампочки.

Пол-десятого вечера у топок засуетились ожигальщики. Они наложили в топки щепы, приготовили свой инструмент: лопату, кочергу, длинный крючок для выгребания золы и шлака и тяжелый толстый лом. Без четверти десять пришел Никитин. Он осмотрел топки, взял кирпич торфа, повертел его в руках.

— Хороший торф, — шлаку будет много. Придется поработать.

Никитин стоял под электрической лампочкой, ярко освещались его засаленный картуз, нижняя часть лица и широкие плечи. От козырька на глаза падала черная тень. Бросив кирпич, горновщик сдвинул на затылок фуражку и строго сказал:

— Зажигай!

Ожигальщики подожгли щепу, темные жерла топок осветились трепещущим красным светом.

Ефим Дудкин, широкой улыбкой раздвинув губы, подошел к председателю совета.

— Зажгли горны-то... Вот чертовщина!..

— А ты все еще не веришь?

— Как не верить — своими руками зажигал... Только чудно мне как-то... Такое время пришло, — не могу я в нем разобраться... Пойдем-ка, взглянем на трубы.

Они вышли из корпуса. Была морозная ночь. Над крышей горнового отдела из двух труб плыл, затуманивая звезды, легкий беловатый дымок. Никитин улыбнулся, подумав, что сейчас в поселке сотни людей смотрят на закурившиеся трубы; его сердце наполнилось волнующей радостью, захотелось поскорее раздуть над корпусом буйное пламя, осветить им темный поселок. Он быстро вошел в полуподвал и, осмотрев топки, приказал:

— Сравняем!

Рабочие кочергами разровняли дрова, подкинули топлива, стараясь сделать так, чтобы во всех топках пламя было равномерным.

— Кладем! — крикнул Никитин, и ожигальщики начали бросать в топки торф.

Пламя жадно пожирало топливо, через каждые пятнадцать минут рабочие подбрасывали торф в пылающие пасти топок. На колосниковых решетках огромными кусками налип шлак. Он мешал доступу воздуха. Ожигальщики взяли ломы и, нагнувшись, сбивали ими шлак. Их лица взмокли, пот слепил глаза. Ефим Дудкин, ощерив зубы, неистово бил ломом. Из его полуоткрытого рта вырывались глухие звуки, напоминающие рычание зверя:

— Ы-ых!.. Ры-ых!..

Вдруг он выронил лом и, сбросив на пол задымившуюся рукавицу, придавил ее подошвой сапога. Несколько секунд, как запаленная лошадь, косил он глазом, облизывая обожженные пальцы, потом опять надел рукавицу и нагнулся над топкой...

В эту ночь инженер Шумов сидел в кабинете заводоуправления за столом, заваленным чертежами и бумагами. Бледная улыбка трогала его губы...

«Завод пошел.. Но буйным половодьем кипит в стране революция, бьются в этом половодье города и деревни, ищут свободного русла, чтобы бодро плыть к новой жизни .. А на далеких окраинах собираются грозо-

вые тучи, полыхает гражданская война... Кто знает, сколько лишений и борьбы предстоит впереди?..»

На смену тревожным этим мыслям приходили другие и, словно лучами прожекторов, рассекали тьму будущего. Инженер видел: в лесах и болотах широко раскинулся город. И новая в новом этом городе цветет жизнь. На заводе люди работают не по навыкам, приобретенным десятилетиями, а по принципам разделения труда, машинизации производства. Точильный отдел не убивает больше людей, — в нем сказочные литейные машины с необычайной быстротой вырабатывают фарфоровые изделия...

Около полуночи Шумов пошел домой. В полутемном коридоре от стены отделилась серая фигура, робко приблизилась.

— Здравствуйте, Борис Иванович... К вашей милости. Не осмелился войти в кабинет, думал: вы не один-с.

По голосу узнал Березкина.

— Здравствуйте. Опять на завод приехали?

— Приехал... Пить-есть надо, — без работы болтаюсь... Не откажите взять в контору.

Он стоял у перил лестницы, комкая в пальцах фуражку, настороженно и преданно смотрел в глаза инженера.

— Трудно вам будет, — помолчав, ответил Шумов, — не любят вас рабочие.

— Как-нибудь проживу, потихоньку-с, незаметно... Никому на глаза не буду показываться.

— Хорошо, зайдите завтра утром в контору.

— Премного благодарен, не забуду помощи вашей...

Он долго кланялся, обеими руками прижимая к груди фуражку, приторно благодарил.

17.

Вечером следующего дня, когда из раскаленных недр горнов вырывалось буйное пламя, — умер Терентий Силин. Днем он лежал в полузабытьи, сухой и серый, как ольховый лист, опаленный осенью. Несколько раз в каморку приходила Марфа Нечаева. Наклоняясь над постелью, говорила тихо и ласково:

— Ну, как дела-то, Петрович?.. Может, поесть хочешь? Я тебе пшенной кашки сварила. Ты не сумлевайся: фунтиков пять у меня есть запасец.

Горбун молча влажными глазами смотрел на старуху.

— Поешь. Мне Паша наказывал смотреть за тобой.

Сдерживая хриплое дыхание, Терентий шептал:

— Не хочу... Спасибо.

Когда Марфа уходила, Силин вялыми пальцами хватался за железные прутья кровати, вытягивая шею, смотрел в окно на холодное полотнище неба. Знакомый ровный гул казармы падал на него невидимыми

хлопьями, затуманивая сознание. Иногда резкий мальчишеский крик в коридоре будил Терентия, он устало приподнимал веки, смотрел на дверь и опять закрывал глаза.

Проснулся он вечером и на темной стене над кроватью увидал ярко-алый с темными решетками прямоугольник окна. Горбун протянул к нему руку, в отсветах пламени рука порозовела, но попрежнему была холодна и бессильна. И вдруг Силину нестерпимо захотелось подойти к окну, взглянуть на завод. Он сбросил одеяло и пытался встать; ноги не выдержали тяжести туловища, и Терентий упал. Широко раскрыв глаза, смотрел на багрово-дымное за окном небо. Каморка, будто коробочка, привязанная в жуткой пустоте на тонкую нитку, тихо качалась, вызывая приступы тошноты и неприятный вкус ржавчины во рту. Терентий шевельнул губами, хотел сплюнуть клокочущую в горле мокроту, но не было сил разжать крепко стиснутые зубы. Сердце медленнее и тише било в холодную доску пола...

За стеной в каморке Петровых Маня, тихо покачивая ребенка, шептала:

— Смотри, Алешенька, смотри, милый: горят горны... Скоро твоя мамка будет работать... Вырастешь — и ты на завод пойдешь...

Сзади неслышно подошла мать, укоризне но покачала головой:

— Эх, Манька, наделала ты делов!.. Как жить-то будешь с ним?

— Проживу... Неужто я его вырастить не смогу?

Крепко прижала к груди сына, и тот громко заплакал.

— Вот дура, — сердито зашипела Анисья, — с детьми обращаться не умеешь. Дай сюда, непутевая!..

Маня подошла к окну и, расстегнув кофту, начала кормить грудью ребенка. За окном угасал морозный вечер. На западе, под синью болот, в прорезе темных облаков желтела полоска заката, а на востоке красными шапками махали трубы, и алый свет устилал улицы рабочего поселка, горел в окнах казарм, сбегал с крыш золотыми потоками...

Моя жизнь.

С. Подьячев.

(Продолжение.)

Итак я остался на житье в скиту. Поселился у отца Савелия в его сторожке. Одели меня в длиннополый, засаленный, теплый, гадко пахнувший подрясник, подпоясали ремнем, на голову дали какую-то ущастую кепку, на ноги — подщитые валенки, и стал я — не я, а «брат Семен», «раб божий». Сначала было неловко, совестно и смещно на самого себя, а потом, мало-по-малу, стал привыкать к порядкам и приглядываться к людям, с которыми прищлось жить и работать.

Отец Савелий, у которого я поселился, руководил мной, учил меня, няньчился со мной, как хорощая нянька с ребенком. Делал это он, — как я после узнал, понял, — отчасти и по своей природной доброте, а главным образом старался о том, чтобы я полюбил монастырь, монастырскую жизнь, привык к ней и остался бы в монастыре навсегда. В этих хлопотах обо мне он видел для себя душеспасительное перед богом дело, которое обязательно зачтется ему там, где-то в будущей жизни, «на том свете», ради чего он «спасался» здесь в монастыре. Пуще всего он старался приохотить меня к церковной службе, стараясь, чтобы я не пропускал ни утрени, ни обедни, ни вечерни. Сам он, помимо того, что почти никогда не пропускал «службы», подолгу еще молился и утром «воставщи от сна» и вечером — «на сон грядущий».

Спал я в сторожке на голом полу в проходе между печкой и стеной, прикрывшись подрясником. И вот, проснувщись иной раз ночью от укусов клопов, которых в сторожке было великое множество, почти всегда видел одну и ту же картину: в переднем углу, перед досками икон, горит слабым светом лампадка. Отец Савелий в одной длинной, белой рубащке, босой, стоит на коленках на полу, крестится, глядит на иконы, кланяется, стукаясь лбом об пол, и громким щопотом произносит молитвы. Молится он усердно, долго и постоянно заканчивает свои молитвы особой просьбой к святому Роману Сладкопевцу о даровании ему «гласа». Лежищь, бывало, смотрищь на него, слущаешь щопот молитв, слущаещь, как за стеной избенки щумит ветер, как он тоскливо воет на печке в трубе—и невольно как-то, под влиянием всего этого, охватывает душу смертная грусть — тоска.

Помню: раз не спалось мне, и дождавшись, когда он кончил молиться, я спросил у него:

— Отец Савелий, что ты все молишься, молишься, просишь, просишь, а слышит ли бог твои молитвы?

Он рассердился:

— Ах, ты, необузданный глупец! — воскликнул он. — Да разве можно такие слова произносить? Господь-то кто?

— Не знаю.

— Не знаешь, дурак! Господь есть всемогущий, всеведущий, всякой твари содетель и блюститель. Так, как же он не слышит-то?! Подумай-ко хорошенько. Эх, брат Семен, плохо тебе на том свете будет! Ад, геенну для себя такими словами готовишь!

Он верил «в тот свет», в какую-то «загробную жизнь» — безусловно, твердо и неоспоримо. Я завидовал ему и как-то сказал:

— Счастливый ты человек, отец Савелий.

— Это как счастливый, чем?

— Да как же: веришь в тот свет, в загробную жизнь. Здесь, значит, на этом свете, тебе бояться и заботиться нечего. Чем для тебя здесь хуже, тем там лучше.

— Трудно здесь спастись-то. Соблазну много. Нешто так святые-то отцы спасались, как мы, грешные. В пустынях спасались, глад терпели, холод, зной, бичевали сами себя, на съедение гаду давали тело свое, цепи носили, — веришь, на столбах стояли, спасались, в недрах земных! А мы что? Какое наше спасенье! Живем, как у Христа за пазухой, пьем, едим, спим в тепле, в сухоте. Какое это спасенье! Эх, брат Семен, брат Семен, не так надо спасаться!

— А как?

— Думаю, если господь приведет, уйти на старый Афон. Дума моя попасть туда, а там в затвор сяду, обет молчанья на себя возложу. Спасусь, может быть, царство небесное заслужу. — И помолчав, думая что-то, грустно добавил: — Времена теперь не такие, как прежде. Спастись стало много труднее. Прежде гонения на христиан были. Пытали их, мучили за господа Иисуса Христа. Отрекаться заставляли. «Отрекись от Христа», — говорят. — «Ан нет, не отрекусь! Огнем жгите, стрелами, ножами колите, а не отрекусь». — Просто было спастись, венец мученический принять.

— А ты бы, отец, принял, если бы довелось?

— С радостью принял бы. Ты то подумай: перетерпел бы здесь малое время, а зато вечную жизнь наследовал бы у господа в раю.

— А что, как нет рая-то?

— Это кто же тебе сказал? Где вычитал? Сказать-то что хошь можно. Есть и такие, которые говорят: бога нет. Так что же — слушать их? Верить им? «Рече безумец в сердце своем: несть бога». Кто же есть, коли бога нет?

Говорить с ним на эту тему было бесполезно, ибо вера его в бога, в святых, в тот свет, в мощи была, как я уже и упоминал, непоколебима.

— Эх, брат Семен, — говорил он мне, — гляжу я на тебя и вижу, возносишься ты, высокомудрствуешь, а все ведь напрасно, напрасно все! Дела господни неисповедимы, и премудрости его несть числа. «Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслию сердца их, низложи сильные со престол и вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящиеся отпусти тщи». Молись больше, а то — не в осуждение тебе говорю, а любя, жалеючи тебя, — не усерден ты ко храму, ни к молитве. Гордыня в тебе. Дух злобы обуял тебя. Смирись! Без смирения, покорности не спасешься.

Иной раз, обозлясь, я грубо говорил ему:

— Какого ты шута, дурака ломаешь. Какое спасение! Неужели же, думаешь, тебя в рай посадят за то, что ты здесь редьку ешь да лбом пол колотишь, да перед всеми унижаешь себя?!

В таких случаях он испуганно махал на меня руками, точно старался согнать что-то сидевшее на мне, и плачущим голосом не говорил, а взывал:

— Спаси, Христос! Спаси, Христос! Опомнись! Брат Семен, опомнись! Дух злобы обуял тебя. Гони его! Гони его скорей молитвой! Читай: «Помяни, господи, Давида и всю кротость его. Яко клятся господеви, обещаща богу Иаковлю. Се слышахом я во Ефрасе, обретохом я в полях дубравы». Окстись! Окстись скорее! Дунь, плюнь, на врага злобы. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй!

Игумен и братия скита относились к нему, хотя и любовно (он никого не осуждал, все у него были «хорошие люди», все «рабы божьи»), но вместе с тем как-то полупрезрительно, с насмешкой, считая его за дурачка, юродивого. Работы «послушания» он выполнял со всем усердием, не считаясь с тем, какая была работа. Выполнять безропотно, покорно всякое «послушание» он считал за особый подвиг, который так же, как и усердная молитва,— даже еще больше,— поможет «спастись».

Меня он тоже начал приучать к покорству и смирению, но надо сознаться, что, живя здесь, в скиту, покорству и смирению я не особенно-то научился, зато научился,— что со временем принесло мне великую пользу,— работать всякую тяжелую и грязную работу.

Игумен — отец Макарий, этот маленький, тщедушный, злой старикашка — оказался своего рода каким-то Иваном Грозным в своем царстве. От него исходило все. Все приказы, вся скитская жизнь. Потачек в работе не было никому. Помимо работы беспощадно «гонял» в церковь.

В церкви было убого и по обстановке и по службе. Не было никакого «благолепия». Служили какие-то малограмотные чудаки через пень-колоду. Певчие не пели, а орали, стараясь делать это как можно громче. Дьякон с оборванным голосом дико хрипел, как обозлившийся бык, роющий рогами кочку. Богомольцев посторонних почти что не было, ибо скит стоял в стороне и от деревень и от дорог.

Из всех «послушаний», которые я провел, живя в скиту, одним из самых трудных была работа на кирпичном заводе. Началось это дело ранней весной, в марте, когда еще не сошел снег. Пришлось

возить глину, месить ее ногами. Все это с непривычки было трудно и изнурительно.

Но были работы, которые я любил и делал охотно. Из них особенно нравилась мне подвозка зимой из лесу дров. Будили на эту работу,— как, впрочем, и на другие,— «чем свет», когда еще темно. Лошадей запрягали с фонарями. Выезжали подводы три-четыре гуськом, друг за дружкой и ехали до места, не торопясь, не погоняя лошадей, а все больше шажком, или потихоньку трюхали: «трюх, трюх, трюх, трюх!» Пока ехали, начинает светать, мороз кусается щибче, точно злясь, что потревожили светом его покой. В лесу тихо. Спят, нахохлившись, как куры на шестке, хохлатые елки; стоит стеной голая «чапыга» осинника; мертво свесили свои ветки березы, и в каких-то воинственно вызывающих позах стоят там и сям корявые коренастые дубы.

Раньше — еще весной — нарезанные и сложенные в саженки, четверки, восьмушки, дрова осиновые и березовые стоят, покрытые, как белыми шапками, снегом — в сторонке от дороги. К ним надо подъезжать, свернув с дороги по целику. Становишься в санях на ноги, дергаешь вожжей лошадь, чтобы она свернула с дороги в целик, но она не сворачивает, упирается, не хочется ей,— она по опыту знает, что сейчас вот, как только сойдет с дороги, то и увязнет по брюхо в снегу. Но делать нечего — сворачивать надо!

По глубокому снегу прокладываешь след к ближайшей кладке — саженки, четверки, все равно — что ближе. Сам стоишь в санях, в задке их, подскакиваешь для того, чтобы тяжестью своего тела как можно глубже помогать опускаться в снег полозьям саней, «делать дорогу». Наложить дров в сани и завязать веревкой воз — дело сложное, требующее особой сноровки и знания,— иначе по дороге на первом же раскате воз или перекувыркнется, или же начнут сыпаться, падать дрова. Трудно первый раз, по только что проложенному порожняком следу, возвращаться по нем же, выезжать на дорогу с возом. Тут уже приходится помогать лошади, напирая на воз сзади. Выбравшись на дорогу, дашь запыхавшейся лошади, трясущейся от усталости, передохнуть, покуришь — и, тронув лошадь, пойдешь позади воза, покрикивая на лошадь: «Н-но, родной, небось!»

Между тем пока возишься с дровами, накладывая воз, пока завязываешь, выбираешься на дорогу, взойдет уже огромным огненным шаром солнце — и все кругом переменится, сделается веселее, и на душе станет веселее, чувствуешь себя молодым, сильным, хочется жить, радоваться.

А в скиту сложишь дрова на место и иззябший бежишь в сторожку к отцу Савелию греться — пить чай. Хорошо!

Однажды нарядчик поставил меня на «послушание» — резать близ скотного двора в дрова разное старье: негодные старые столбы, полусгнившие доски, старый накат и вообще ненужный хлам. На эту работу кроме меня он нарядил еще и другого, тоже вроде меня недавно поступившего в скит «брата» Михайлу, с которым мне не приходилось ни разу еще раз-

говаривать и который, как и я на него, не обращал на меня внимания. Нарядчик выдал нам поперечную старую пилу, тупую и плохо разведенную, топор, соскальзывающий с топорища, и сказал:

— Нате, рабы божьи, пилюкайте. Струмент — дальше ехать некуда. По вас. По Сеньке — шапка, по дерьму — черепок. Работнички-то вы аховые. По хлебу резчики. По каши пильщики! Дай вам хорошую пилу — живо доканаете, оборвете, а эта таковская — не жалко!

— Сам бы и пилил ей! — сказал брат Михаил.

— А ты, раб божий, не грубиянь, не огрызайся,— сказал нарядчик,— откуда ты такой взялся? Ты делай, что приказано — беспрекословно, с трепетом. Ты кто здесь, а? — задал он вопрос и, не дожидаясь ответа, сам себе ответил на него: — Ты послушник! Понял? Послушник? сиречь все равно как вон топор этот. Работать должен, а говорить не смеешь. Делай молча. Слушай, что старшие скажут. Так-то вот, раб божий! В монастырь попал, должен смириться, слушаться, а не хошь исполнять послушание — с богом за ворота, на все четыре стороны. Таких, как вы, много. Хороших-то нет, а таким-то дерьмом хоть пруд пруди. Беритесь-ка со Христом, приступайте-ка благословясь к делу. Я ужо зайду, проведаю вас, погляжу, много ли наработали.

Он ушел.

— Дьявол! — обозвал его вдогонку брат Михаил и, со злостью бросив под ноги пилу, сел на бревно и стал вертеть курить.— Садись! — сказал он мне.— Успеем наработаться. Работа дураков любит. Чем мы, дураки, больше работаем, тем им доходнее.

— Кому им-то? — спросил я, тоже садясь.

— Что же ты, сейчас родился что ли, не знаешь кому? На кого мы работаем-то? На них работаем. Им, дьяволам, старцам святым, брюхо набиваем.

— А ты здесь зачем? — спросил я.

— А ты зачем? — в свою очередь спросил он и усмехнувшись добавил: — Душу что ли спасаешь? Гы! Если хочешь душу свою спасти здесь, погубишь ее. Зачем я здесь? — продолжал он сердито.— Известно, не от радости попал сюда! Я ведь женатый человек, а здесь вот околачиваюсь, пропадаю.

— Женатый? — переспросил я.

— Женатый, брат, а хуже холостого. Несчастный я человек. Ты что думаешь: может я скоро убийство сделаю, человека убью, ей-богу!

— Полно-ка ты,— сказал я, с удивлением и даже со страхом поглядев на него.

— Ничего не полно, а так точно. Убью, да и все.

— Кого же собираешься убить, за что?

— Отца родного — вот кого! — воскликнул он и злобно перекосил рот.— Вот кого! — повторил он.— Он у меня жену мою взял, спутался с ней, соблазнил ее, живет с ней, а свою жену, мать мою родную, в гроб вогнал, умерла через него. Я на месте жил в Москве, в Охотном мясни-

ком, редко домой когда ездил, по праздникам по большим только, на Пасху, на Рождество. Без меня все сделалось. Узнал я... очумел... не верю... запил! Убить ее хотел, обоих хотел прикончить... Да она не виновна. Убег от греха! Болтаюсь вот где попало, а все туда тянет, домой, а как приду? Придешь — убийство произойдет... Либо я его, либо он меня. Не стерпеть мне. Несчастный я человек. Здесь я вот во втором монастыре живу. Думал: может, мне легче будет в монастыре-то. Думал: люди тут другие, старцы святой жизни, научат, разговорят, помогут,— а тут сволочей-то больше чем в миру! Нагляделся я, узнал, тьфу! Не знаю, брат, что и делать. Заела тоска. Ты то подумай: отец родной накинулся! Отец р-о-о-дной! а! Что делать, что делать — не придумаю, не пригадаю. Здесь жить — тоска заест. Одно остается... бежать, куда глаза глядят. Ей-богу. Побегу, как волк бешеный, хвост поджамщи. Куда-нибудь прибегу, куда-нибудь уткнусь рылом. Берите меня, бейте, волк я...

Но он никуда не убежал, а ранней весной, когда прилетели первые жаворонки, удавился. Нашли его вечером на опушке леса, незадолго до солнечного заката. Висел он на тонкой, глубоко въевшейся в шею веревке на дубовом суку у самой дороги. Вечер был тихий, душистый. Удавленник висел лицом на запад и страшными, выпученными глазами глядел на огромный спускавшийся к закату шар солнца. Посиневший, высунувшийся язык был прикушен зубами. Жидкие, рыжеватые волосы висели длинными сосульками. Пальцы на ногах с грязными ногтями скрючились и уперлись в подошвы.

Тяжело и жутко было глядеть на удавленника, но я помню, что на меня произвело особое жуткое впечатление не само это висевшее с изуродованным лицом тело, а стоявшие тут же внизу под дубом, под болтавшимися голыми ногами, его холодные кожаные, снятые им, очевидно перед самым концом, стоптанные, с короткими голенищами, аккуратно поставленные рядышком, сапожонки...

О происшествии дали знать. Прибыл какой-то фельдшер, еще кто-то, хотели «потрошить», да не стали и, получив «в руку», уехали. А тело завернули в рогожку, свезли в овраг и закопали.

По поводу этого у меня с отцом Савелием был разговор.

— Таких-то бы вот и надо отпевать да молиться за них,— сказал я.— А его, как собаку дохлую, закопали. Не по-христиански это, нехорошо. Какие же вы верующие!

И что же услыхал я! Этот смиренник, этот юродивый налился как-то весь злостью, затопал и закричал на меня:

— Нехристь ты! Поганец! Тьфу! Самоубивцу, сволочь, жалеет! Он что сделал-то, а? Кого он загубил-то? Ду-у-шу он свою загубил, ду-у-шу! А ты... Тьфу! Чорту баран он, чорту баран, туда ему и дорога... Обитель осквернил. Тьфу, тьфу, тьфу!..

Дуб, на котором он повесился, спилили и сожгли.

Пришла весна. Пасха была поздняя, без снегу. Постом вся братия говела. Исповедывались у кривого монаха, отца Ксенофонта, по прозвищу

«Гляделкин». Этот Гляделкин потерял свой глаз, как говорили, в драке в молодости. Помимо кривоты он был глуховат и, невзирая на свой сан, первый на весь скит ругатель-матерщинник. Живя в скиту, я с ним хорошо познакомился, бывал у него в келье, курил вместе табак. Звал он меня не «брат Семен», а «Длинный».

— А,— скажет бывало, — Длинный пришел! Садись, кури! Скоро, небось, убежишь от нас, а?

Жил он в своей келье грязно, и вся она была пропитана какой-то особенной, чисто монастырской, кислой вонью.

— Клопы одолели меня,— говорил он,— никак, понимаешь, не отвяжусь от окаянных! На что уж, кажись, терпелив я, а и то, туды их растуды, навели на грех: матерно ругаюсь.

— Думаешь, отец, поможет это?

— Да как сказать: поможет, не поможет, а все душу отведу.

— Не подобало бы тебе, при твоем сане, ругаться!

— Ну еще что скажешь? Учитель тоже нашелся! Не понимаешь ничего, так и молчи! В моей ругани злобы нет, и господь ее слышит, не осудит меня. Любя ругательные слова произношу! Другой со злобой орет их, а я с любовью, с лаской. Понял, аль нет?

— Понял.

— Ну, то-то. Ты вот хорошо грамотный человек. Книжек, говоришь, много читал, романов и поемов, а путного, небось, не читал, не знаешь. Читал про христа ради юродивого Василия Блаженного?

— Нет!

— То-то вот и есть, а тоже учить суешься. «Я, я! Я читал много». Что святой этот делал, а? Какие примеры показывал? Не знаешь? Он на храмы плевал, а на питейные дома крестился. Это что значит? Как думаешь: зря он это делал?

И видя, что я молчу, восклицает:

— То-то вот и оно-то! Почем ты знаешь, зачем я ругаюсь. Зря, думаешь? Ан нет, не зря, а для спасения души ругаюсь. Тебе, глупцу, не понять этого. Молод, молоко еще на губах не обсохло.

К этому-то вот чудаку и пришлось итти на исповедь. Помню, как он, косясь на меня единственным своим глазом, спрашивал «грехи» и как на вопрос: «Не ел ли Успенским постом селедок?», услыхав мой ответ «грешен», обозлился и зашипел:

— У-у, необузданный! Нашел время жрать! А говорил: «книжки читаю, поемы», а селедки Успенским постом жрешь. Эх ты, чтец, на дуде игрец! Чему тебя родители-то твои учили?..

Когда я перед уходом совсем из скита зашел к нему проститься, он «благословил» меня и сказал:

— С богом! Иди-ка, брат, восвояси, а здесь тебе делать нечего. Видят чудотворцы, что мы не богомольцы. Прощай! А что я ругался — забудь! Помни: той собаки не бойся, которая лает, а той бойся, которая молчком кусает. Прощай!

Между тем пришла настоящая весна. Снегу уже не было и в помине. Распускались тополя, наполняя воздух, особенно по утрам, ароматом. Зацвела черемуха. Загудели пчелы. Начали зацветать яблони, с каждым днем,— а дни стояли тихие, солнечные, теплые,— увеличивая свой цвет, и вот в конце концов весь огромный сад покрылся точно белой снежной шапкой.

— Рай земной! — крестясь с умилением, говорил отец Савелий.— А все господь делает для нас, недостойных. «Буди слава господня вовеки, возвеселится господь о делах своих: призирая на землю и творяй ю трястися: прикасаяйся горам — и дымятся. Воспою господеви в животе моем, пою богу моему дондеже есмь». Где ты другое место такое найдешь, брат Семен, а? Бла-а-годать! Живи, молись, спасайся!..

Начались земляные работы. Я попал копать гряды. Копало нас четверо. Один, как и я, молодой и двое пожилых, суровых с виду молчаливых монаха. Копали они — эти двое — самым усерднейшим образом и «не залоговали», то есть не отдыхали, не курили и нам не давали.

— Поусердней, поусердней, рабы божьи! — покрикивали они на нас.— Бог труды любит. В обитель пришли — трудиться надо, а не кашу есть. Поусердней!

Сначала мы было их слушали, а потом бросили и стали работать по-своему, с продолжительными «залогами», во время которых занимались куреньем, вызывая этим со стороны усердных «отцов» косые взгляды и ворчанье.

Жизнь в скиту в конце концов до того надоела и опротивела мне, что я с отвращением стал ходить даже в трапезную обедать. Чем дольше я жил, наблюдал, тем все больше и больше узнавал гнусную подоплеку монастырской жизни, которая осталась памятна мне на всю жизнь и обнажать которую теперь мне нет охоты. Когда я в одно — как говорится, прекрасное — утро объявил отцу Савелью, что ухожу из скита навсегда, он сделал какие-то большущие круглые совиные глаза и с испугом сказал:

— Что ты, что ты, брат Семен, что ты говоришь?!

— Ухожу, отец!

— Полно. Бес это в тебе заговорил. Он в тебя вселился. Окстись! Куда пойдешь? Ох, пропадешь ты в миру! Сгибнешь! Душу погубишь! Живи! Перетерпи! На старый Афон уйдем вместе. Вот где рай-то! Вот где спасенье-то! Брат Семен, полюбил я тебя. Меня-то как же ты кинешь? Один-то я останусь, а? Подумай-ко!

— Не могу, отец. Надоело, наскучило. Уйду!

Он заплакал.

— Ну бог с тобой, бог с тобой! Брат Семен, не думал я... Думал: поживем здесь, на Афон уйдем. А ты нако — уходить!

На прощание он подарил мне книжку: старый в переплете том, неизвестно какими путями попавший к нему в сторожку,— «Отечественные записки» конца 60-х годов прошлого столетия.

— На-ка тебе,— сказал он, суя мне в руки книжку,— возьми, годится, деньги дадут, продашь дорогой. Больше-то у меня ничего нету, а книжка, видать, хорошая, толстая. Один переплет чего стоит. Кому и не надо, возьмут, с руками оторвут, а тебе годится.

Игумен отец Макарий выдал мне паспорт и сердито сказал:

— Н-на, получи. Отра-а-ботался, за расчетом пришел! Так я и знал, что уйдешь. Зиму, глухое время прожил на готовых харчах, прокормился, а теперь и скит не надобен стал. Эх вы, на-а-род божий!!.

Из скита я попал в Калугу. Здесь в ночлежке, во время сна, вытащили у меня записную книжку, в которой был паспорт. Пошел в участок. Здесь меня задержали, и лететь бы мне на родину этапным порядком, как беспаспортному бродяге, если бы на мое счастье не попался какой-то особенный по тем временам полицейский пристав, который сделал мне допрос и, спасибо ему, сжалился, что ли, он надо мной — не знаю, а только приказал выдать мне «проходное свидетельство», с которым я и отправился пехтурой в Москву.

(Продолжение следует.)

Апостолы гуманности [1].

Андрей Белый.

Профессоров и профессорш, мельтешивших в детстве, — толпа; и я думал всерьоз: мир — профессорский мир; остальные до мира еще не созрели: не люди, а так себе что-то, что тихо ютится, приваливаясь, как жалкий домишка, к украшенному фронтоном фасаду огромного здания; сидим на фронтоне: изваяны прочно; пьем чай себе; матери ходят друг к другу — высоко, высоко: над улицею, над таратаками громких пролеток, с которых проезжие нос задирают почтительно: видеть нас; профессора же, отцы, встав на кафедру, громко читают студентам почтенные лекции. Все — так солидно, прилично.

И — главное: прочно.

Мне кафедра мыслилась каменной, круглой колонной; на ней-то, весь каменный, прочный профессор — читал, юбилеи справлял (то — один, то — другой!), обнародовал книги, и едкие пикули-спичи точил на дурного городового под ним (долго путал я: «пикули», «спич», и слова мне казались синонимами); иногда, обращаясь к измоченному спичами городовому, торжественно требовал он конституции; городовой не любил этих спичей; но — претерпевал: на полезное, доброе, вечное даже рука полицейского не поднималась: профессора ведь не достанешь с фронтона: действительный статский советник он, ленту имеет, звезду, треуголку; за спичи ловились студенты, соскакивающие с фронтона(при отправленьи домой).

Вообразите весь ужас мой, когда грянула кафедра, то есть, колонна; и грянул с ней вместе — не кто-либо, а Ковалевский, Максим, мамин шафер, наш друг; но в то время как кафедра прахом рассыпалась, сам Ковалевский, вполне невредимый, сошел с нее каменным командором и уехал себе за границу—читать свои лекции в Англии, в Швеции, в самом Париже; и все появлялся у нас за столом, наезжая в Москву из Европы: он стал европейцем; и я все, бывало, смотрел на него, как сияет довольством, и думал: «Сидит европеец!»

Наверное, все европейцы носили белейший жилет, как и он; жилет выкруглен толстым его животом; пиджак — синий; сияет довольством, крахмалом, и, черную, выхоленную бородку привздернув, таким добродушнейшим он заливается смехом; и все говорят:

---

[1]) Печатаемый в настоящем номере отрывок является частью главы из новой книги А. Белого «На рубеже двух столетий».

— Добряк, весельчак, остроумец и умница, но — легкомысленный!

О легкомыслии, слабости воли Максима Максимыча слышал еще я до мига, когда его кафедра рухнула; все увлекались курсистки им, силясь на шею повеситься; наш же добряк-весельчак не умел должным образом их отстранять, попадаясь в весьма деликатные положения жизненные; все рассказывалось, как гонялась курсистка одна за Максимом Максимычем; он, без вины виноватый, как заяц испуганный, все убегал от нее, а она угрожала:

— Коли не полюбите, то на глазах застрелюсь.

И дошло до того, что у Иванюковых (так, кажется) прятали Максима Максимовича; даже он раз сидел под диваном; и вылез оттуда весь пыльный; а все оттого, что — добряк; не повинен ни в чем, а вот разве: когда кто на шею повесится, то не умеет как следует он отцепить; в ранних годах Максим Ковалевский всегда представлялся мне: бегством спасающимся от курсистки и — требующим конституции, в прочее время за ростбифом, произносящим свой спич добродушный.

Потом, когда он из Парижа являлся, у нас говорилось:

— Катается в масле, как сыр.

Представлял себе сыр, представлял себе масло, и то, как катаются в масле, и — думал: «Ведь этак промаслишься!»

А мой отец прибавлял снисходительно:

— Да, хорошо ему: барин, богач, человек независимый; живет, где хочет; и книгу, какую захочет, — напишет... А вот каково другим: книги писать и — трудиться...

Я часто такой корректив слышал к характеристикам отцом и друзей и знакомых: Сергей Алексеевич Усов — богатый помещик; Максим Ковалевский — богач; Стороженко — богатый помещик; все — баре, нужды не видавшие с детства, как папа: чего-чего он ни видал — тумаки, угнетенья, нужда и презрительное отношенье богатых к нему, бедняку:

— Повидали б с мое!

Ущемлялося сердце мое, когда папа, весьма уважаемый, распространялся, как плохо его принимали студентом в богатых домах (репетировал он сыновей богачей):

— Знаешь, город пешком пробежишь из холодной конурки; голодный; бывало у Ж*** — именины; обед, полный стол, а тебя — не попросят к столу.

Так, бывало, о Ж*** отзывался он: Ж*** генерал, уваженье огромное силился все ему выказать; и сажали на первое место у Ж*** его:

— Это — теперь: а бывало...

Отец, навидавшийся горя, подчеркивал:

— Да-с, молодой человек, из последнего должен себе сшить: сюртук, фрак, белье; все должно быть хорошее; а сукно — первый сорт; они все, что ты носишь, глазами ощупают; и коль заметят, что твой сюртучок из плохого сукна, то затрут; даже места себе не найдешь подходящего; так рассуждают они: «Сукно плохо, нуждается, — так согласится за пол-

цены сыновей репетировать». А есть фрак у тебя, — так за фрак будут больше платить!..

Сам отец, несмотря на усилия шить из сукна первый сорт себе платье, ходил растеряхою, в шубе разорванной; а сюртучок — как комок; и застегивал он не на ту вовсе пуговицу; а имел шапо-кляк, имел фрак (и фигура ж во фраке?).

У Максима Максимовича фрак, сюртук и визитка — одно загляденье; и — как он их носит! Картинка! И то же: Владимир Иваныч Танеев, помещик, присяжный поверенный, республиканец, такой якобинец, что...; а так утончен, так стилен во всем; видно сразу: часами стоит перед зеркалом; папа же?

— Нет, откуда у вас завелся котелок шоколадный? Переменили опять?.. Рыжий, пыльный, продавленный...

Но котелок этот, сбоку всадивши на голову, мчится по улицам; вид — не профессора: жулика; а под коленами от широчайших штанов (из сукна первосортного) свисли мешки: зонтик — рваный.

Мне был он так мил в этом «т щ е н ь е» одеться, как все одевались: куда уж!

И математики, к чести их, выглядели не всегда элегантно.

А где начиналась кампания графов Олсуфьевых, Иванюковых, Танеевых, — наших «весьма либералов», порой «радикалов», — там тон, жест, приличие, выбор цветов пар пиджачных и корреспонденция их с цветом галстуха, мне выявляли... недосягаемое величие: видно, что кафедры их — столб высокий, — столб, видный со всех сторон площади: спереди, сзади и сбоку; стоит на столбе наш Иван Иванович Иванюков, — элегантен: картинка!

И — конституцию требует!

Самое представленье о кафедре как о столбе, тщетно рушимом городовым, с которого лектор-профессор, во фраке, махает своим шапо-клаком (а в шапо-клаке бумажка: план спича) сложилося у Стороженок; там часто бывал; стороженковский дом, как мой собственный, — дом номер два: мой единственный выход; Маруся ведь, Коля и Саша за мной посылают свою няню-Катю утрами воскресными; и забирает меня на весь день к Стороженкам; занятно и весело; и поиграешь с детьми, и на все наглядишься, и спичей наслушаешься; кто-нибудь там в белом галстухе: фрачник такой юбилейный!

Мое впечатление детства: по воскресеньям с двенадцати до двух у Стороженок чай, гости; к двум — едут на заседание Общества любителей российской словесности: фрачник, читающий в обществе, за Стороженкой заехавший; иль Николай Ильич сам, фрак надев, везет очень надутых и важных гостей (приезжают к обеду); и тут-то слова раздаются — напыщенно:

— Кафедра!

— Либерализм, конституция...

— Гольцев, Якушкин, Чупров...

А сам Гольцев или сам Якушкин, или Алексей Николаевич Веселовский — сидят за столом: тут как тут; и один из них — гордый, осанистый, в галстухе белом, прочесанный, точно надутый, как шар: оборвется веревочка и — улетит в небеса.

Мне особенно в небеса улетающим виделся Алексей Веселовский; такого величия я, виды видавший, больше не видывал: видел Жореса я; видел Толстого я; видел весьма знаменитых писателей; что они все? Как козявочки пред Веселовским; я, бывало, к нему подойду, как магнитом прикованный, благоговея пред ним, ужасаясь совсем великаньим лицом Веселовского; кажется мне, что мой рост равен этому лицу голиафскому, одутловатому; а под глазами мешки просто с блюдце; глазищи пустые и выпученные, голубоватые и водянистые, так и уставятся пред тобой, как пред воздухом: нет никакого тут «Бореньки», а — пустота; ну и лбище же; ну волосища же над этим лбищем: венцами махровыми на поларшина привстали; ну и бородища же: можно зарыться мне в ней; борода, лицо, космы, все вместе являет мне полчеловека обычного, вовсе не голову; и это все сидит на краснобычьей огромнейшей шее, едва улезающей под воротник; ну и туловище: коли Коле, Марусе и мне попытаться обхватывать, то не обхватим; бывало, он скрипнет на стуле, ко мне повернется и вилку поставит (на вилке же — полпирога) и такими премягкими, розовыми, как слюнявыми губищами мне как-то пусто и строго отчмокает, — по содержанию нечто гуманное, но — как обижусь; и в страхе отпряну: витиевато! И вновь громким, сдобным, довольным таким своим голосом витиеватое нечто показывает; ты подумаешь: он — великан; встанет, — вовсе не так уж велик; Веселовского видывал часто я: у Стороженок, у нас; и всегда ужасался какому-то несоответствию: вида и... впечатленья от вида; вид — как... водопад ниагарский; а впечатленье — пустое.

Позднее я впечатление детское это зарисовал в Задопятове. Зарисовал впечатленье, а вовсе не вид.

Все, бывало, отец мой подшучивает:

— Алексей Николаевич, да-с, любит фразу.

И слышалось:

— Просто ужасно, их Юрочка держит себя неприлично; и как это не видят родители, что непристойно мальчишке произносить за столом уже тосты.

Рассказывали, будто раз за обедом у Веселовских, после речей Веселовского, Чупрова, Иванюкова и прочих, раздался торжественный звон ножа о стакан; оглядели весь стол; не видать, кто, поднявшися, просит вниманья; вдруг запищало от края стола:

— Милостивые государыни и милостивые государи!..

И тут лишь увидели, что над столом голова «Пупса», — Юрочки; Юрочка, поднимая стакан вслед за, может быть, Гольцевым, — тост произносит.

Стихотворение мальчика-Юрочки было напечатано в сборнике памяти Юрьева; в нем мальчик Юра уже поминает с тоскою о вольнице

Новгорода; вскоре запереводил он армянских поэтов; до этого, кажется, справил десятилетний свой юбилей; сколько же юбилеев справлял Алексей Николаевич?

Помнится мне, что появленье Веселовских у нас за столом привносило торжественность необычайную, точно сама атмосфера наигрывала марш-фюнебр: сам, сама — конкурировали в величии.

Этакого величия я нигде потом не встречал, а я завтракал ежедневно с Жоресом; но — что Жорес: десять Жоресов, сто Жоресов не составили бы и половины величия Веселовского. Я, поэтому, выросши, с особым вниманьем разыскивал этих следов средь творений Алексея Николаевича; и пришел к выводу: надо либо согласиться с отцом («они болтуны-с»), либо притти к оккультизму (материя величия — оккультный феномен).

А величие — было. Подумайте: в оповещении о собрании сочинений Генрика Ибсена фамилия Ибсен напечатана обычными буквами, а извещение о предисловии к Ибсену Веселовского — аршинными; величина его — полторы странички.

Весомость — пушиночка!

Со Стороженками память сплетает особый круг лиц, в детстве виданных мною у нас; это, так сказать, друзья и знакомые отца молодого; потом укрепились у нас математики, физики, даже философы, а гуманисты как бы отступили; вот именно — гуманисты: зарей возрожденья несло от них; все — знаменитые личности; милые, очень простые при этом, одетые с тонким изяществом; и атмосфера какая-то: точно фавор; да, заря возрождения, о которой сказал Алексей Веселовский однажды: «Джордано Бруно, стоя одною ногою во мраке средневековья», — и далее, далее, далее (нагроможденья придаточных предложений, во время которых оратор забыл, что «н о г о ю») — «другою приветствовал он зарю возрождения»!

Этой зарей невесомой светилися лица известного круга; и к нам заходили из этого круга, видаясь друг с другом едва ли не каждый день; в тот день — журфикс у Олсуфьевых, в этот и в этот — журфиксы у Усовых, Иванюковых; воскресенье вечером — Янжулы ждут; воскресенье утром — у Стороженок; у нас же — по пятницам; не продохнешь: — каждый вечер собрания. В девяностых годах это все отступило куда-то; и выступили: Грот, Лопатин.

Мне помнится стройный, высокий, худой и пленительный Иван Иванович Иванюков; лицо розовое, добродушное; около глазок морщинки, когда он смеется; смеется — всегда; и пошучивает, передергиваясь, головою покачивая; разыграется, — шутки и фанты; и даже мазурку отпрыгивает; был заводчиком всяких невиннейших шалостей; и милых глупостей; что за костюм: как картинка! Я помню блондином еще его (после же помню седым); эспаньолка подстриженная; и усы чуть подкрученные; из кармана платочек — хорошенький, шелковый, пестренький.

Мать отзывалась с улыбкой о нем:

— Вот Иван Иванович, — тот настоящий «б э л ь о м»; и не докучает наукою; знает всему свое место.

О веселье, изяществе и баловстве сего почти «очаровательного» и еще почти «молодого» профессора просто легенды ходили; им все увлекались; и появлялся он всюду с изящною, маленькой милой женою; и очень любили катнуть невзначай из Москвы в Разумовское, где проживал он; можно сказать, в эти годы почтенный профессор шалил и играл, как котенок резвящийся; и Т. Н. Щепкина-Куперник, о нем вспоминая, опять-таки отмечает иванюковскую тему: «Жизнь кипела... Веселились, как дети, вдруг увлекаясь игрой в мнения или в фанты... получались такие картины, что, например, почтенный корректный профессор политической экономии Иванюков лез под стол и лаял оттуда собакой...»

И совершенно такие же воспоминания матери; бывало, я слышу:

— Были у Ивана Ивановича... Он — голову скосил, подлетел, подшаркнул и сию же минуту со мною — в мазурку.

И когда Иванюков появлялся у Стороженок, мы, дети, кидались к нему, на нем висли; помнится, как мы однажды попали к Иванюковым на праздник (дети Стороженки и я), потому что дочь Ивана Ивановича, Женя, была нашей приятельницей; мы пришли в неподдельный экстаз; и поставили вверх дном всю квартиру; не помню уже по какому случаю я, путаясь в красном халате Ивана Ивановича, выделывал пресмешнейшие вещи; даже жена его с ужасом глядела на нас; сам же Иван Иванович, чистый младенец, сощурив свои добродушные глазки, подмигивал нам, подкартавливал (он чуть картавил), подщелкивал и себя чувствовал в собственной сфере.

Позднее лишился он кафедры; кажется, что из Москвы переехал; еще позднее я, отрок, встречал его в санатории доктора Ограновича, где кончали мы лето; там жил Михайловский (уединенно), рассеянно, издали как-то, перебегая и — точно прячась в кусты (там стоял домик маленький: в нем отдыхал он); и наезжали жившие где-то рядом Иванюковы; Иван Иваныч наружно весьма изменился; стал сед; борода его выдалась седеньким клинышком; лысинка маленькая обозначилась; ходил во всем белом, в какой-то заломленной шляпе, полупанама; но был он таким же веселым, невинным, весьма добродушным; и говорили все так же о нем:

— Посмотрите, одет как картинка!

Шутил как картинка, ходил как картинка; писал — не картинно: весьма жидковато и — скучно.

Мои представления о Стороженках: они — настоящие окна в Европу; из окон их к нам появляются: Иванюковы и Янжулы, иль — «европейцы».

Хотя Янжул жил рядом, хотя слышал его за стеной каждый вечер (оттуда бубухало глухо: «Бу-бу!»), все ж казалось, что от Стороженок является он; и понятно: Иван Иванович Янжул есть «к р е с т н ы й» Марусин; Маруся же — моя приятельница (дочь Н. И. Стороженки); и с Янжулом многие мне стороженковские воскресенья связались.

И. И. Янжул есть тоже в Европу окно: англичанин; и явственно в нем вымечаются желтые баки, и ходит во всем полосатом; и утверждает, что в Лондоне все хорошо, а в Москве — все прескверно.

Не часто являяся к нам, он бубухал у нас за столом (как из бочки); шутил со мной грубо; и грубо затеивал игры у Стороженок он с нами; бывало, на елке сорвет он игрушку и к нам:

— Дети, кто шкорей эту куклу поймает, тому она будет принадлежать.

И бросал куклу нам, точно кость жадным псам; и как псы, разъяренные с ревом, друг друга тузя, мы кидались; и дикие страсти разыгрывались; он нам половину игрушек, висящих на елке, как кости перебросает; и после, все красные, дикие и озлобленные, мы сидим и косимся на «ловкача», обобравшего всех.

Нелюбовь моя к Янжулу началась из-за этой игры: тихий мальчик, весьма деликатный, пинки давать я не умел; и поэтому из-за Ивана Иваныча без игрушек сидел; возвращаюся с елки, мать спрашивает:

— Что получил?

А я — в слезы:

— Иван Иванович Янжул обидел.

И кто то по этому поводу с возмущением высказался:

— Что за грубое животное: разве можно с детьми так!

Что «грубое животное», это я понимал: как-то раз, уж не знаю как, к Янжулам я попал, то есть, за стены квартиры; и оказался Иваном Иванычем схваченным; он, сидя в качалке, весьма бултыхался ногами; ручищами шею мою обхвативши, притиснул к себе, бултыхаясь в качалке, — так больно притиснул: едва не задохся я.

Встретит на лестнице, — сейчас пристанет:

— Вот на-ко, Бориш!

И сует в руку гривенник:

— Вот тебе: ты накупи, брат, себе леденцов.

— Нет, спасибо, Иван Иванович, мне запрещают брать деньги от посторонних.

И думал: «Он — грубый мужик!»

Появлялся он с Екатериной Ивановной Янжул, весьма некрасивой, и бледной, и маленькой, с кашей во рту и с пенснэ; говорили: ученая женщина; и — покровительствует школе кройки, шитья; и поэтому в доме у Янжулов все какие-то молодые девицы из школы кройки.

На Янжула я с опасеньем поглядывал: громкий, огромный, и толстый, и косный; А. Н. Веселовский — надутый; проткнешь, — оболочка (какая-то кляклая); Янжула — нет, не проткнешь; будто выточен весь из карельской березы; пудами теряет мяса свои, вновь потом их наедая; и с громкою силой колотится по вечерам в стену нам; и мы знаем уже: выбивает он пыль перед сном ради для моциона. Весь желтый, такой желтокосмый!

«... По штатиштичешким данным... в Лондоне»... Только и слышится:

— Как, Иван Иваныч, здоровье?

— По штатиштичешким!

Глух!

Мне от буханья Янжула дымом серейшим несло; и — мигрень начиналась; атмосферическим явленьем каким-то, как гром, я считал его голос застенный...

— Гром — скопление электричества...

И я думал, что голос его — нагнетание электричества: душит и парит, как перед грозою.

Из цикла „Лицо ремесла“.

Рассказ о великой обороне колхоза.

К полудню всю влагу лиманы сполна
Выпьют сухими губами.
Щупает знойной рукой тишина
Хлебное сердце Кубани.
К югу ж колхозы в просторах пустых
Всколосили злачное лето,
Крепко пшеничные корни пустив
В землю родящую эту.
Всей нефтяною кровью кипя,
Сын их, могучий, но кроткий, —
Ходит фордзон по дремучим степям
Индустриальной походкой.
И в песни и в льды одетый Эльбрус
Видит: ему угрожая,
Подступают все ближе запах и хруст
Яростных волн урожая.

* * *

В полдень полями шел агроном —
Длинный, ученый, очкастый;
Он не один: был мальчик при нем,
Патриот голоштанной касты.
Нежил обоих степной озон,
Наливала пшеница покоем.
Вдруг пальцем ткнул агроном в горизонт:
— Что это там такое?
В недоуменьи мальчик глядит:
Там в синеве летучей
Туча барахтается. На вид
Совсем обычная туча.
Туча ж есть дым, туман, пустяки...
Что ж агроном тут замер,

В небо поблескивая сквозь очки
Знающими глазами?
Мальчик хотел засмеяться, — но,
Немедленно обнаружась,
Засиял на суровом, как полотно,
Лице спутника ужас.
И спутник вдруг ринулся в бег: большой,
Худой, как верблюд из цирка,
Ноги передвигая межой,
Как чертежники движут циркуль.

В огороде криком позвал старшину
(Парни там в картошке копались),
Прежним жестом он вытянул в вышину
Свой авторитетный палец.
Семен — старшина (он был не старик,
А комсомолец глазастый) —
Голову лишь повернул на крик,
Тело оперши на заступ.
— Что там? Град? — он бросает взгляд,
Стоя в полуизгибе.
— Не дождь и не град, а похуже, брат:
Это летит к нам гибель.
Зрачки агронома сошли с ума,
Молниями вращая, —
— Это голодная смерть сама,
Имя же — саранча ей.

Саранча — растут семь колючих букв...
Заступы рушатся на-земь.
— В битву за дело своих рук
С грязной и грозной мразью!
Мразь, то есть туча, росла между тем,
Небо собой закрывая,
Делалась неотвратимая темь,
Бурая и роковая.

Но уже колхоз ходил ходуном,
Схожий с лагерем незнакомым:
Главнокомандующий — агроном,
А Семен при нем — военкомом.
Шумовые средства все в десять минут
Мобилизованы прочно.
Парни в поля инструменты несут:
Барабаны, трубы и прочее.

Даже из хлама отобран в миг
В отношеньи шума полезный:

Хилый, как старый мир, дробовик,
Сломанный лист железный.
Все роздали: для звона годны и ключи,
Пилы ж годятся для скрипа.
А кому нехватило, сказали — кричи,
Так, чтоб лопалось горло от крика.
Военком по полям носился, как чорт,
Бущевал, как Терек в Дарьяле:
— Чтоб на двести метров — точный расчет —
Друг от друга люди стояли.
Саранча снижалась. Темень крепка,
Словно в полночь. Но вдруг из хлеба
По сигнальному выстрелу дробовика
Какофония хлынула в небо.
Музыканты — кто в лес, а кто по дрова. —
А у хора не звуки — глыбы.
От отчаянной музыки вяла трава,
Да и ущи увянуть могли бы.
Неспроста щарманка заведена:
Свойство у саранчи такое, —
Если шум в полях — не сядет она
Впредь до наступленья покоя.
Саранча музыкальна. У ней на конце
Головы работают ущи.
И когда в честь нее дается концерт,
Поневоле ей нужно прослушать.
И стояла в воздухе саранча
Над содомом, лязгом и пеньем,
Вся угрюмо и судорожно треща,
Вся корежась от нетерпенья.

* * *

Между тем от колхоза вдали, вдали
Мальчик мчал (он на скорость испытан).
Он вздыхал. Километры плыли в пыли
И звенели под конским копытом.
Конь был сер как пыль, был легок как вздох,
На горячей дороге к станции,
И стирая пот проклинал ездок
Остающуюся дистанцию.

* * *

Для этой главы моей город — фон, —
Город, гордый домами плохими.
Сухо тревогу бьет телефон
В губернском Авиахиме.

Мышьяк и с известью пополам
Злая швейнфуртская зелень.
До края гружен аэроплан
Смесью убийственных зелий.
Знали химик и пилот,
Какую игру играют.
Был он безумья острей — полет,
Решающий участь края.
Вторит мотору, но так не в такт,
Сердец перестук неровный
Под солнцем холодным, как медный пятак,
На высоте огромной.
Экспресс, летящий вдоль полотна,
Кажется тараканом,
И воздуха полная тишина
В уши бьет ураганом.

* * *

На четвертом часу стал концерт слабеть,
Голоса потеряли силу...
Кровь гремела в ушах как трубная медь,
И усталость ноги косила.
И теряли чувство один за другим,
Друг на друга глядеть не смея.
Враг снижался. Трескучий победный гимн —
Все назойливей и слышнее.
И Семен, прошипев: — Больше я не могу, —
Лег, траву обнимая по-свойски,
И кровавая пена текла из губ
Военкома славного войска.
Лишь один возвышался еще агроном
Журавлиной фигурой четко,
Он вертел трещоткой, бывшей при нем, —
Бесполезной теперь трещоткой.
До конца ли, колхозцы, ваш пройден шаг?
Песни все до конца пропели ль?
Сквозь биенье крови растет в ушах
Дивной музыкой близкий пропеллер.

* * *

Вечер. Стройно стоят звезда к звезде,
Дышит хлебная грудь Кубани.
Саранчи убитой груды везде
Меж спасенными битвой хлебами.

А агроном прикреплял в футляр,
Где коллекция находилась,
Новый, лучший из виденных, экземпляр
Миграториус Пахитилус [1]).

Катастрофа в домовом масштабе.

Тут сапожник вспотевщим играл молотком,
Одевая колодку союзками;
Тут китаец — с продолговатым желтком
Глаз, зажатых веками узкими, —
Принимал белье — такое — хоть плачь
(Впрочем он не вдавался в критику);
Тут без тени брезгливости старый врач
Наклонял лицо к сифилитику;
Тут больной, чей кашель как гвоздь остер,
Слушал, как, потрясая здание,
За стеною вгрызался добряк-актер
В роль злодея согласно заданию;
Тут певица, искусно ловя на-лету
Сны Изольды, что в Лету канули,
Трель подняла на снежную высоту
Эвереста ль, Эльбруса ль, Монблана ли;
Тут рабочий, над книгой Истпарта склонен,
Кинолентой страницы льются, и —
Рвутся залпы, и слыщен сквозь щелест знамен
Убедительный щаг революции.
Но вдруг все оборвалось. Звуки, цвета —
Провалились. Дом пятиярусный
Вымер. Лищь ослепительная темнота
Ударяет в глаза болью яростной.
Взяты труд и безделье на абордаж
Мглой. Зажаты чернильной лапою.
Ты смещна, ты одна на огромный этаж, —
Нищей спичечки искорка слабая.
Управдом к телефону добрался с трудом,
Сбив два стула и стол. Сквозь синюю
Ночь Могэс говорит: — Мы сейчас же придем
И починим. Здесь порча по линии...
Уж свечу от елки вставлял актер
В бутылку с белой головкою, —

---

[1]) Латинское обозначение наиболее вредоносного и наиболее часто встречающегося на нашем юге летучего вида саранчи.

Но из ночи нежданно вышел монтер,
Вздев фонарик рукою ловкою.
Был пиджак его кожаный цветом бур,
Как и кепка. Белела пятном щека,
И сияло пенснэ. Он принес шлябур
И щипцы — орудия взломщика.
Через миг он, сверкая стеклом пенснэ,
Лез куда-то по хриплой лестнице,
Словно Дон-Жуан, похищавший во сне
Сердце знойной и юной прелестницы.
И тянулся шнур за ним как змея,
И щипцы рванулись со злобою,
И раздался треск. — И дом засиял,
Облегченно вздохнув утробою.
И пока аккуратно прятал монтер
В сумку ключ от грома и молнии,
Восхищался им вслух весь черный двор:
Впечатление было полное.
— Он мастак, по пенснэ видать — грамотей,
— Неуч к делу такому не сунется.
Но уже далеко от них Прометей
Шел спокойно и в ногу с улицей.
Шел в иные дела походкой тугой,
Шел из прошлого века в будущий, —
И сгибалась под вольтовою дугой
Ночь, людьми усмиренное чудище.

Ночной корректор.

Последний рейс трамвай с повадкой гончих
Промчал. Товарищ, ты не опоздал.
Вот дверь, где, сутки только что прикончив,
Слетел с часов двенадцатый удар.
За полминуты новых суток целься
Двор пропечатать шагом до угла,
Где часовым поднял у двери Цельсий
На ртутный штык — полградуса тепла.
Твой карандаш профессия чинила,
Острила взгляд бессонницей она,
Когда, как типографские чернила,
Густела темень в уровень окна.
Вот корректура в спячке мертвой пачкой...
Лети, рука, уверенным броском —
В труде трудней начало: так раскачка
Трудна, пока не перейдет в разгон.

Ночь начинается с трудов упрямых,
Ночь теплой музыкой встает в ущах.
И внятно в судорожных телеграммах
Гудит Истории надменный щаг.

Европа скорчилась, и ночь над нею.
Европа выкрашена в черный цвет.
А там, над набережными Сиднея, —
В волнах раскачивается рассвет.

Там из Калькутты острый щквал, взметаясь,
Летит на Лондон. Стоны и свистки.
И, сон сгоняя с желтых скул, китаец
Вонзил в туман холодные зрачки.

Корректор, стой над взлетами волненья,
Над стоном наций, над грызней держав,
Земли огромное сердцебиенье
В руке невздрагивающей зажав.

Оно то глухо говорит, то звонко,
Что труд твой свеж, как жизнь земли свежа.
И в такт качается ротационка,
И стекла вздрагивают, дребезжа.

Но все кончается. И ночь и эта
Работа. Вновь идет наубыль тень.
И мальчуган, как белый флаг, газету
Крича несет в просторный белый день.

А. Миних.

Итальянские мотивы.

Изонцо.

Изонцо, Изонцо!..
Белесый поток. Куча серых камней.
Страна богатого солнца
И — бедных людей.
Изонцо!..
Обломки разбитых домов,
Кусок недогнивших траншей...
Быстрый поток! Мутный поток!
Сколько трупов ты в море увлек!
Лопалось небо. Трещала земля.
Брызгами — камни. В брызги — мозги!..
...Стынут в тумане каменные поля,
Бежит вода — но не та вода.
Прищли года — не те года.
Изонцо! Здесь из крови и стали
И грома бесславных побед
Поднялась ты, фащистская Италия
На много ли лет?
Едва ли..

Аппенины.

На южных склонах Аппенин —
Оливковые рощи.
Там очертанья мягче, проще
Весне отдавщихся долин.
На южных склонах Аппенин
Шпалеры винограда,
И льется чистая прохлада
От голубеющих верщин.
На южных склонах Аппенин —
Ленивая дорога...
И грустно мне, мой друг,
немного,
Что я здесь без тебя, один...

Рим.

Колизей. Катакомбы. Колонна Триана.
«Тише! Пиано! Пиано!
Вы ходите по почве,
Где окаменели
Сотни веков!»
В самом деле?
О, если б могли превозмочь вы
Этот каменный сон!..
Рим старый, Рим новый,
И над ним — колпаком суровым —
Тяжеловесный храм —
«Собор святого Петра».
Ржа — тысячелетняя ржа —
До самого костяка!
Широким размахом колоннад
Площади сжав бока, —
«Самый обширный храм —
На шестьдесят тысяч народу».
...Вот по углам — на коленях
Серые тени...
Такие ж гуськом непрестанно
С утра
Пред бронзово-темным чурбаном
Статуи грузной Петра.
Тысячи тысяч их здесь протекли,
С разных концов земли —
Пилигриммы,
И, обсосанный ими,
Бронзовый палец
Темной ноги — стерт, блестит!
Этот глянец,
Наведенный миллионами воспаленных уст,
Кричит,
Как велик на человеке твой груз,
Ватикан!
О, если бы силу этих разрозненных мук,
Остроту муравьиных печалей,
Призывы, проклятия, вопли, и стоны
И жадный порыв миллионов тоскующих рук
Слить
В один жест, порыв, —
Тогда б задрожал, зашатался над Римом
Такой сокрушительный ураган,

Что дрогнуло б чрево земли —
И Ватикан,
И папа, и храм
С чурбаном Петра
Полетели б, крущимые бурей.

Антон Гук.

Чехов.

Вот этот бразовский портрет —
В боях и мирною порою —
Уж не один десяток лет
По свету странствует со мною.

За что люблю — мне не сказать, —
Но сердце льнет к нему упрямо:
За эти ль чуткие глаза,
За складку ли между бровями.

За каждый вздох и каждый шаг,
Что — в книгах, в письмах, в разговорах, —
За все, чем жил он и дышал
В свою удушливую пору!

Такую радость не отнять.
Сквозь расстояния и время —
Он лег на сердце у меня
Неповторимою поэмой.

Смотрю — и вот они встают
Издалека, едва маяча,
И тихий мелиховский пруд,
И — в белом — ялтинская дача.

Во всем, во всем я узнаю
Тех лет трагическое эхо —
Слепую преданность мою:
Волнующее имя — Чехов.

Вот он стоит передо мной,
Немного грустен, мудр и светел, —
И недоступный и родной,
Как все великое на свете!

Антон Пришелец.

Новый управдел английской буржуазии.

А. Лозовский.

Английские выборы закончились поражением консерваторов и относительной победой Рабочей партии. На смену тупоголовой консервативной банде, возглавляемой Хиксом, Черчилем и Болдуином, к власти приходят лакированные социалисты, люди с гибкими принципами и каучуковой программой. Если консерваторы перли напролом и пытались защищать интересы английской буржуазии политикой бронированного кулака, то новое правительство попытается защищать те же интересы, но совершенно другими методами. Вместо политики провокации, нахрапа и открытого бандитизма, загнавщей великобританскую буржуазию в тупик, намечается другая политика, — политика полууступок пацифистских фраз, прикрытых розовой водичкой, укрощенного и прирученного реформизма, политика того же грабежа, но прикрытого демократическими жестами.

Внещне результаты выборов производят такое впечатление, что в английской политике наступает коренной перелом. Но на самом деле при ближайшем рассмотрении — перед нами не перелом, а один из зигзагов политики господствующих классов Великобритании, имеющий своей задачей проводить ту же политику только другими методами. Предоставим английским лейбористам и героям II и Амстердамского интернационалов петь гимны «победившему труду». Международному реформизму есть от чего притти в радостное состояние: в двух крупнейших странах Европы — в Германии и Англии — у власти стоят партии II Интернационала и происходит «мирное врастание в социализм»! Что может быть более ярким доказательством правильности реформистской теории и практики, чем это «мирное движение к социализму»? Все предварительные условия соблюдены: тут и демократия при сохранении частной собственности, и полицейские преследования революционного рабочего движения, и прислужничество социалистов перед финансовым капиталом и, наконец, божественный парламент, который представляет собою чудесный тигель, в котором плавится, через систему избирательных бюллетеней, социализм 96-й пробы! Есть от чего притти в радостное состояние и провозгласить, как это делает «Форвертс», осанну мудрой, дальновидной и реалистической политике международной социал-демократии, отрицающей «кровавые методы варварского большевизма» и идущей к социалистической цели без накладных расходов революции.

Эти радостные песнопения международного реформизма являются единственным утещением для всех, верящих в мирное выталкивание капитализма из его позиций и постепенное превращение капитализма в социализм. Блажен, кто верует, тепло ему на свете! Но поскольку рабочим

массам не только не тепло, но холодно от этих блестящих успехов международной социал-демократии, и поскольку субъективные переживания реформистских героев ни в малейщей степени не могут свернуть с пути исторический ход событий, нам придется предоставить реформистам самоутещаться «великой победой социализма» и подойти к английским выборам с точки зрения их реального значения в международной политике и в международной экономике.

* * *

Прежде всего английские выборы означают серьезное поражение консерваторов, поражение их внутренней и внешней политики. Хотя количество избирателей за время пребывания консерваторов у власти увеличилось на 5 миллионов, количество голосов, поданных за них, увеличилось всего лищь на 40 000. С 1918 по 1924 г. избирательное право в Англии распространялось на мужчин с 21 года, а на женщин с 30 лет. Правительство Болдуина, желая сыграть на консерватизме женщин, уравняло права женщин с мужчинами, и на выборах текущего года прибавилось около 5 миллионов избирателей-женщин с 21 года до 30 лет. Всего избирателей было около 28 миллионов. Из них в круглых цифрах консерваторы получили 8,5 миллиона, Рабочая партия — 8 300 тысяч, либералы — 5 200 тысяч, около 300 тысяч независимые и 50 тысяч коммунисты. Если сравнить выборы 1929 года с выборами 1924 года, то Рабочая партия приобрела около 3 миллионов голосов, либералы около 2 миллионов, а консерваторы всего лищь около 400 000.

Значит ли это, что новые избиратели распределились как раз между либералами и Рабочей партией? Ни в коем случае. Анализ выборов в отдельных избирательных округах показывает, что в промышленных округах и рабочих центрах сдвиг произощел в пользу Рабочей партии. Это означает, что расчет консерваторов на 5 миллионов женщин если не оправдался на все 100%, то несомненно был правилен. Консерваторы получили из этих 5 миллионов несомненно значительную часть голосов, в то время как их старые избиратели из рабочих и мелкой буржуазии в известной части явно отдали голоса Рабочей партии и либералам. Как бы то ни было, получилась любопытная картина, что консерваторы, пробывщие у власти больще 4 лет, выщли сильно потрепанными из избирательной борьбы, а это означает, что английские избиратели в своей массе — рабочие, мелкие буржуа, крестьяне и пр. и, в известной части даже промыщленники, сочли необходимым отделаться от правительства катастроф.

Внещняя и внутренняя политика консерваторов получила суровую оценку на выборах, и этим самым во весь рост поставлен пересмотр всего того, что сделали консерваторы за годы своего пребывания у власти. Своеобразная система английских выборов привела к тому, что самой сильной партией по количеству депутатов в парламенте оказалась Рабочая партия (288 депутатов), а либеральная партия, несмотря на то, что она получила больще чем на 5 миллионов голосов, имеет всего лищь 58 мест. Если принять во внимание, что консерваторы получили 258 мест, то соверщенно очевидно, что хотя либералы занимают очень небольщой сектор в палате общин, но они могут в любой момент рещить судьбу правительства: они могут итти с Рабочей партией против консерваторов или с консерваторами против Рабочей партии. Ллойд Джордж держит в своих руках стрелку и может в любой момент перевести правительственную политику английской буржуазии на те или другие рельсы, о чем он говорит соверщенно открыто, предупреждая Макдональда от каких-либо «социальных экспериментов».

* * *

Мы видели, что английские выборы означают поражение консервативного правительства. Означает ли это победу социализма? Если принять на веру ликующие голоса реформистской прессы, то это так. Если же внимательно присмотреться к «социализму» Рабочей партии, к ее большой программе и платформе, к выступлениям ее кандидатов на выборах, и, наконец, к малой программе, пока еще официозной, рабочего правительства, то можно сказать, что победа Рабочей партии находится на астрономическом расстоянии от победы социализма. В самом деле, с чем выступала Рабочая партия на выборах? Она критиковала нелепую провокационную политику Болдуина по отношению к Соединенным штатам. Она высказывалась против англо-французского соглашения о морских вооружениях, которое вело к войне. Рабочая партия высказывалась против разрыва взаимоотношений с Советским Союзом, критиковала антипрофсоюзный закон, обещала заняться после победы проблемой безработицы, воспевала мир в промышленности, сотрудничество классов, гармонию между трудом и капиталом и пр. Каждый раз, когда дело доходило до коренных интересов английской буржуазии (колониальный вопрос, политика в Египте, Китае и пр.), Рабочая партия выступала с национальной программой, т. е. с программой дальнейшего угнетения колониальных народов. Что здесь социалистического? Какое отношение вся эта программа имеет к социализму? Это программа радикального крыла буржуазии в период упадка капитализма, а не программа идущего к власти нового класса. Социализм рабочей партии настолько невинен и настолько лишен классового характера, что даже самые заядлые английские реакционеры не усматривают в Рабочей партии ничего социалистического. Это одна из национальных партий, стоящая на почве конституции, на почве цельности и расцвета империи, на почве подъема народного хозяйства путем капиталистической рационализации и на почве увековечения капиталистических отношений. Такой социализм так же мало опасен для английской буржуазии, как воскресные проповеди англиканских и католических священников и «капитанов» Армии спасения.

* * *

Как выглядит «социализм» этой сильнейшей партии II Интернационала, видно из следующих примеров. Когда Рабочая партия выработала и опубликовала свою программу «Труд и нация», то либеральная «Дейли Ньюс» в передовице от 11 июля 1928 г. дала следующий отзыв об этой программе:

«Она либеральна по духу, либеральна в ее реформистском рвении, либеральна в предлагаемых ею мерах. Она до такой степени либеральна, что ее авторы, без особого чувства стыда, но не признаваясь в этом, позаимствовали значительную часть предложений и идей либеральной партии из нашей, пользующейся ныне известностью, Желтой книги. Либералам трудно понять, почему те, кто рабски подражает им, выступают на всех выборах против либеральных кандидатов с ожесточением, которое должно было бы иметь место по отношению лишь к действительным врагам».

Либералы, таким образом, открыто жалуются на то, что Рабочая партия украла у них программу. Во всяком случае Ллойд Джордж имеет право обвинять программу Рабочей партии в том, что она является плагиатом.

Что же думают руководители Рабочей партии о программе либералов, опубликованной в этой именно Желтой книге? Секретарь Рабочей партии,

а ныне министр иностранных дел, Артур Гендерсон писал 10 апреля 1928 г. о программе либералов следующее:

«Новая программа либеральной партии на деле продиктована духом социализма, а не либерализма».

Таким образом либералы считают, что программа Рабочей партии продиктована духом либерализма, а руководители Рабочей партии считают программу либералов продиктованной духом социализма. Это полное совпадение программ можно было бы подтвердить цитатами из «Труда и нации» и Желтой книги. В некоторых случаях имеется другая фразеология, но политический смысл один и тот же, и либералы и Рабочая партия предлагают создать национальный экономический совет для рассмотрения экономических проблем, и те и другие говорят о промышленном мире, и те и другие предлагают одни и те же панацеи от безработицы, и те и другие говорят двусмысленные фразы о заработной плате, о монополиях, и те и другие считают колонии органической частью Великобританской империи. Что же отличает одну партию от другой? Главным образом социальный состав. Рабочая партия в своем большинстве состоит из рабочих, за нею идут рабочие, тогда как за либералами идет мелкая городская буржуазия, часть промышленной буржуазии и незначительная часть рабочих. Разный социальный состав накладывает печать на некоторые формулировки. Рабочая партия должна более чутко относиться к элементарным требованиям рабочих, она вынуждена вносить их в свою программу, она должна соблюдать известный декорум, она связана некоторым минимумом рабочей терминологии. Но по существу — это третья партия буржуазии, которая на пути к тому, чтобы превратиться во вторую партию буржуазии. В этом основное содержание английских выборов.

* * *

Рабочая партия пришла к власти, во-первых, потому, что обанкротилась консервативная партия, и, во-вторых, потому, что в широких массах английского пролетариата живет иллюзия, что можно мирным путем улучшить свое положение. Когда в 1924 г. Макдональд пришел к власти, руководители Рабочей партии, оправдываясь перед рабочими в том, что они не могут провести данных ими обещаний, говорили: «мы находимся не у власти, а только лишь в управлении». Хотя на текущих выборах Рабочая партия получила гораздо больше мест, и хотя сама Рабочая партия заявляет, что она сейчас находится у власти, но, как мы увидим в дальнейшем, английская буржуазия получила нового управдела. Все трубадуры английской Рабочей партии, очевидно за отсутствием времени, забывают сообщить, что произошло в Англии: смена правительств или смена одного класса другим. Правда, сейчас в международной реформистской прессе имеются ходкие словечки: «труд у власти», «труд победил», «английский пролетариат создает свое правительство» и пр. Но все это одна словесность, одна мишура, ибо классовый характер правительства определяется не социальным происхождением того или другого министра, а его политикой. Классовый характер государства определяется не тем, что написано в программе той или другой партии, а тем, в чьих руках находится реальная власть, т. е. в чьих руках находятся фабрики, заводы, банки, земля и пр. Самые отчаянные оптимисты, кричащие о победе труда в Англии, не смеют сказать, что произошел какой-нибудь сдвиг в классовых отношениях, а поскольку в этой области ничего не произошло, то нельзя и говорить относительно прихода к власти нового класса. Этим самым решен основной вопрос о классовом характере новой власти в Англии. Это не власть

нового класса, а управдел старого класса, правда, управдел демократический, вышедший из народа, управдел с некоторыми демагогическими замашками, прикрывающий свою деляческую физиономию пацифистско-социалистической ужимкой, но это настоящий управдел, который не может выйти за рамки, предначертанные ему хозяевами. И это независимо от того, как переживают английские избиратели тот факт, что к власти пришла Рабочая партия. Наивный и верящий в избирательный бюллетень рабочий может думать, что теперь у власти рабочий класс. Но эта его вера очень скоро потерпит жестокий крах, ибо он не сможет извлечь из «рабочей власти» ничего полезного для себя и для своего класса.

Так объективная обстановка разрушает субъективные иллюзии. Иллюзии гибнут, а факты остаются.

* * *

Если бы требовались какие-нибудь доказательства того, что Рабочая партия является управделом буржуазии, то достаточно взять первые шаги нового правительства. Во главе министерства безработицы поставлен один из наиболее подлых ренегатов, штрейкбрехер, неоднократно срывавший забастовки, министр колоний в первом правительстве Макдональда, секретарь союза железнодорожников — Томас. Он обещает созвать ряд совещаний, но дальше обращения к хорошим чувствам предпринимателей, чтобы они взяли на себя размещение безработных,— т. е. дальше повторения политики Болдуина, Томас не пойдет и не может пойти. Возможно, что он вместе с предпринимателями выработает какие-нибудь заманчивые планы переселения безработных в колонии и доминионы, но вся деятельность Томаса будет лишь прикрытием свирепой рационализации, которая будет проводиться под шум разговоров об уничтожении безработицы. Министром колоний назначен Сидней Вебб, старый оппортунист, фабианец, патриот своего отечества, человек национально-империалистического образа мыслей. Что может он дать Египту, Индии, Китаю и тем сотням миллионов колониальных народов, которые кровью и железом поработила английская буржуазия? Несколько кислосладких слов, душеспасительных советов и сотни тонн снарядов. Вот и все.

Но может быть министр труда Маргарита Бонфильд сделает что-нибудь реальное для рабочего класса Англии? Вероятно, у этой дамы любвеобильное сердце, она, наверно, очень сентиментальна и за чашкой кофе мечтает о том, как было бы хорошо, если бы все были сыты. Может быть она отменит антипрофсоюзный закон, введенный Болдуином? Но если в программе Рабочей партии значилась «отмена антипрофсоюзного закона», то в избирательной платформе, опубликованной накануне выборов, это решительное выражение было заменено более эластичным: «исправление антипрофсоюзного закона Болдуина». Маргарита Бонфильд отличилась еще до того, как стала министром, своим согласием на снижение субсидий безработным. Это было хорошим введением к министерскому портфелю. Что может сделать эта, жаждущая королевских почестей, дама, кроме обещаний и хороших планов? Абсолютно ничего.

Стоит ли перебирать всех министров? Может быть, Артур Гендерсон совершит крутой поворот? Как будто здесь более всего намечается новая политика. Макдональд хочет ехать для переговоров с Гувером. Гендерсон обещает установить дружеские отношения между «великими англо-саксонскими демократиями» и восстановить политические взаимоотношения с СССР, делая, обычную для «национально-мыслящих» министров, оговорку.

В области внешних отношений политика нового правительства несомненно будет отличаться от политики правительства Болдуина. Мак-

дональд обещает радикальную перемену политики. Но Макдональд, как старый проповедник — знает, что между обещанием и жизнью дистанция огромного размера. Но если даже правительство Макдональда разорвет англо-французское соглашение и заключит какой-нибудь компромисс с Соединенными штатами, если оно даже признает СССР, то что это меняет в международной политике английской буржуазии? Значит ли это, что наступит эра пацифизма, что правительство Макдональда действительно начнет серьезно проводить разоружение? Правительство Макдональда может отказаться от постройки нескольких крейсеров, благо английский флот самый могущественный в мире, но разве это будет началом разоружения? Это будет одним из маневров для того, чтобы посеять иллюзии в глазах широких масс. Флот будет продолжать господствовать на морях до тех пор, пока он не будет вытеснен силой американского флота.

Но может быть военный министр, он же и секретарь Интернационала текстильщиков — Том Шоу, один из наиболее обуржуазившихся рабочих лидеров, — может быть он скажет новое слово? Увы, и здесь, как и в других областях, рабочие министры его величества не выйдут за пределы предначертанного. Они знают, что английская буржуазия их терпит, пока они только говорят о разоружении. Когда же они сделают что-нибудь реальное в этой области, они будут выщвырнуты в 24 часа, о чем совершенно недвусмысленно предупреждают и либералы и консерваторы.

* * *

Новый управдел сразу вошел в оглобли. Это видно из того, что приход к власти Рабочей партии был очень спокойно принят биржей, финансовыми и промышленными кругами. В 1924 г. Томас хвастался тем, что во время прихода к власти Рабочей партии биржа оставалась спокойной. Томас ставил себе и своим коллегам в заслугу то, что биржа их приняла как своих. И теперь тоже биржа спокойна. И это неудивительно. С точки зрения английской буржуазии не произошло ничего особенного, кроме полезного для нее зигзага. Брутальная политика Болдуина грозила очень серьезными осложнениями. Надо было переменить управдела, поставить другого, который умнее заботился бы об интересах своего хозяина. Отсюда доверие к Макдональду, Томасу, Клайнсу и прочим «социалистам». Отсюда поощрение со стороны деловых кругов политики Рабочей партии, отсюда полное спокойствие биржи.

Для тупоголового реформиста, вроде Вельса и Цергибеля, это признак величайщего успеха: помилуйте, буржуазия довольна министрами-социалистами, буржуазия им верит, — разве это не успех? Для нас это доверие буржуазии является лучщим подтверждением нащего недоверия к ним и является исходным пунктом для нарастания недоверия масс к этому правительству. Правительство Рабочей партии хочет быть национальным правительством, а не классовым. Об этом неоднократно говорил Макдональд, об этом говорили другие министры, это представляет собою квинтэссенцию всех выступлений лидеров Рабочей партии. Быть национальным правительством — это значит выражать интересы всех классов. До сих пор история не знала таких чудес. На заре прихода к власти нового класса, правительство этого нового класса, в период революционных бурь, часто отражало интересы всей нации. Но теперь в империалистической стране, в стране нисходящего капитализма, национальное правительство, правительство гармонии интересов труда и капитала, — это величайщее политическое жульничество, которое будет разоблачено гораздо скорее, чем думают изобретатели этой национальной похлебки.

* * *

Как мы уже говорили, в широких рабочих массах была иллюзия, что приход Рабочей партии к власти означает улучшение их положения. Миллионы рабочих голосовали за Рабочую партию, чтобы избавиться от Болдуина и как-нибудь выйти из тех тяжелых условий, в которых они находятся благодаря целому ряду поражений в последние годы. Капиталистическая рационализация проводится в Англии за счет рабочего класса. Безработица не только не уменьшается, но растет. Жизненный уровень падает все ниже и ниже. Профсоюзы и Рабочая партия связывают по рукам и ногам рабочие массы, и они бросились на выборы в надежде, что они в этом деле что-нибудь выиграют. Рабочие лидеры дали кое-какие векселя, кое-какие обещания, среди которых вопрос о безработице один из наиболее важных. Теперь рабочие будут ждать уплаты по векселям. Как бы скромны ни были обещания, но рабочие потребуют их выполнения. Поскольку в рабочих массах имеются некоторые иллюзии, что с приходом к власти Рабочей партии они сами как-то приобщились к власти, должна возрасти требовательность и агрессивность рабочих. Они будут требовать от «своего» рабочего правительства содействия в борьбе против понижения жизненного уровня. Они будут ходить по правительственным учреждениям, а затем прибегнут к забастовке в надежде на правительственную помощь. Таким образом приход к власти Рабочей партии, возбудив иллюзии в значительных слоях рабочих, поднимет их требовательность и их активность. Это неизбежно приведет к обострению экономических боев, к предъявлению требований не только к предпринимателям, но и к правительству. Имеется уже ряд фактов, свидетельствующих о том, что рабочие начинают нажимать. Так горняки уже начинают нервничать в связи с тем, что правительство и не думает об отмене антипрофсоюзного закона Болдуина. Это разочарование в массах вызвало тревогу среди лидеров. Кук призывает горняков к выдержке и терпению (как будто они мало терпели!), а Смит Герберт выступает против «драматических жестов» и за доверие новому правительству. Это расхождение между лидерами и массой будет расти ускоренным темпом.

Что может ответить на требования рабочих правительство Макдональда? Оно ответит так, как отвечало в 1924 г., когда послало штрейкбрехеров во время стачки транспортников в Лондоне. Оно ответит так, как отвечает социал-демократическое правительство в Германии. Оно даст свинец вместо хлеба. Так приход к власти рабочего правительства не только не приведет к гармонии интересов труда и капитала, не только не приведет к смягчению классовой борьбы, а уже в ближайшие месяцы обострит борьбу, а вместе с тем и разочарование в массах, которые получат предметный урок мирного врастания в социализм, предметный урок внеклассового правительства, предметный урок гармонии труда и капитала, предметный урок мира в промышленности. И тогда происходящие в настоящее время молекулярные процессы, свидетельствующие о серьезном сдвиге в массах, повлекут за собою бурное движение влево, то движение, которое компартия Англии предсказывала на выборах.

* * *

На фоне этой гигантской победы Рабочей партии может показаться ничтожным результат, полученный английской компартией. Английские и европейские реформисты в этом смысле и ведут пропаганду. С одной стороны, 8 300 тыс. голосов, а с другой — 50 000 — смотрите, как ничтож-

на коммунистическая партия! Это ли не свидетельствует о крахе коммунизма? — восклицают они. Эти предсказания преждевременны. Что произошло на выборах в Англии? Мы уже говорили о том, что в массах была иллюзия, что приход к власти Рабочей партии означает немедленное улучшение их положения. В связи с этим на выборах происходило следующее. На многих митингах рабочие внимательно слушали коммунистических ораторов, подтверждали их анализ, но говорили им: «Дайте, мы еще раз проголосуем за Рабочую партию, может быть что-нибудь из этого выйдет». Это настроение выразил один горняк, сказав коммунистическому оратору: «Во имя спасения наших голодных детей, дайте нам еще раз проголосовать за Рабочую партию». В массах была надежда немедленно что-то получить, и многие рабочие, сочувствуя коммунистическим ораторам, все же думали: лучше голоснуть за Рабочую партию, авось из этого что-нибудь и выйдет. И они голоснули.

Английская компартия на этих выборах, проводя политику: класс против класса, шла буквально против течения, но она все же шла против него. Если бы она на этих выборах продолжала старую тактику, она совершенно исчезла бы с политической поверхности. Несмотря на небольшое количество голосов, полученных компартией, рабочие запомнят, что компартия предупреждала их от иллюзий, говорила им, что рабочее правительство их обманет, и предсказывала неизбежное предательство Макдональдов, Клайнсов, Веббов, Томасов и других. Если во время выборов это не дало больших результатов, то через 6—12 месяцев рабочие вспомнят о той партии, которая одна против всех остальных трех партий выступала с бичующим словом правды, страстно клеймя лицемеров и ханжей из консервативной, либеральной и Рабочей партий. Когда начнется волна боев и Рабочая партия будет метаться в поисках «национальной политики», помогая буржуазии подавлять рабочее движение, тогда рабочие вспомнят боевую коммунистическую партию и начнут собираться вокруг ее знамен.

Вот почему нас мало трогают презрительные словечки реформистских писак по поводу английской компартии и пророчества о гибели коммунизма в Великобритании. Мы еще посмотрим, как повернутся дела через год. Макдональд еще до вступления в отправление обязанностей управдела заявил, что он сделает все, для того чтобы правительство было устойчиво и продержалось у власти не менее двух лет. Будет ли оно у власти два года или меньше мы не знаем; но за этот период произойдут глубочайшие изменения в недрах английского рабочего класса, произойдет грандиозный сдвиг влево: это не подлежит ни малейшему сомнению.

* * *

Классическая система, существовавшая на протяжении долгих лет в Англии, система двух партий, была, как известно, в начале XX столетия нарушена выступлением на политическую арену трэдюнионов, создавших свою Рабочую партию. Четверть века борьбы, война, послевоенный кризис, гигантские классовые сдвиги в самой Англии — все это вместе создало такую перегруппировку сил, что в Англии происходит как будто бы возвращение к двухпартийной системе. Хотя либералы получили больше 5 миллионов голосов, но совершенно очевидно, что они играют явно подчиненную роль. Ход классовой борьбы, перегруппировка в рядах господствующих классов нарушили границы старых буржуазных партий. Было время, когда консерваторы представляли землевладение, а либералы промышленный капитал. Это время прошло. Интересы землевладения и интересы промышленного и финансового капитала настолько переплелись,

что старые грани стерлись. Уже во время войны Ллойд Джордж возглавлял блок либералов и консерваторов. Сейчас происходит процесс расслоения во всех партиях, и дело идет к тому, что основная масса консервативной и либеральной партий в недалеком будущем объединится в единую партию, а часть либералов и избирателей либеральной партии отойдет к Рабочей партии, которая по существу заняла прежнее место либералов в системе английской конституции.

Значит ли это, что в Англии произойдет возвращение к двупартийной системе? Нет. По мере диференциации в недрах либеральной партии и присоединения отдельных ее частей к консерваторам и либералам будут происходить также процессы диференциации Рабочей партии. В недрах ее будет расти недовольство, будет накапливаться революционная энергия, которая найдет свое выражение в отколе и превращении коммунистической партии Англии в массовую партию. Таким образом через разложение либералов и диференциацию Рабочей партии на крайнем левом фланге вырастет массовая компартия, и Англия, через целую систему внутренних сдвигов, перегруппировок, диференциаций и размежеваний, вновь придет к трехпартийной системе, но уже совершенно другого типа.

* * *

Приход к власти Рабочей партии в 1924 г. возбудил значительные пацифистские иллюзии в широких слоях не только английского, но и международного пролетариата. Поэтому V конгресс Коминтерна отметил в своих решениях наступление эры пацифистских иллюзий. Можно ли говорить сейчас о новой эре пацифистских иллюзий? Нет. Даже наиболее пламенные энтузиасты из германской социал-демократии не ждут ничего особенного от пришествия к власти Рабочей партии. Обстановка не та, и кроме того уже имеется опыт. Сейчас в рабочих массах будет выжидательное настроение. Дело идет о тех рабочих, которые несколько лет тому назад питали надежды на это правительство. Даже социал-демократические рабочие континента отнесутся к этому мирному врастанию в социализм с недоверием. Они вспомнят свои собственные разочарования и скажут: подождем — увидим.

Сейчас нельзя говорить об эре пацифистских иллюзий, ибо социал-демократическая практика последних лет разрушает всякие иллюзии о безболезненном превращении капитализма в социализм. Наиболее блестящим примером является Германия с ее социал-демократическим правительством. Чем отличается правительство Германа Мюллера от правительства Вирта — ни один рабочий не сможет сказать. Но может быть оно чем-нибудь отличается от правительства Куно? Тоже нет. Германская социал-демократия настолько вросла в буржуазное государство, настолько слилась с господствующими классами, что она стала одной из партий буржуазии. То же самое и в Англии. Перед нами любопытный процесс врастания социал-демократических партий в буржуазное государство и превращение этих партий в орудие господствующих классов. То, что имело место в Германии уже несколько раз за послевоенный период, то сейчас происходит в Англии в более расширенных размерах, ибо в Германии коалиционное правительство, а в Англии «чисто» рабочее правительство, но результат один и тот же. Этот социал-демократический опыт в Германии, в Англии и в Дании, намечающаяся коалиция между социалистами и радикалами во Франции свидетельствуют о том, что господствующие классы выдвигают другую смену для проведения своих планов. Будет ли означать это ослабление опасности войны? Ни в коем случае. Война будет подготов-

ляться под гром пацифистских фраз, она придет при помощи героев II и Амстердамского интернационалов.

Пришествие к власти партии II Интернационала не ослабит ненависти капиталистического мира против СССР и мировой революции. Опыт показал, что эти партии сейчас выступают цепными собаками буржуазии в борьбе против революционного пролетариата. Вот почему в качестве вывода из нынешнего положения мы можем повторить то, что мы говорили в 1924 г. во время первого правительства Макдональда: никаких иллюзий, суровая и беспощадная борьба против героев II Интернационала, против тех, кто под флагом пацифизма и социалистических фраз будет угнетать колониальные народы, готовить империалистическую войну и поход капиталистического мира на первую республику труда.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

По наклонной плоскости.

(По поводу английских выборов.)

Обсервер.

1. Факты и цифры.

30 мая «старая, веселая Англия» выбирала свой новый парламент. По известной поговорке, британский парламент «все может, — он не может только женщину превратить в мужчину». Эта поговорка сложилась, видимо, в очень давние времена, когда буржуазная демократия находилась на верщине своего расцвета. Сейчас, в эпоху заката капитализма, когда Муссолини и Пилсудские грубо топчут сапогом принципы либерализма, насчет всемогущества британского парламента могут быть большие сомнения. Однако не приходится все-таки отрицать, что в нащи дни он является не только самым древним, но и самым влиятельным среди парламентов мира. В атмосфере всеобщего погрома «демократических принципов» английская палата общин сумела сохранить в своих руках еще сравнительно очень большую дозу реальной власти. Вот почему голосование 30 мая заслуживает серьезного внимания со стороны советского читателя. Оно в значительной мере определяет собой общие линии развития Англии, состав ее правительства и направление ее политики на протяжении ближайщего будущего. Оно вместе с тем знаменует собой определенный этап в послевоенной эволюции страны.

Каковы же важнейщие факты и цифры, характеризующие это столь знаменательное событие?

Три факта невольно бросаются в глаза, когда внимательнее приглядываещься к английским выборам.

Первый факт — это внешняя вялость избирательной кампании, которую отмечают все наблюдатели последних событий. Участникам кампании как будто бы нехватало энтузиазма и увлечения, отмечавших обычно в прежние годы каждые парламентские выборы. Большую ошибку, однако, сделал бы тот, кто от этой внешней вялости умозаключил бы к малому интересу населения к выборам.

Второй факт — это необычайная тусклость и ординарность избирательных программ трех больщих партий, т. е. консерваторов, либералов и рабочих. Ни ярких лозунгов, ни смелых требований, ни сколько-нибудь оригинальных выступлений! Все буднично, серо и наредкость респектабельно. Только Ллойд Джордж попытался было внести в избирательную кампанию несколько оживления, выдвинув проект крупного займа для больщих строительных работ, которые одним ударом должны вдвое сократить безработицу, — однако и этот ловкий щаг не сумел зажечь ярких

красок на бледном фоне нынешних выборов. В конечном счете все три программы оказались до странности похожими друг на друга, — факт, ярко иллюстрирующий политическую физиономию Рабочей партии наших дней. Если бы не участие коммунистов в выборах, бросивших в массы действительно сильные и революционные лозунги, можно было бы подумать, что в Англии нет пролетариата.

Третий факт — это громадный процент участия в выборах. Из 28 млн. избирателей голосовало 23 млн., т. е. свыше 80%. На вы орах 1924 г., отличавшихся большой оживленностью (достаточно вспомнить хотя бы знаменитое «письмо Зиновьева»), число участников голосования не подымалось выше 76%. Вот как трудно по внешним признакам судить о подлинном настроении английского избирателя!

Ну, а что говорят цифры?

Язык их очень красноречив и выразителен.

Если сопоставить данные двух последних избирательных кампаний 1924 и 1929 гг., то получим следующую картину:

Годы	Консерваторы		Рабочая партия		Либералы	
	Голоса (в тыс.)	Мандаты	Голоса (в тыс.)	Мандаты	Голоса (в тыс.)	Мандаты
1924	8 000	415	5 500	151	3 000	43
1929	8 500	255	8 300	289	5 200	57

Из приведенной таблицы можно сделать несколько весьма важных выводов.

Во-первых, английская избирательная система как будто бы нарочно создана для того, чтобы искажать действительное соотношение сил среди избирателей. Как известно, она основана на принципе относительного большинства. Если, например, в каком-либо округе один кандидат получил 17 тыс. голосов, второй — 15 тыс. и третий — 13 тыс., то избранным считается первый, несмотря на то что он собрал всего лишь 38% всех поданных голосов. Такая избирательная система открывает широкое поле для всякого рода случайностей, от которых больше всего страдает наиболее слабая из борющихся партий. Судьба либералов является тому чрезвычайно яркой иллюстрацией.

Во-вторых, цифры 1929 г. с полной несомненностью свидетельствуют о жестоком поражении консерваторов, ибо число их голосов по сравнению с 1924 г. осталось почти стабильным, несмотря на общее увеличение количества избирателей почти на 6 млн. (благодаря понижению избирательного возраста для женщин с 30 до 21 года), а число мандатов упало с 415 до 255, т. е. на 160.

В-третьих, те же цифры 1929 г. громко говорят об очень крупном успехе Рабочей партии, увеличившей по сравнению с 1924 г. число своих голосов почти на 3 млн., т. е. на 50%, и почти удвоившей число своих мандатов. В нынешнем парламенте Рабочая партия несомненно является самой сильной партией. Тем не менее победа ее отличается половинчатым характером, так как она не сумела получить самостоятельного большинства в палате.

В-четвертых, наконец, итоги голосования показывают, что так как ни одна из партий не располагает собственным большинством в парламенте, то создание правительства возможно лишь на базе коалиции (в прямой

или косвенной форме) двух партий. Отсюда чрезвычайно важная роль либералов, в руках которых в сущности находится ключ к положению.

Особо стоит отметить выступление коммунистической партии на нынешних выборах. Оно увенчалось пока довольно скромным успехом, — коммунисты собрали только 60 тыс. голосов. Однако это едва ли может их особенно обескуражить. Рабочая партия начала свою парламентскую карьеру с того, что на выборах 1900 г. получила 62 тыс. голосов, а сейчас под ее знаменами стоит свыше 8 млн. У британской компартии перспективы сейчас не худшие, а значительно лучшие, чем те, которые 29 лет назад открывались перед партией Макдональда.

Такова внешняя картина только что закончившихся выборов. Каково ее внутреннее содержание?

2. Чего хотела Англия от войны?

По странной прихоти истории нынешние выборы почти совпадают с десятилетним юбилеем Версальского мира. Это знаменательное совпадение. По-настоящему понять значение голосования 30 мая можно, только подведя кое-какие итоги послевоенному развитию Великобритании.

Прежде всего какой внутренний смысл имела для английского империализма война 1914—1918 гг.? Чего хотел, чего ожидал правящий Лондон от войны?

Война нужна была господствующим классам Великобритании по соображениям двоякого порядка — экономическим и политическим.

Экономические соображения были очень просты, но вместе с тем весьма убедительны. К началу XX столетия конкуренция Соединенных штатов и Германии на мировом рынке стала подрывать почву под вековой гегемонией британский промышленности. Особенно опасным соперником являлась Германия, географически находившаяся в непосредственной близости от Англии, уверенно теснившая ее на всех европейских и многих внеевропейских рынках и бесцеремонно наводнявшая волной своих дешевых товаров даже пределы самой Великобритании. Молодая и гибкая буржуазия Германии, на базе высокой техники и рационализации производства, по всему фронту била старую и неповоротливую буржуазию Англии, насквозь пропитанную высокомерным чванством и окостенелыми традициями прошлого. Чтобы сохранить свои экономические позиции, чтобы остаться «мировой фабрикой», стригущей во славу своего кармана остальное человечество, капиталистическая Англия не видела иного пути, как только сокрушительный удар по хозяйственному могуществу своего опасного конкурента. Война таким образом должна была надолго (если не навсегда) обескровить Германию экономически и укрепить положение Англия на мировом рынке.

Не менее серьезны были и политические соображения, толкавшие британский империализм в том же направлении. С очень давних пор основным принципом европейской политики Англии было поддержание так называемого «равновесия» на континенте. Конкретно это означало стремление к такому положению вещей, когда на европейском материке нет никакого государства-гегемона, а наоборот имеется несколько более или менее равносильных держав, взаимная борьба и соперничество которых, искусно поддерживаемые британской дипломатией, предотвращают как появление государства-гегемона, так и образование какой-либо опасной коалиции против Англии. Если же какая-либо страна все-таки становилась слишком могущественной, если ей все-таки удавалось превратиться

в доминирующий фактор европейского «концерта», Великобритания начинала против нее истребительную борьбу и не успокаивалась до тех пор, пока грозный соперник не оказывался разбитым наголову. Так было с Голландией в XVII веке, так было с Францией в XVIII и начале XIX веков. Голландия, как известно, в результате длительных и упорных войн с Англией из первоклассной державы превратилась в маленькое политическое захолустье, а Франция, после разгрома Наполеона I, почти на целое столетие вышла из строя опасных соперников Великобритании.

И вот теперь, в начале XX века, империалистическая Германия стала тем, чем Франция была в XVIII столетии! Империалистическая Германия была несомненным гегемоном европейского континента, и острие ее политической мощи все определеннее обращалось против Англии. Это постоянно обнаруживалось в тысячах крупных и мелких вещей, но ярче и опаснее всего выявлялось в двух вопросах — так называемом «ближневосточном» вопросе и в вопросе о морских вооружениях.

На Ближнем Востоке Германия через постройку знаменитой Багдадской железной дороги стремительно шла к экономическому и политическому захвату Балкан и Малой Азии, что являлось величайшей угрозой для британских владений в Индии и Египте.

На море Германия поставила себе задачей сравняться с Англией в размерах и боеспособности военного флота, что ставило под удар господство Великобритании на водных путях, а стало быть самое существование ее разбросанной по всем концам земли исполинской империи.

Чтобы сохранить свою мировую политическую гегемонию, чтобы спасти Индию и Египет, чтобы удержать господство на море и обеспечить дальнейшее существование своей империи, капиталистическая Англия точно так же не видела иного пути, как только смертоносный удар по военно-политической мощи Германии.

Итак, с точки зрения британского империализма война 1914—1918 гг. в первую очередь должна была разрешить две, тесно связанные друг с другом задачи:

Во-первых, уничтожить Германию, как опасного конкурента на мировом рынке, и тем самым укрепить начавшие шататься экономические позиции Англии.

Во-вторых, уничтожить Германию как грозного военно-политического антагониста и тем самым обеспечить свою гегемонию в сфере международных отношений.

Разрешила ли война эти задачи?

Ни в коей мере. Капиталистическая Англия испытала жесточайшее разочарование. Почему, мы это сейчас увидим.

3. Что дала война Англии в сфере экономической?

Первые полтора года после окончания войны ознаменовались в Великобритании (как, впрочем, и во всех других участвовавших в войне странах) колоссальным «бумом», необычайным оживлением промышленности и торговли, высокими ценами и, казалось, совершенно ненасытным спросом на товары. Фабрики задыхались под лавиной заказов, а купцы, не успевали удовлетворять покупателей. Однако это кратковременное процветание было единственным плюсом, принесенным английскому капитализму мировой войной.

За ним последовали многочисленные минусы, вся серьезность которых прекрасно иллюстрируется нижеследующими цифрами.

Добыча угля представляет такую картину:

Годы	Млн. *т.*	%
1913	287	100
1924	271	94
1928	242	84

Иными словами, в послевоенные годы добыча черного топлива систематически падала и в 1928 г. составляла лишь 84% довоенной.

Выплавка чугуна и стали развивалась не лучше (в млн. *т*):

Годы	Чугун	%	Сталь	%
1913	10,3	100	7,8	100
1924	7,4	72	8,3	106
1928	6,7	65	8,7	112

Как видим, производство чугуна по сравнению с 1913 г. упало на 35%, а производство стали возросло на 12%. По обоим же продуктам вместе продукция 1928 г. составляет только 85% довоенной. При этом весьма характерно, что даже и по более благополучной стали в самое последнее время наметилась понижательная тенденция. В самом деле, выплавка стали в 1927 г. составляла 9,2 млн. *т*, а в 1928 г. — только 8,7 млн. *т*. Что же касается потребления железа (т. е. чугуна и стали вместе) в стране, то в послевоенный период оно систематически сокращается: если потребление 1924 г. принять за 100, то потребление 1928 г. составит только 88.

Еще более резкое падение наблюдается в текстильной промышленности, что отчетливее всего может быть измерено цифрами ввоза хлопка (в миллионах центнеров):

Годы	Ввоз	%
1913	21,6	100
1924	15,6	72
1928	13,2	61

Таким образом производство 1928 г. составляло меньше двух третей довоенного.

Три важнейших отрасли промышленности, на которых всегда стояла экономическая и политическая мощь британского капитализма, в послевоенные годы обнаруживают явственные признаки депрессии и увядания. Надо ли удивляться при таких обстоятельствах, что и внешняя торговля Англии точно так же носит на себе следы болезненных явлений? Основная беда ее состоит в том, что импорт в страну систематически растет (да иначе и не может быть ввиду роста населения), сейчас значительно превышая довоенный уровень, между тем как экспорт, которым приходится платить за ввозимые продукты, все никак не может достигнуть довоенных размеров. Вот что в самом деле говорят цифры:

Годы	Импорт	Экспорт
1913	100	100
1924	104	76
1928	112	80

Из приведенной таблицы ясно, что импорт 1928 г. на 12% выше, чем импорт 1913 г., причем весьма характерно, что возрастание импорта приняло особенно быстрый характер в последнее пятилетие. Наоборот,

экспорт 1928 г. не превышает 80% довоенного, причем за последние пять лет он обнаружил лишь весьма медленный рост.

В связи с тяжелой депрессией, поразившей в послевоенные годы английское народное хозяйство, колоссально увеличилась по сравнению с довоенным временем безработица. Уровень безработицы среди членов трэдюнионов составлял:

Годы	%
1913	2,1
1924	8,1
1928	10,8

Отсюда ясно, что сейчас безработица в пять с лишним раз превышает довоенную, причем — и это особенно важно — в послевоенные годы она приобрела упорно-хронический характер. Начиная с 1920 г., число зарегистрированных безработных в стране никогда не падает ниже одного миллиона.

Приведенные данные в высшей степени красноречивы. Было бы слишком поспешно, конечно, делать из них тот вывод, что Англия стоит накануне экономической катастрофы. Нет, процесс загнивания британского империализма еще не зашел так далеко. Правящая Англия имеет еще весьма серьезные резервы — накопленные в течение XIX века громадные капиталы, исполинскую империю с бесконечным разнообразием естественных богатств, колоссальный опыт в деле эксплоатации масс в метрополии и в колониях. Все это весьма важные плюсы, значение которых было бы опасно недоучитывать. Но все-таки не подлежит сомнению один, чреватый всемирно-историческими последствиями факт: британский империализм со времени войны 1914—1918 гг. явно вступил в полосу медленного, но неуклонного упадка. Война не только не принесла ему обновления, процветания и укрепления, но наоборот толкнула на путь разложения и заката.

В чем же дело?

А все дело в том, что вместо одной Германии Англия теперь имеет по крайней мере четырех крупнейших конкурентов — Соединенные штаты, Францию, Италию и Японию. Все они колоссально развили свою промышленность за время войны и все они затопляют сейчас мировой рынок непрерывной струей товаров. Мало того. Разгромленная, обескровленная и полузадушенная Германия сумела за минувшие 10 лет частично залечить свои кровоточащие раны и вновь превратиться в великую индустриальную державу. Сейчас Германия еще раз выступает могущественным соперником Англии в экономической сфере, тем самым еще более осложняя положение британского империализма. Мировой рынок явно становится тесен. В наши дни он гораздо теснее, чем был накануне войны. И пока не видно, чтобы ближайшие перспективы открывали какие-либо просветы пред капиталистической Англией.

В предыдущем изложении мы везде отмечали даты — 1924 и 1928 гг.— Это не случайность. Лежащий между указанными датами период представляет для нас сейчас особый интерес. 1924 г. — год прихода к власти кабинета Болдуина, 1928 г. — последний полный год господства консерваторов. Став у кормила правления, консерваторы самоуверенно обещали стране задержать попятное движение британской экономики, облегчить положение промышленности, поднять торговлю, вообще изжить послевоенный кризис и вернуть Англии «добрые старые времена».

А что получилось в действительности?

Вышеприведенные цифры с несомненностью доказывают, что все велеречивые посулы консерваторов, как и следовало ожидать, оказались пустой болтовней. Пятилетнее господство Болдуина ни на иоту не улучшило экономического положения Англии. В этой области консерваторы оказались полными банкротами.

4. Что дала война Англии в сфере международно-политической?

Не больше счастья имел британский империализм и в сфере международных отношений.

Правда, Германия как военно-политический антагонист в результате мировой войны была сломлена и надолго вышла из игры. Даже сейчас, десять лет спустя после заключения Версальского мира, она не представляет собой сколько-нибудь серьезной опасности для Англии. Ее международное влияние очень невысоко (особенно во всем, что касается столь важных для британского империализма колониальных проблем), а ее армия и флот едва превосходят размеры обыкновенной полицейской охраны. Конечно, высокое развитие техники и науки создает хорошие предпосылки для быстрого превращения Германии в крупную военную державу при первом благоприятном случае, тем не менее не будет все-таки преувеличением утверждать, что война 1914—1918 гг. в деле уничтожения военно-политического могущества немецкого империализма в общем и целом разрешила ту задачу, которую ей ставила правящая Англия.

Однако и здесь с вождями последней случилось то же самое, что и в области экономики. На место одной отрубленной головы гидры немедленно появилось несколько новых. В результате международно-политическое положение Англии после войны не только не укрепилось, а наоборот значительно ослабело. Три момента играли в этом отношении решающую роль.

Во-первых, необычайное возрастание военно-политического могущества Франции. В результате Версальского мира с его репарациями, разоружением и расчленением Германии, Париж фактически превратился в гегемона европейского континента. Располагая сильнейшей в мире сухопутной армией и чрезвычайно многочисленным воздушным флотом, имея к своим услугам целый ряд вооруженных до зубов вассалов (Польша, Югославия, Чехо-Словакия, Румыния и т. д.), связанных с ним многочисленными тайными и явными договорами, французский империализм после войны стал настоящим хозяином континентальной Европы. Пресловутое «равновесие», ради сохранения которого британский империализм вступил в войну с Германией, после Версальского мира так и не было восстановлено. Изменились только имена нарушителей этого «равновесия»: до 1914 г. таким нарушителем была Германия, после 1918 г. им стала Франция. Англия от этой перемены решительно ничего не выиграла. Наоборот, ее положение сделалось, пожалуй, еще более затруднительным, чем перед войной, ибо Париж географически расположен ближе к Лондону, чем Берлин. Сверх того экономическое и политическое могущество послевоенной Британии значительно ниже, чем Британии довоенных дней. Вот почему влияние Франции на политику Англии в наше время гораздо сильнее, чем было влияние Германии на политику Англии перед войной.

Во-вторых, еще более крупную роль в ослаблении международно-политического положения Великобритании сыграли колоссаль-

ное **увеличение мощи Соединенных штатов и все более обостряющееся противоречие интересов между Лондоном и Вашингтоном.** На Версальской конференции и в первые послевоенные годы вожди британского империализма лелеяли мечту о создании политического англо-американского «треста» для совместного господства над миром или по крайней мере для добрососедского раздела земного шара на «сферы влияния» между обоими контрагентами. Отсюда единодушные выступления Англии и Соединенных штатов на Вашингтонской конференции 1921—1922 гг., отсюда ликвидация англо-японского союза, отсюда болдуиновское соглашение 1923 г. об уплате военных долгов Америке.

Однако эти иллюзии не могли долго держаться. Неумолимая логика империалистической борьбы все чаще стала приводить в открытое столкновение интересы Лондона и Вашингтона. Противоречия между ними с полной отчетливостью выступают ныне во всех концах земли, но с особенной яркостью — в Канаде, в Латинской Америке и в Китае. Здесь идет неустанная и все обостряющаяся борьба между английским и американским капиталом (как в сфере торговли, так и по линии инвестиций), причем в Канаде и отчасти в Латинской Америке американский капитал уже добился несомненного преобладания. Все резче обнаруживаются также противоречия между Лондоном и Вашингтоном в Европе, ставшей за последние годы полем весьма широкого вложения американского капитала [1]). Не менее остра борьба между Англией и Соединенными штатами в нефтяной сфере. И то же самое — в области морских вооружений. Достаточно напомнить хотя бы неудачную «морскую конференцию» 1927 г., взорванную столкновением интересов между английским и американским империализмом. Было бы ошибкой преувеличивать степень обострения борьбы между Лондоном и Вашингтоном, достигнутую в настоящее время, и пророчествовать о неизбежности военного конфликта между ними уже завтра. Конечно, эта борьба не зашла еще так далеко. Конечно, у обоих империализмов имеются еще довольно широкие возможности для маневрирования, для оттягивания и лучшей подготовки войны. Не исключены еще попытки пацифистского замазывания нарастающих противоречий. Однако все это не в состоянии изменить одного основного факта — факта стихийно углубляющейся и расширяющейся борьбы между британским и американским империализмом, борьбы, которая не может быть разрешена иначе как только путем новой мировой войны. И для всякого непредубежденного наблюдателя совершенно ясно, что в этом грядущем конфликте шансы Англии на победу гораздо меньше, чем шансы ее были в 1914 г.

В-третьих, наконец, чрезвычайно важное значение в ослаблении международно-политического могущества Великобритании после войны имело еще одно обстоятельство — **Октябрьская революция и нарождение СССР.** Конечно, республика трудящихся желает только мира. Она не ведет борьбы с другими великими державами за те или иные «интересы», за те или иные «сферы влияния». Однако самый факт появления и существования первого в истории человечества рабоче-крестьянского государства радикально меняет все соотношения сил на мировой арене. Этот факт будит сознание всех угнетенных и порабощенных народов земли, воспитывает в них веру в свои силы и в свое будущее, вдохновляет их на упорную и самоотверженную борьбу за свое освобож-

[1]) По данным 1927 г., в Европе (главным образом в Германии, Италии и Польше) было вложено 4 327 млн. долларов, из общей суммы американских инвестиций за границей (не считая военных долгов) в 14½ миллиардов долларов.

дение. Турция, Персия, Афганистан, Китай являются прекрасной иллюстрацией только что высказанной мысли. И поскольку экономическое и политическое могущество британского империализма покоится в первую очередь на эксплоатации угнетенных восточных народов, рождение СССР создает для него такие трудности, каких он не испытывал перед войной.

Если суммировать все сказанное выше, то станет совершенно ясно одно: *международно-политическое положение Англии сейчас значительно слабее, опаснее и неувереннее, чем оно было накануне 1914 г.*

Что же дала в таком случае британскому империализму война?

Ничего, — кроме новых и гораздо больших затруднений.

И опять, никогда вся острота и вся роковая опасность этих затруднений не обнаруживались так отчетливо, как в период пятилетнего господства правительства Болдуина. Именно в этот период, начатый пацифистскими декламациями Чемберлена о мире всего мира и о торжестве в международных отношениях «духа Локарно», в чрезвычайной степени усилилась военно-политическая мощь Франции. Именно в этот период даже слепому стала ясной полная безнадежность всяких разговоров о «разоружении». Именно в этот период впервые с резкой отчетливостью обнаружились глубокие противоречия между английским и американским империализмом, и со стороны Лондона были сделаны первые шаги к созданию вместе с Францией и Японией «Новой Антанты», острием своим обращенной против Соединенных штатов. Именно в этот период перед умственным оком всего человечества с небывалой яркостью встала грозная перспектива новой, еще более ужасной и разрушительной мировой войны.

Господство консерваторов и в данной области ознаменовалось полным банкротством.

5. На пути к распаду империи.

Впрочем, война 1914—1918 гг. не ограничилась только указанным. Она принесла в своем лоне еще целый ряд других затруднений для британского империализма, среди которых особого внимания заслуживает крайнее *усиление центробежных тенденций* в гигантском организме Британской империи. Эти тенденции родились еще задолго до 1914 г., но в предвоенный период их развитие шло чрезвычайно медленно, почти черепащьим шагом. Война круто изменила такое положение. Если окинуть одним общим взглядом последнее десятилетие, то с полной очевидностью обнаружится один полный величайшего значения факт: за указанный период Британская империя сделала большой шаг вперед на пути к своему распаду.

Вспомним в самом деле важнейшие моменты.

Имперская конференция 1926 г. выработала новую конституцию Британской империи, согласно которой все самоуправляющиеся доминионы уравниваются в правах с метрополией. Этого мало. Представители доминионов сидят наряду с представителями Англии в Лиге наций, причем голосуют там далеко не всегда совместно с метрополией. Все важнейшие вопросы британской политики Лондон в настоящее время вынужден решать не самостоятельно, а лишь после предварительного опроса доминионов. Были случаи, когда Лондон предпринимал серьезные шаги в международной политической сфере без предварительного согласования

вопроса с доминионами,— тогда доминионы отказывались брать на себя вытекающие из этих шагов обязательства.

Но это еще далеко не все. Канада признала необходимым иметь свое собственное дипломатическое представительство за границей наряду с британским. Вопреки сопротивлению Лондона она добилась права иметь своих посланников в Вашингтоне, Париже и Токио. Южная Африка несмотря на сопротивление Лондона заключила самостоятельный торговый договор с Германией. Ньюфаундленд обнаруживает явную готовность примкнуть к северо-американской федерации.

Немногим лучше положение в крупнейших колониях Великобритании.

В Египте Лондон был вынужден согласиться на введение конституции 1922 г., формально признающей независимость этой страны. Правда, англичане попрежнему оккупируют зону Суэцкого канала и фактически держат в своих руках столицу государства. Правда, они до сих пор делают в Египте политическую погоду, сменяют и назначают местные правительства. Однако с каждым годом им становится все труднее хозяйничать на Ниле. Национальное самосознание египетского народа растет, а вместе с ним в чрезвычайной степени укрепляются тенденции к полному отделению Египта от Англии, к окончательному выходу его из состава Британской империи.

В Индии в результате бурного подъема национального движения после окончания войны британское правительство вынуждено было пойти на значительные уступки местной буржуазии и провести реформы 1919 г., создававшие некоторую видимость конституционного режима в колонии. Это, однако, не успокоило население. В последующие годы Индия явилась ареной необыкновенно широкого «свараджистского» движения, руководимого Ганди, движения половинчато-трусливого и политически-реакционного, но свидетельствовавшего, тем не менее, о дальнейшем укреплении идей национальной самостоятельности. 1928—1929 гг. принесли в Индию новую волну национального движения, в которой на этот раз чрезвычайно крупную роль уже играет пролетариат. Нынешняя волна находится еще лишь на первых ступенях своего развития. Она катится, она подымается все выше и выше, и пока еще трудно предсказать, к каким результатам она приведет. Одно во всяком случае несомненно: в сложном и трудном процессе борьбы Индии за свою независимость сделан новый и многообещающий шаг вперед.

О чем свидетельствуют все вышеприведенные факты?

Внутренний смысл их не может вызывать никаких сомнений. Правящая Англия внутри своей империи наталкивается на ряд величайших трудностей, ставящих под удар самые основы ее экономического и политического господства. И если проследить внимательно события последнего пятилетия, то окажется, что и в данной сфере правительство Болдуина не может похвастаться ни одним сколько-нибудь серьезным успехом. Консерваторы обнаружили полное бессилие перед зловещим процессом постепенного гниения и распада империи.

6. Обострение классовой борьбы в метрополии.

Ну, а в самой Англии, в сфере развития ее внутренних отношений, чем ярче всего характеризовался послевоенный период? Какие изменения, какие сдвиги вызвала мировая война?

На поставленный вопрос не может быть двух ответов. Минувшее десятилетие было ознаменовано совершенно беспримерным

обострением классовой борьбы в Великобритании, невольно вызывающим в памяти образы и масштабы чартистской эпохи. Эта тенденция находила свое проявление в целом ряде крупных и мелких фактов, но больше всего она сказывалась в необычайно могущественном развитии стачечного движения. Среднее ежегодное число бастующих в предвоенный период не превышало 300—400 тыс. чел.,— а на протяжении минувшего десятилетия оно составляло около 1 300 тыс. Отдельные стачечные конфликты принимали поистине исполинский характер. Таковы, например, стачки горняков в 1919 и 1920 гг., локаут текстильщиков в 1921 г., локаут металлистов в 1922 г. и т. д.

Наряду с чисто экономической борьбой колоссально возросла и политическая активность пролетариата. Она нашла свое выявление в создании Британской компартии в 1920 г., в громадном росте числа голосов, подаваемых на парламентских выборах за Рабочую партию, и особенно в стихийном сочувствии английских рабочих масс к русской революции и к советским республикам. В эпоху польско-советской войны только бурное движение британского пролетариата удержало правительство Ллойд-Джорджа от активного участия в военных операциях на стороне Польши.

В высщей степени характерно, что своей высщей точки обострения классовая борьба в Англии достигла как раз в период последнего господства консерваторов. Всеобщая стачка 1926 г. и великая семимесячная борьба горняков, в которых приняли участие многие миллионы английских пролетариев, свидетельствовали о сильнейщем напряжении их революционной энергии. Правда, предательская политика руководящей верхущки сорвала возможный успех всеобщей стачки, а мобилизация всех сил господствующих классов привела к поражению оставленных на произвол судьбы горняков. Правда, в качестве неизбежной психологической реакции после этих неудач не только среди профсоюзной бюрократии, но также и среди известных кругов рабочего класса стали временно укрепляться идеи «промыщленного мира» как выхода из переживаемых затруднений. На несколько месяцев пыщным цветом распустился пресловутый «мондизм». Но логика классовой борьбы не знает пощады. Вся беспочвенность мечтаний о создании «промыщленной демократии» во второй половине 1928 г. была столь ярко демонстрирована поведением магнатов капитала, что даже такие заядлые реформисты, как Персель, Хикс и К-°, увидали себя вынужденными отгородиться от сладкогласного короля химической промыщленности Альфреда Монда (ныне лорда Мельчета). Не подлежит сомнению, что уже в самом ближайщем будущем щирокие массы английского пролетариата, преодолев усталость и разочарование, вызванные поражением 1926 г., вновь высоко подымут знамя классовой борьбы. Победа Рабочей партии на выборах только ускорит наступление этого момента.

Да и что удивительного? Относительная слабость классовой борьбы в довоенной Англии находила свое обоснование в том процветании британского капитализма, которое так ярко характеризовало его историю в XIX веке. Получая благодаря монопольной эксплоатации мирового рынка огромные сверхприбыли, английская буржуазия в состоянии была выбрасывать «кость» своему рабочему в виде относительно лучщих условий труда и тем самым предупреждать рост революционных настроений в пролетарских массах. Таким образом базой «промыщленного мира» предвоенной эпохи являлся блестящий экономический подъем английского капитализма. Сейчас положение совсем иное. Английский капитализм перестал быть гегемоном мирового рынка. Его со всех сторон теснят могу-

щественные конкуренты. Подъем его кончился,— в наши дни он медленно, но неудержимо катится по наклонной плоскости вниз, к своему закату. Сверхприбыли британской буржуазии отошли в область преданий, даже обыкновенные прибыли она может себе обеспечить лишь во все уменьшающемся размере. Господствующие классы Великобритании больше не в состоянии оплачивать «промышленный мир» в стране. Отсюда естественно и неизбежно растущее обострение классовой борьбы. К каким бы фокусам и трюкам ни прибегали велеречивые Монды и их союзники из профсоюзной бюрократии, железная логика этой борьбы в конечном счете должна сделать свое дело. Англия наших дней идет навстречу грандиозным классовым конфликтам, независимо от того, какая из трех больших партий будет стоять у власти.

7. Кто правит Англией?

Из предыдущего ясно, что первое послевоенное десятилетие с несомненностью обнаружило экономический и политический упадок британского империализма — упадок длительный, хронический и безнадежный. Кто же правил в течение этого десятилетия Англией? В чьих руках находилась фактическая власть?

Обратимся прежде всего к данным избирательной статистики.

На протяжении послевоенного десятилетия в Англии четыре раза состоялись парламентские выборы — в 1922, 1923, 1924 и 1929 гг. Сейчас будет небезынтересно сопоставить цифровые итоги этих выборов:

Годы	Консерваторы		Либералы		Рабочая партия	
	Голоса (в тыс.)	Мандаты	Голоса (в тыс.)	Мандаты	Голоса (в тыс.)	Мандаты
1922 .	5 384	346	4 186	117	4 236	144
1923 .	5 360	258	4 251	157	4 348	191
1924 .	8 000	415	3 000	43	5 500	151
1929 .	8 500	253	5 200	57	8 300	288

Приведенная таблица во многих отношениях весьма поучительна. Прежде всего она с несомненностью свидетельствует, что в послевоенные годы самый быстрый и устойчивый рост обнаруживает Рабочая партия. Действительно, за период 1922—1929 гг. число поданных за нее голосов возросло почти вдвое, причем особенно крупный скачок вверх произошел за последние пять лет. Сильный рост, хотя и значительно отстающий от роста Рабочей партии, заметен также и у консерваторов: число их голосов за тот же период возросло почти на 60%. Гораздо медленнее рост голосов либеральной партии — он не превышает 25%, причем выборы 1924 г. дают прямую потерю в 1 250 тыс. голосов. Особенного внимания заслуживают изменения, происшедшие за последние пять лет. Если сравнить цифры голосов 1924 г. и 1929 г., то окажется, что доля консервативных голосов упала с 46 до 39% и, наоборот, доля рабочих голосов возросла с 34 до 38%, а доля либеральных голосов поднялась с 20 до 23%. В настоящее время два крайние фланга — консерваторы и рабочие — приблизительно равносильны, каждый охватывая около двух пятых всего числа избирателей, последняя же пятая приходится на долю либералов. Избирательная

статистика таким образом дает нам право утверждать, что влияние консерваторов в стране систематически падает, а влияние Рабочей партии также систематически возрастает. Что касается либеральной партии, то ее влияние остается более или менее стабильным.

Однако если от количества голосов мы перейдем к числу полученных различными партиями парламентских мандатов, то картина получится совсем иная. Благодаря отсутствию в Англии пропорциональной системы, между числом голосов и числом мандатов лишь очень редко существует полное соответствие. Вышеприведенная таблица, впрочем, констатирует, что нынешняя избирательная система особенно благоприятствует консерваторам. Наиболее разительный пример тому — пресловутые «зиновьевские выборы» 1924 г., когда консерваторы, собрав лишь 46% всех голосов, получили свыше $^2/_3$ всех мандатов, а либералы, собравшие 20% голосов, должны были удовольствоваться только 7% мандатов. Рабочая партия также сильно пострадала на этих выборах (34% голосов и 25% мандатов), но все-таки не в столь разительной степени, как либералы.

Еще хуже обстоит дело, если от парламентских мандатов мы перейдем к составу правительств, державших в своих руках власть в послевоенный период.

В 1918—1922 гг. страной правил коалиционный кабинет Ллойд-Джорджа, который поддерживался в парламенте блоком из 326 консерваторов и 133 либералов. Таким образом коалиционное правительство, по крайней мере на 70%, было правительством консервативным.

В 1922—1923 гг. страной правили консерваторы (кабинеты Бонар Лоу и Болдуина).

В 1924 г. в течение девяти месяцев власть находилась в руках «рабочего правительства» Макдональда, существовавшего лишь благодаря попустительству либералов, так как Рабочая партия не имела собственного большинства в парламенте.

Наконец в 1924—1929 гг. власть находилась в руках консервативного кабинета Болдуина, потерпевшего поражение на последних выборах.

Итак, из девяти послевоенных лет страной только девять месяцев правили «рабочие», к тому же фактически располагавшие не властью, а лишь тенью власти. В течение остальных девяти лет и трех месяцев страной правили консерваторы, ибо коалиционное правительство Ллойд-Джорджа должно быть по всей справедливости причислено к лику консервативных кабинетов. Иными словами, несмотря на наличие формальной демократии и всяких буржуазных свобод, послевоенная Англия все время жила под господством наиболее крайних элементов буржуазной реакции.

И в этом не было ничего удивительного. Чем тяжелее положение британского империализма и чем острее классовая борьба в стране, тем более естественно, что буржуазия ставит у власти свои наиболее крепкие, надежные и агрессивные элементы. Либерализм был той роскошью, которую английская буржуазия могла себе позволять в эпоху, когда путь ее шел в гору и сама она пышно расцветала под золотым дождем мировых успехов. Но теперь, когда счастье решительно повернулось к ней спиной и когда на ее историческом горизонте все темнее сгущаются сумерки, такая роскошь становится неуместной. Вот почему в послевоенные годы руководящая роль в буржуазном лагере от Асквитов и Ллойд-Джорджей должна была перейти, и действительно перешла, к Болдуинам и Черчиллям.

8. Смысл нынешних выборов.

Голосование 30 мая отмечает собой определенную веху в послевоенном развитии британского империализма.

Сотни тысяч и миллионы избирателей из среды мелкой и средней буржуазии на этот раз отдали свои голоса Рабочей партии. Что означает этот факт?

Когда в октябре 1924 г. консерваторы одержали блестящую победу, ни для кого не составляло секрета, что своим торжеством они обязаны были как раз этим неустойчивым, колеблющимся элементам, ранее голосовавшим обычно за либералов, но теперь, в погоне за спокойствием, порядком, промышленным процветанием и международным миром, метнувшимся в сторону Болдуина. Пять лет спустя мы видим резкую перемену декораций: те самые люди, которые на «зиновьевских выборах» голосовали за консерваторов, сейчас голосуют за рабочих. Смысл этой эволюции совершенно ясен. Английский обыватель — этот пресловутый «man in the street» — разочаровался в способности консерваторов успешно разрешить трудности послевоенного периода и ставит теперь ставку на другого «хозяина» — на Рабочую партию: авось, Макдональд сумеет помочь?!

Нам едва ли нужно специально доказывать, что Макдональд так же мало, как и Болдуин, в состоянии изобрести тот спасительный рецепт, с помощью которого британский империализм мог бы вновь стать на ноги (ведь Макдональд является тоже представителем британского империализма!). Болезнь британского империализма слишком глубока и безнадежна для того, чтобы она могла поддаться исцелению в обстановке наших дней. Англия сейчас может искать своего спасения только на путях пролетарской революции, но для этого Макдональд так же мало пригоден, как и Болдуин.

Совершенно очевидно поэтому, что надежды английского обывателя еще раз будут биты. Вот почему есть все основания ожидать, что, разочаровавшись во всемогуществе Рабочей партии, он снова метнется в объятия консерваторов.

Когда и при каких обстоятельствах произойдет этот поворот, сейчас, конечно, сказать невозможно. Однако есть ряд соображений, заставляющих думать, что такой момент должен наступить сравнительно скоро.

Голосование 30 мая будет понято рабочими массами Англии как редкий шанс получить фунт мяса с английской буржуазии. За пять лет черной реакции у британского пролетариата накопилось много боли и много обид. Он не забыл ни понижения заработной платы, ни удлинения рабочего дня, ни расправы с профсоюзами после всеобщей стачки, ни поражений 1926 г., ни тяжелой безработицы, которой попрежнему не видно конца. Если широкие массы рабочих даже еще недостаточно созрели для того, чтобы уже сейчас всерьез поставить вопрос о диктатуре пролетариата, то они во всяком случае предъявят сейчас буржуазии весьма солидный счет, который вызовет чрезвычайное волнение в капиталистических кругах.

Голосование 30 мая и в британских колониях будет понято как редкий шанс припереть к стене ненавистного угнетателя-господина. В Индии, Египте, в Южной Африке, в Восточной Африке и в целом ряде других владений «английской короны» национальное движение сделает крутой скачок вверх. Если даже оно окажется еще не в состоянии всерьез поставить вопрос о полной независимости, оно все-таки примет столь угрожающие

для британского империализма формы, что британская буржуазия будет глубоко потрясена гневом и негодованием.

И то и другое не останется, конечно, без глубочайшего влияния на настроение господствующих классов. Консерваторы будут метать громы и молнии. Либералы придут в паническое состояние и в подавляющем своем большинстве бросятся в объятия консерваторов. Паника несомненно захватит и те промежуточные средне- и мелкобуржуазные элементы, которые на нынешних выборах голосовали за Рабочую партию. Дальнейшее понятно.

Если бы Рабочая партия была сделана из крепкого революционного теста, она сумела бы в такой обстановке найти правильный путь и, несмотря на бешеное сопротивление буржуазии, прочно утвердить в Англии господство пролетариата. Но так как Рабочая партия сейчас есть по существу не что иное, как третья партия буржуазии, ярче всего воплощающая ее колеблющееся мелкобуржуазное крыло, — то ход событий пойдет, конечно, совсем иначе. Вместе того чтобы решительно наступать, беря врага за горло, Макдональд будет трусливо топтаться на месте, искать гнилых компромиссов, путаться в сетях своих собственных противоречий, — пока, наконец, осмелевшая реакция не организует достаточно своих сил для того, чтобы нанести решительный удар Рабочей партии.

Однако пережитый опыт не пройдет даром для британского пролетариата. Сейчас он возлагает на Рабочую партию большие надежды. Сколь велики эти надежды, можно судить хотя бы по тому, что за коммунистов 30 мая было подано только 60 тыс. голосов. Для того чтобы в Англии создалась почва для массового революционного движения пролетариата, эти иллюзии должны быть рабочим классом изжиты, и притом изжиты не в теории, не на митингах и в газетах, а на собственном горьком опыте, на упрямых фактах жизни. Судьбы нынешнего парламента — и в этом не может быть ни малейшего сомнения — будут в сильнейшей степени способствовать классовому прозрению британского пролетариата. И когда избранные сейчас депутаты в конце концов разойдутся по домам, трудящиеся массы станут жадно искать коммунистического слова. Тогда в вековой истории английского рабочего класса откроется новая страница, — та страница, на рубеже которой четкими буквами написано: диктатура пролетариата.

Ибо британский империализм в наши дни медленно, но неудержимо катится по наклонной плоскости вниз, и страна стихийно идет к пролетарской революции.

Из литературной деятельности Воровского в Одессе.

Н. Мещеряков.

В период между 1907 г. и началом мировой империалистической войны перед большевистской партией вставали две основные задачи: с одной стороны, надо было сохранить всю непримиримую революционность программы и тактики, всю «неурезанность» революционных требований, сохраняя и усиливая для этого свои подпольные партийные организации, а с другой — распространить свою работу и влияние на возможно более широкие слои пролетариата и элементов, к нему примыкающих, при помощи умелого использования всех представлявшихся «легальных возможностей».

В жизни Воровского этот период почти совпал с его жизнью в Одессе (он был выслан оттуда в Вологду во второй половине 1912 г.). Живя в Одессе, Воровский вел энергичную работу в обоих указанных направлениях. С одной стороны, он руководил подпольной работой одесской большевистской организации, а с другой — вел поистине громадную работу по использованию местной легальной печати. Одесский период жизни Воровского характеризуется очень энергичной его работой в области литературы. Из литературно-критических статей, помещенных в сборнике «Литературные очерки» в период 1907—1912 гг., Воровским были написаны следующие статьи: «Н. А. Добролюбов», «Базаров и Санин. Два нигилизма», «В ночь после битвы», три статьи о М. Горьком, статья о Куприне, статья о И. Бунине, статья о С. Юшкевиче. Кроме того к этому времени относятся нигде до сих пор не напечатанные статьи «В кругу и вне круга» (о С. Юшкевиче), «Легенда старого замка» («Наше эхо», 1907 г., №7), две до сих пор нигде не напечатанные статьи о польском писателе Станиславе Красинском. Кроме того им были написаны ряд литературных фельетонов в одесских газетах «Одесское обозрение», «Ясная заря» и «Одесские новости», громадное количество «маленьких фельетонов» в тех же трех газетах и ряд статей на другие темы. Работу Воровского в этих трех одесских газетах я довольно подробно описал в своей статье «Литературная деятельность Воровского в Одессе» («Печать и революция», 1928 г., № 1).

Работая над подготовкой собрания сочинений Воровского, я недавно наткнулся еще на один, мало кому известный, но очень интересный эпизод из области литературной деятельности Воровского в Одессе. Этот эпизод показывает необыкновенную ловкость, которую обнаруживали большевики вообще и Воровский в частности в использовании, казалось бы, самых неожиданных «легальных возможностей» — для того, чтобы получить в свое распоряжение, хотя бы и на короткий срок, трибуну, с

которой они могли бы вести свою агитацию. Об этом почти никому неизвестном эпизоде я и хочу рассказать в настоящей заметке [1]).

Летом 1911 г. т. Малыщев был направлен для работы в Одессу. Ему было указано на Воровского и вместе с тем был дан наказ беречь Воровского, как очень нужного человека. Приближались выборы в Государственную думу. Большевикам для агитации надо было получить в свои руки какую-нибудь газету.

Но у Воровского в то время не было никаких связей с одесскими газетами. Сотрудничество его в «Одесском обозрении» прекратилось в октябре 1909 г., сотрудничество в «Ясной заре» началось только в октябре 1911 г., а в «Одесских новостях» — в марте 1912 г.

В поисках газеты Воровскому пришло в голову использовать газетку «Черноморский портовый вестник». Это была еженедельная маленькая газетка. Редактором ее был отставной капитан Безнощенко — пьяница и черносотенец. Впрочем, ни политика, ни литература его не интересовали. Газета нужна была ему только потому, что через нее он получал доход от объявлений. Газета печаталась в типографии некоего Прищепова — махрового черносотенца и члена союза Михаила Архангела. Вот эту-то никуда не годную черносотенную газету и решили использовать Воровский, Малыщев и другие товарищи.

Воровский на улице указал Безнощенко Малыщеву. Малыщев пошел за Безнощенко и сел на бульваре на одну скамейку с пьяным капитаном, затеял с ним разговор и сообщил, что он газетный работник и приехал в Одессу, чтобы найти какую-нибудь работу в одесских газетах. «Ничего не выйдет, — ответил ему капитан. — Там сидят одни жиды, и тебя, русского, не пустят. А вот у меня есть своя газета. Если хочешь, поработай у меня». В результате переговоров Малыщев очень ловко окрутил капитана. Сговорились, что вся редакция газеты будет в руках у Малышева, который должен заботиться и о распространении газеты и нести расходы по ее печатанию, получая за это всю выручку от продажи. Капитан же взял на себя сбор объявлений, доход с которых весь поступал в его пользу. Обе стороны остались очень довольны этой сделкой.

С величайшими трудами Воровскому и Малыщеву удалось собрать 42 рубля, необходимые для выпуска первого номера.

Фактическим редактором газеты был Воровский. Малыщев был секретарем редакции и энергичным сотрудником. Первый номер газеты (№ 86) вышел 21 мая 1911 г.; следующие номера — 29 мая, 5 июня и 12 июня.

Вся первая страница газеты и большая половина последней (а иногда и вся последняя) были заняты различными объявлениями: очевидно, капитан времени не терял, и различные торговые пароходные фирмы охотно давали ему, как черносотенцу и старому знакомому, свои объявления. Будучи доволен доходами от них, он не обращал никакого внимания на содержание газеты. Цена отдельного номера газеты была 3 копейки.

По манере изложения газета была приспособлена для рабочих. В начале идет очень небольшая передовая статья (все передовые, по словам Малыщева, написаны Воровским). Почти в каждом номере (а их было всего четыре) имеется небольшой литературный фельетон. Три из них написаны Малыщевым (рассказы), а четвертый — Воровским, статья которого говорит о Белинском по поводу столетия со дня его рождения. Небольшая хроника составлена по тем временам очень умело в агитационном отношении.

---

[1]) Более детально знает всю эту историю т. С. В. Малыщев, который и должен рассказать о ней. Вторым сотрудником Воровского в то время был т. Гольцман.

Кроме передовых статей в этих четырех номерах имеются еще две статьи Воровского: «О мелком кредите» (№ 87) и только что упомянутый фельетон «В. Г. Белинский» (№ 88). Обе эти статьи подписаны очень прозрачным псевдонимом «Павел Орлов». Напомним, что наиболее частыми псевдонимами Воровского в то время были «П. Орловский» и «П. О.».

По словам С. В. Малышева, Воровский очень осторожно вел первые номера газеты, желая сберечь ее от закрытия до выборов в Государственную думу, но, конечно, долго это дело тянуться не могло.

Одесские рабочие сразу почувствовали, что вчерашняя черносотенная газета попала в настоящие большевистские руки, и они стали усердными читателями и покупателями новой газеты. Правда, артель газетных разносчиков стала бойкотировать газету: она запрещала разносчикам брать ее для продажи. Но рабочие гнали из порта тех разносчиков, у которых не было «Черноморского портового листка». Поэтому разносчики тайком от начальства забегали к Малышеву и брали у него газету.

В Одессе, в порту, назревала забастовка. Факт появления газеты подействовал на рабочих ободряющим образом и, повидимому, сильно способствовал возникновению и широкому развитию вспыхнувшей забастовки.

В Одессе в то время градоначальником был известный черносотенец Толмачов. Администрация обратила его внимание на то, что вполне благонамеренная до тех пор газета резко изменила свое направление. Толмачов вызвал к себе Безнощенко, числившегося редактором и издателем газеты, и дал ему жестокий нагоняй за то, что он связался с революционерами. Бедный капитан с горя запил сильнее обыкновенного и отказался, конечно, иметь дальше какие-нибудь дела с Малышевым.

№ 89 газеты имеет анонс: «Следующий номер газеты выйдет в воскресенье 29 июня». Но, разорвав с Малышевым, капитан не мог, конечно, своими силами выпустить номер (а может быть, этому мешал и запой). № 90 газеты вышел поэтому не 29 июня, а только 10 декабря 1911 г. Характер ее на этот раз был уже черносотенный.

После разрыва с Безнощенко Воровский и Малышев попытались издавать газету «Черноморец», разрешение на которую удалось получить одному рабочему. Мне не удалось добыть этой газеты ни в московской библиотеке имени Ленина, ни в Ленинградской публичной библиотеке. По словам т. Малышева, вышел только первый номер этой газеты, которой Воровский, ввиду более близких выборов в Думу, придал более открытый и яркий характер. Естественно, что газета была немедленно закрыта администрацией. В первом номере, по словам Малышева, были напечатаны две статьи Воровского.

Вскоре после закрытия этой газеты Малышев был арестован и выслан из Одессы.

Из воспоминаний.

Я. Ганецкий.

1. Перевозка нелегальщины через границу.

Это было в 1902 г. В Польше [1]) социал-национальная партия (ППС) имела сильную организацию, опираясь на широкую помощь интеллигенции. Наша партия («Социал-демократия Польши и Литвы»), имея большие связи среди рабочих, была тогда еще сравнительно слабой организацией. К нашей партии примыкало мало интеллигенции, которая в Польше всегда была настроена патриотически. Наша партия почти исключительно состояла из одних рабочих. При таких условиях весьма трудно было с финансами, конспиративными квартирами, явками и т. п. Такое положение ослабляло организацию и способствовало частым арестам.

Летом из Сибири бежал Дзержинский. Для разрешения разных политических и организационных вопросов мы решили созвать партийную конференцию. Конференция собралась в Берлине. На ней, среди других, присутствовали умершие уже товарищи Дзержинский и Мархлевский, убитый в 1919 г. в Берлине т. Тышко, погибший в 1904 г. в Сибири Макс Уншлихт, брат Иосифа Станиславовича и Варский.

На конференции между прочим решено было возобновить издание журнала «Социал-демократическое обозрение», изменив предварительно состав редакции. Я особенно настаивал на издании литературы и прямо «угрожал», что без нее не поеду в Польшу, так как отсутствие партийной литературы сводило на-нет всякую агитацию и пропаганду.

На конференции был намечен план нового номера и между товарищами были распределены статьи. Не так легко, однако, было заставить быстро написать намеченные статьи. Наконец в течение нескольких недель номер был готов. Деньги на издание и на другие расходы удалось собрать в зажиточных колониях за границей при помощи рефератов, вечеринок и т. п.

Статьи напечатаны, литература готова. Все хорошо, но как переслать в Польшу? Налаженной границы для транспорта у нас, к сожалению, тогда не было. Недолго думая, я решил лично провезти литературу. Все приготовления сделал сам, тайком от товарищей, опасаясь их протеста против моего плана.

Я купил два английских чемодана, один очень большой, другой поменьше, передал их одному немецкому товарищу из рабочих.

Внизу чемоданов, по бокам и на покрышке была соответственно разложена литература, а над ней наш мастер сделал второе дно, стенки и

---

[1]) Я родился в Варшаве и до империалистической войны работал в Польше

покрышку. Было это проделано так искусно, что я сам не поверил бы, что передо мной двойные чемоданы, если бы не их вес. Удалось, таким образом, поместить три пуда литературы. В те времена для Польши это был богатый подарок.

Для того чтобы вес не возбуждал подозрений, я закупил разных вещей из обихода, эффектных и легких, но занимающих много места. Один знакомый, преданный мне студент, предоставил в мое распоряжение свой заграничный паспорт. Я решил ехать морем из Штеттина в Ригу. Здесь движение было слабое, строгое наблюдение отсутствовало. Вообще-то жандармам еще не был тогда известен способ провоза нелегальщины в двойных чемоданах. Впоследствии способ этот провалился, и пришлось от него целиком отказаться.

Когда все было готово, я сообщил свой план товарищам. Они начали было возражать, но, видя мою непоколебимость и... билет в руках, согласились, — и я уехал.

Дорога от Штеттина в Ригу продолжалась трое суток. Стояла прекрасная погода. Жара здесь не была так чувствительна. Море было тихое, — спокойно простиралось оно в даль, любуясь, казалось, красотой мира и жизни.

На пароходе было не особенно много людей. Несколько купцов, которые в свободное от еды и сна время погружены были в свои коммерческие планы; какая-то немецкая оперетта, направляющаяся на гастроли в латвийские города, две-три молодых четы, возвращающихся из послесвадебного путешествия.

Я был внешне спокоен, но все время находился в каком-то возбужденном состоянии. Все одни и те же думы меня тревожили: доберусь ли я к товарищам, удастся ли благополучно довезти долгожданный транспорт, удастся ли выполнить намеченные конференцией задачи?.. Днем мало ел, ночью не мог спать; все гулял по палубе парохода, погруженный в свои размышления. Я восхищался необъятностью моря, чистой синевой неба и царствующей кругом таинственной тишиной, которую нарушал лишь пароход прорезыванием легких морских волн...

Ночью я был с луной, беседовал с ней. Я указывал ей на восхитительный мир, на прекрасную природу, на существующую вместе с тем подлость, подразделяющую людей на эксплоататоров и эксплоатируемых... А восходящее утреннее солнце вливало надежды в мое сердце. Каждое утро на горизонте небо розовело, и из морской глубины медленно вырисовывался солнечный шар, который своими жизненными лучами подбадривал юношу к тяжелой, но святой борьбе...

С такими думами, в таком настроении доехал я до рижского порта. Тут на лодках дожидались нас царские таможенные чиновники и жандармы. Взобравшись на пароход, они стали присматриваться и наблюдать за пассажирами. Последние укладывали свои пожитки и готовились покинуть пловучий дом.

Не скоро, однако, выпустили нас. В каюте капитана парохода жандармский ротмистр устроил себе временную канцелярию и тщательно начал проверять паспорта пассажиров. По проверке паспортов пассажиров по очереди выпускали на берег, где происходил досмотр багажа.

Мне не повезло, — мой паспорт был одним из последних. Со скрытым нетерпением прогуливался я между каютой и палубой, откуда бросал взгляды на берег, где среди большого количества багажа красовались мои шикарные английские чемоданы... Вдруг в каюту вваливается жандармский вахмистр и рапортует своему начальнику:

— Ваше высокоблагородие, позвольте доложить, — найден полный чемодан с литературой.

«Все погибло», — подумал я. Я не знал, что делать: отдаться ли в руки царских палачей или искать спасения в морской глубине. Спокойно вышел я на палубу и с великим изумлением убедился, что мои чемоданы стоят нетронутыми в полном порядке. Скоро положение выяснилось. Ехавшая на выступления в Латвию немецкая оперетта, кроме всяких аксессуаров, везла с собой громадный сундук с нотами. Ноты были заграничного издания, а поэтому должны были быть отправлены в цензуру на просмотр. Несчастный директор труппы разъяснял жандармам, что это исключительно ноты оперетт, которые ставятся в России, но ничто не помогло. Ротмистр «любезно» обещал ускорить просмотр и успокаивал директора, что через... три месяца он получит ноты в порядке.

Я в душе сочувствовал этой странствующей оперетте и подумал: «Будьте, милые, довольны, если мои ноты останутся нетронутыми. На них рабочий класс будет учиться бороться против абсолютизма и невежества в России...»

Ротмистр недолго осматривал мой паспорт. Владелец его был вполне лойяльным человеком, и паспорт никаких подозрений не возбуждал. Очутившись на берегу, я требовал от таможенных чиновников ускорить досмотр моих вещей, ввиду того, что спешу на поезд. Внушительный «на чаек» ускорил неприятную процедуру. Через несколько минут я уже на извозчике мчался на вокзал. Еще раз окинул я взором несчастного директора и «усердного» жандарма.

На вокзале оказалось, что поезд уже ушел, а следуюющий идет через несколько часов. Не желая тратить времени, я решил достать из чемоданов папку для бумаг, в которой были заделаны нелегальные документы, полученные мной от одного товарища для отправки по почте в Двинск. Неизвестно, как пойдет дальнейшее путешествие, — лучше папку отправить сейчас. Я вытащил ее из чемодана. Как вдруг железнодорожный жандармский офицер, заметив в это спокойное время пассажира на вокзале, направил свои шаги в багажный отдел, где я ковырялся в своих вещах. Быть может, он сделал это бессознательно, механически. Но малейшее мое волнение или озабоченность несомненно имели бы для меня пагубные последствия. Спокойно, как бы не замечая жандарма, я вынимаю из чемодана английский плащ и, как подобает человеку «приличного общества», прошу стоящего рядом носильщика помочь мне одеть пальто. Жандарм постоял минутку, с удивлением присматривался к заграничному пальто и, увидев низкий поклон носильщика, получившего от меня двугривенный, удалился во-свояси. Мне так понравилось проделанное, что я догнал жандарма и на немецком языке спросил его, где находится почтовое отделение. Тот весьма любезно дал точное разъяснение столь приличному иностранцу.

Вечером я поехал дальше. На следующий день прибыл в Вильно, где оставался несколько дней. С какой радостью встретили меня местные товарищи, во главе с покойным т. М. Ю. Козловским, предупрежденные о моем приезде и ожидавшие меня на конспиративной квартире! С вокзала был перевезен меньший чемодан, предназначенный для Литвы.

Тут же была распределена и разослана по районам литература. Вечером было сорганизовано собрание с агитаторами. Я сделал отчет о конференции, и мы обсуждали способ обновления и укрепления организации. На следующий день литература была уже распространена по фабрикам и заводам. Рабочие радовались и оживленно обсуждали прочитанные статьи... Царское правительство правильно учитывало, что партийная

литература является опасным тараном против его самодержавной твердыни, и поэтому яростно всегда ее разыскивало, конфисковывало и преследовало...

Через несколько дней я прибыл в Варшаву. Очень обрадовался моему появлению т. Макс Уншлихт, который уже было волновался, не получая от меня сведений.

В Варшаве, благодаря неутомимой энергии и неустанной работе Макса Уншлихта, наша партийная организация была уже восстановлена. Районы правильно и систематически работали, работа кипела по всей линии. Макс Уншлихт привез с вокзала на свою квартиру гигант-чемодан, и в продолжение всей ночи мы вдвоем разбирали литературу. Восторг рабочих по поводу полученного подарка был неописуем...

Да, люди пропадают, гибнут, организации переживают кризис, но рабочее дело, партия — растут. Недолго продержался выдающийся работник Макс Уншлихт. Когда я за полчаса до его ареста обсуждал с ним намеченное к выпуску воззвание, я не знал, что встречаюсь с ним в последний раз. Шпик арестовал его на улице. Поймав этого дельного революционера - партийца, жандармы продержали его полтора года в 10-м павильоне Варшавской крепости, а потом сослали в Сибирь. Очутившись в ссылке, Макс Уншлихт немедленно задумал побег. Он мечтал поскорее вернуться в ряды революционной социал-демократии. Я с ним переписывался и со дня на день ждал радостного известия. Но внезапная сильная буря на Лене перевернула лодку, на которой бежал Макс Уншлихт. Так погиб незабвенный друг пролетарского дела.

2. Встречи с полицией.

В старые годы я читал одну брошюру, которая учила подпольщиков конспирации. Не помню ее заглавия, а также и издателя. В брошюре, между прочим, приводились приблизительные данные, указывающие, что на нелегальной работе люди в среднем удерживаются не более полугода. Причины ареста бывают всевозможные. Только немногим удается более длительный срок избегнуть провала. Иной раз попадаешься по пустяку, когда полиция и жандармы даже не подозревают, что имеют дело с «политическим преступником». И если не принять немедленных и решительных мер, узел затягивается — и подпольщик на долгие годы выбывает из строя. В таких случаях наглость, ловкость, быстрота имели решающее влияние и давали возможность освобождаться из лап царских опричников.

Вспоминаю два «незначительных» случая, которые имели место со мной и т. Дзержинским.

Первый случай.

Было это в начале 1905 г. после известных расстрелов рабочих перед Зимним дворцом в Петербурге. Весть об этой кровавой расправе Николая последнего, а также о мужественной борьбе питерских пролетариев быстро прокатилась по всей России. Докатилась она и до польских рабочих. Рабочие в Польше в общем были более сознательны, более революционно настроены. Узнав о происшедшем, они рвались в бой, сознавая всю важность поддержки питерских братьев. Особенно бурно выступила красная Варшава. В течение нескольких дней ее улицы представляли сплошной военный лагерь или, собственно говоря, два военных

лагеря. Выступления рабочих были столь внезапны и неожиданны, что власти в первый момент растерялись и не знали, как действовать.

Шла всеобщая забастовка. На многих улицах происходили настоящие бои, причем нередко полиция и войсковые части вынуждены были отступать, так как из окон и с крыш домов в них стреляли и забрасывали их камнями. Во многих местах быстро воздвигнуты были неприступные баррикады. Сюда таскали все: и булыжники, и ломовые телеги, и трамвайные вагоны, и строительные материалы с ближайших построек, и телефонные и трамвайные столбы и фонари. Магазины были все закрыты. Вечером на многих улицах царил мрак, так как фонари были испорчены и сломаны.

Власть вскоре оправилась. Для задушения революционной гидры она выбрала самый легкий путь. Была мобилизована шпана в городе, которой было объяснено, что она может безнаказанно грабить. В течение нескольких суток шел возмутительный грабеж. Хулиганы выбивали стекла в магазинах, часть добра забирали с собой, часть уничтожали, часть вытаскивали на улицу и предавали уничтожению при помощи поджогов. Грабители организовывались целыми отрядами и на главных улицах по порядку разрушали один магазин за другим. Организованные рабочие провели жестокую расправу с этими опасными вредителями. Многие из них погибли, но немало жертв было и со стороны рабочих. Полиция и войско абсолютно бездействовали. Бывало, патрули проходят, на их глазах происходят грабежи, но они спокойно продолжали свой путь. Наоборот, власти явно потворствовали шпане. Так, например, запрещено было зажигать уличные фонари, хотя многие были в исправности. Темнота помогла подонкам в их гнусном деле и затрудняла рабочим борьбу с ними. Все это делалось сознательно. Пущена была наглая ложь, что грабежи были организованы рабочими,— а с грабителями необходима расправа. И расправа началась.

В Варшаве было объявлено военное положение. После 6 часов вечера было опасно появляться на улице. Повсюду темнота. Повсюду, главным образом в рабочих кварталах, расставлены полицейские и военные патрули, которые задерживали всех прохожих и при малейшим подозрении арестовывали, а рабочих по дороге в участок расстреливали. Лишь только наступали сумерки, в рабочих кварталах рыскали с ружями наперевес казаки на своих диких конях и стреляли в каждого прохожего. К утру, когда стало рассветать, подбирали убитых и куда-то увозили. Только оставшиеся во многих местах следы человеческой крови говорили о творившихся здесь ужасах. Так гуляла царская полиция несколько дней. Трудно было установить, сколько погибло тогда народа, — во всяком случае число убитых далеко превышало тысячу.

В первые же дни революционного подъема наша партия издала листовки с заголовком: «Всеобщая забастовка и революция в Петербурге». Лишь только листовки были готовы, оповещены были представители рабочих районов. Ввиду опасности появляться на улицах вечером даны были указания, чтобы товарищи собрались к 4 часам пополудня. Собрались в рабочем районе на квартире у одного рабочего. Помимо представителей варшавского комитета партии пришли Дзержинский и я, как представители центрального комитета; мы и принесли листовки. Заседание проведено было наспех. Товарищи делали краткие доклады о положении за истекшие сутки; был также намечен план действия на следующий день. Затем каждому для его района были розданы листовки. Оказалось, что несколько человек не явилось, вследствие чего осталось нераспространенным изрядное количество листовок. Встал вопрос, что с ними делать,

куда спрятать. Квартира, в которой мы собрались, была ненадежна. Хозяин ее был известен охранке, а в такое горячее время можно было ожидать у него обыска; в этот день он даже не ночевал дома. Пришлось листовки взять обратно нам — Дзержинскому и мне. Дзержинский стал отстегивать жилет и брюки и по практиковавшемуся тогда способу спрятал листовки на животе под рубашкой. Получился довольно солидный животик. Я предложил ему часть передать мне, чтобы не было заметно. Но он отказался.

— Под пальто и так незаметно, а если начнут нащупывать, то лучше, чтобы укокошили одного, чем двух.

Рассуждения Дзержинского не были убедительны: если бы нас задержали, одна и та же участь постигла бы обоих — и того, у которого было нелегальщина, и того, который был без нее,— уж слишком был «возмутителен» самый заголовок листовок. Но Дзержинскому в таких случаях возражать не приходилось,— все равно не уступил бы. Попрощавшись, мы ушли со своей ношей.

Было уже 6 часов. На улицах темно, кругом не видно ни одного живого существа. Издалека слышны свистки, конский топот и ружейные выстрелы. Жутко было ходить. Взявшись под руку, мы молча двинулись быстрыми шагами. Мы стремились поскорее выбраться из рабочего района. Вдруг, откуда ни возьмись, перед нами, как из-под земли, выросли полицейский и солдат, оба с ног до головы вооруженные.

— Стой, куда идешь?!. Руки вверх!..

Городовой отстегивает пальто и ощупывает, — видно было, что искал револьвер. Мы молча взглянули друг на друга, но каждый из нас чувствовал, что оба переживаем одно и то же: через несколько минут нас не станет. К счастью, городовой стал первым обыскивать меня. При полном молчании продолжалась эта обрядность полминуты. Но этого времени было достаточно, чтобы я очнулся. Услышав от нас вблизи новые голоса, я оглянулся: шагах в пятнадцати от нас стояло несколько человек в светлых шинелях, но из-за темноты нельзя было разглядеть, кто они такие. Я догадался, что это начальство тех «низших чинов», которые с нами возятся. Мысль моя работала в одном направлении: следует как-нибудь ухитриться, чтобы не обыскивали Дзержинского. Если это не удастся, — мы погибнем. Я взволнованно говорю громким голосом:

— Чего вы нас задерживаете, мы спешим домой.

В ответ слышим:

— Не рассуждай!.. Молчи!.. Стой смирно!..

Но в то же время издали раздался голос:

— Что, задержали?

И наш городовой отрапортовал:

— Точно так, ваше высокоблагородие.

Я этим воспользовался и закричал:

— Господин офицер, чего нас тревожат? Здесь какое-то недоразумение.

— В чем дело, какое недоразумение?

Я говорю решительным тоном, дергая Дзержинского за рукав:

— Пойдем к начальству, там все выяснится.

Наши хранители не возражали и, не начав обыскивать Дзержинского, вместе с нами направились к начальству. Здесь стояли пристав и два офицера.

Тут какая-то «неведомая сила» пришла мне на помощь. Посмотрев на пристава, я вспомнил, что в том же районе неподалеку живет мой отец в собственном доме. Несомненно пристав знал его и неоднократно получал от него «подарки». Взволнованно и наивно говорю я:

— Господин пристав, очень прошу вас окажите нам помощь, мы уже два часа с Маршалковской [1]) добираемся домой. Трамваев нет, извозчиков нет, — приходится итти пешком. А здесь, подальше от центра — опасно ходить. Какие-то подозрительные типы разгуливают, очевидно с целью грабежа. Нельзя вас попросить, чтобы вы дали солдата, который проводил бы нас домой? Наверно мамаша беспокоится, что мы долго не возвращаемся домой.

Пристав, очевидно, «хорошо» знал моего отца. Я чувствовал, что фамилия вызвала в нем уважение ко мне. Он не потребовал документов, не спросил, кто мой спутник. Как полагается в буржуазных условиях, он считал меня маменькиным сынком и не удивлялся, что «мамаша» беспокоится о своем взрослом «сынке». Выслушав меня, он ответил:

— Да, я знаю, где вы живете. Ведь это недалеко, минут через десять-пятнадцать будете дома. К сожалению, я не могу вам дать охраны, так как все наши разбрелись по разным сторонам. Вы видите, какие теперь времена.

— Да, боже мой, какие времена, какой ужас!.. Ну хорошо, если не можете дать нам солдата, мы пойдем одни, но если на нас нападут, мы будем кричать, и тогда, очень прошу вас, пусть ваши солдаты прибегут к нам на помощь.

Я пожал ему «сердечно» руку, и мы направились дальше. Городовой стоял молча, разинув рот. Он ничего не понял и на прощанье сделал нам «под козырек». Минуты три шли мы молча и от волнения и радости не в состоянии были выговорить ни слова. Каждый из нас сдерживал в себе какой-то нервный смех. Вслух смеяться мы боялись, чтобы не возбудить подозрения у пристава. Подойдя к ближайшему перекрестку, мы обнаружили новый патруль. Опасаясь повторной сцены, я громким голосом обращаюсь к солдату:

— Вот хорошо! Скажите, где офицер?

Офицер оказался тут же рядом, и я обратился к нему взволнованным голосом:

— Господин капитан, вот там на углу стоит пристав. Он хотел нам дать охрану, но у него не оказалось свободных людей, и он направил нас к вам. Я очень прошу вас, — дайте нам солдата. Мы живем очень близко отсюда в ближайшем квартале, но ходить без охраны опасно.

Я потревожил капитана не только для того, чтобы предотвратить обыск. Моя просьба была искренней, так как мы опасались, что дальше по дороге мы встретим новый патруль. Не успел я передать капитану мою просьбу, как послышался конский топот. Во всю прыть по темной улице скакал казак и направо и налево стрелял из винтовки.

— Вот видите, что происходит, — прибавил я.

Капитан мне ответил:

— Да, ходить теперь опасно, но у меня нет людей. Вы идите потише и придерживайтесь стены, чтобы шальная пуля не задела вас.

Через несколько минут мы благополучно добрались до квартиры моих родителей. Их немало поразило мое появление, особенно в такую пору и в сопровождении Юзефа (кличка Дзержинского).

Я жил отдельно. Домашние не знали моей квартиры, знали лишь, что я живу нелегально. Родителей я почти никогда не видел. Я уверял их, что проживаю главным образом за границей. Дома обрадовались нашему появлению. Нас хорошо накормили и предоставили нам отдельную комнату с двумя великолепными кроватями. За ужином отец пытался заго-

[1]) Улица в центре города.

ворить «о происшествии в городе». Но я сказал, что ничего не знаю, что мы устали и желаем итти спать.

Очутившись, наконец, наедине в комнате, мы взглянули друг на друга и стали от радости целоваться.

— Ну и денек! — сказал Дзержинский. — Чорт тебя побери, как ты ловко выпутался. А я уж был уверен, что погибли. Оказывается, мы хорошо сделали, что вышли вместе, хотя это было неконспиративно. Будь я один — была бы крышка. — Любуясь раздобытыми из-под брюк листовками, он прибавил: — Воззвания уцелели — это важно! Завтра мы их как следует используем!

Проболтав еще немного, мы заснули крепким сном...

Второй случай.

Несколько месяцев спустя после описанного инцидента мы с т. Дзержинским опять попали в небольшой переплет с полицией.

Царское правительство, опасаясь обострения революционной волны, среди других возможных мер для подавления революции прибегало также к разным изысканным приемам. Одним из таких приемов была организация еврейских погромов.

Нигде в мире не процветал так антисемитизм, как в царской России. Нигде в мире не происходили такие издевательства и гонения против них, как здесь. Рабочих среди евреев было незначительное количество, с большими ограничениями принимали их на заводы и фабрики. Основная масса евреев состояла из ремесленников и мелких торговцев. Находясь в тяжелейших условиях, обреченные на голодное, в лучшем случае на полуголодное, существование, они удовлетворялись незначительным заработком. Это создавало чувствительную конкуренцию для занимающихся тем же промыслом среди других народностей и вызывало в них ненависть против евреев. Если же кому из евреев «посчастливилось» и он разбогател, то опять кричали против евреев: они кровопийцы, сидят у нас на шее, давайте расправимся с ними.

Немало способствовали такому положению некультурность и отсталость в самих еврейских массах. В течение целых десятилетий они находились под исключительным влиянием таких же отсталых фанатичных раввинов и подобных учителей. Только в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века, когда в России начало развиваться рабочее движение и стали создаваться пролетарские организации, — и в гущу еврейских масс заброшены были настоящие семена культуры и социализма. Большую роль в культурном развитии еврейских масс сыграла в свое время еврейская организация «Бунд». Однако основная ошибка Бунда состояла в том, что он строил организации по национальному принципу, а не по классовому. Отсюда происходили и другие ошибки Бунда в его работе среди еврейских масс.

Казенная Россия, проводя политику национальной розни, с одной стороны, не мешала расширению влияния некультурных и реакционных раввинов, с другой стороны — разжигала ненависть против евреев. Ни для кого не было секретом, что пресловутые еврейские погромы были делом рук царской полиции и охранки, руководимых единым центром — департаментом полиции, где наперед обсуждались и устанавливались планы погромов. В этой работе деятельное участие принимали и православные попы, а часто и католические ксендзы. Жандармская Россия прибегала к еврейским погромам всякий раз, когда желала отвести накопившееся возмущение народных масс против царя и его чиновников.

В 1905 г. департамент полиции также хотел было накопившуюся революционную энергию польских рабочих направить против евреев. В Варшаве одно время ходили упорные слухи, что идут усиленные приготовления к еврейским погромам. Партия наша проделала надлежащую работу. Целый ряд листовок, воззваний, статей и, наконец, массовок разоблачал царскую политику национального гнета и в особенности еврейского. Рабочие поняли, что еврейские погромы имеют целью нанести чувствительный удар в спину революции. Они глубоко возмущались и решили принять все меры к тому, чтобы в корне пресечь малейшие попытки погрома.

В рабочих районах — особенно там, где скопилось еврейское население, — организованы были боевые рабочие дружины, которые должны были расправляться с хулиганами-погромщиками и защищать еврейское население. В районных партийных организациях были созданы постоянные дежурства, которые при малейшей тревоге должны были собрать боевые дружины. Во многих домах устроены были ночные дежурства их жильцов, которые держали охрану над домом.

Охранка убедилась, что не так легко удастся провести это гнусное дело. Несколько раз намеченные сроки «к началу» необходимо было отменять. Казалось, план погрома провалился окончательно. Однако в один прекрасный день из многих верных источников стали стекаться сообщения, что сегодня ночью наверно «начнется». При этом указывалось, что решено было погромы начать одновременно в нескольких районах и этим затруднить оборону. В полицейских участках нашлись надежные городовые, которые, переодетые в штатское и соответственно вооруженные, должны были «начать» по указанию специально приставленных охранников.

Вечером мы устроили экстренное заседание центрального комитета для обсуждения создавшегося положения. Присутствовали Дзержинский, Варский и я. Даны были соответствующие указания в варшавский партийный комитет и по районам. Решено было, что повсюду боевые дружины должны бодрствовать всю ночь. Кроме того предписано было всему партийному активу, установив контакт с рабочими своих заводов, собраться в районных помещениях. Районы должны были держать связь с варшавским комитетом и действовать по его указаниям.

Мы не сомневались, что если погром действительно начнется, то будет большое кровопролитие. У нас многие сотни рабочих были хорошо вооружены. Но охранка до зубов вооружила своих погромщиков. В случае погрома решено было к утру выпустить воззвание.

Для того чтобы с документами в руках разоблачить роль охранки в погроме, мы предприняли следующее: в Варшаве, как и в других городах с еврейским населением, существовала так называемая «Еврейская община». Во главе ее стоял богатый аристократ, некий Натанзон, пользующийся большим уважением среди всей буржуазии, в том числе и польской. Решено было его привлечь к этому делу. К нему направился т. Варский с одним популярным обывателем, симпатизирующим нам, который лично знал Натанзона. Было уже 10 часов вечера, когда они явились к Натанзону без всякого предварительного предупреждения. Тот немало был удивлен такому позднему визиту.

Гости сразу приступили к делу: партия имеет точные данные, что ночью начнется погром. Погромщики хорошо вооружены охранкой. Польские рабочие будут защищать еврейское население, несмотря, на то, что им угрожает арест уже при одном обнаружении оружия. Произойдет кровопролитная борьба. Необходимо, чтобы он, Натанзон, как глава

еврейской общины, немедленно отправился к оберполицмейстеру, предупредил его о полученных сообщениях и добился от него принятия соответствующих мер.

Натанзон внимательно выслушал. Высказываясь скептически о защите евреев польскими рабочими, он, однако, встревожен был сообщением. Тут же снесся он по телефону с оберполицмейстером, известным уже тогда душителем революции — Мейером. Тот согласился немедленно его принять. Тов. Варский вернулся к нам, а наш посредник ждал у Натанзона его возвращения.

Он явился к нам только к часу ночи и сделал нам отчет. Мейер уверял Натанзона, что сведения его преувеличены, успокаивал, заверяя, что «соответствующие инструкции повсюду даны». Однако, по настоянию Натанзона, Мейер в его присутствии дал приставам всех полицейских участков, примерно, следующую телефонограмму:

Срочно. Секретно. Передать адресатам немедленно. Ко мне дошло сведение, что сегодня ночью начнутся беспорядки, имеющие целью нанести обиду и ущерб еврейскому населению города. В дополнение к прежним инструкциям предлагаю вам под вашу личную ответственность принять решительные меры к предотвращению указанных беспорядков.

С радостью и гордостью рассказывал Натанзон об этой телефонограмме, видя, очевидно, в этом большую свою победу и заслугу. Он предложил нашему посреднику проехаться по еврейским кварталам, чтобы убедиться, каково там настроение. Поехали они в собственном экипаже Натанзона. Все время ехали спокойно. Но лишь только въехали в квартал, где проживают евреи, их сейчас же остановили.

— Стой, кто едет, документы!..

Оказалось, их задержал рабочий патруль. Узнав, кто они и зачем едут, рабочие сказали:

— Ни один волос с головы еврея не упадет. Скорее мы погибнем, чем дадим нанести им обиду. Охранка получит надлежащий урок и раз навсегда откажется от еврейских погромов.

Так их задерживали и на других улицах, и повсюду происходили подобные же разговоры. Проехав целый ряд улиц: Дикую, Павью, Смочую, Гусью, Палевки и другие — они вернулись. Натанзон был поражен всем тем, что видел и слышал. Об этом только и говорил он на возвратном пути:

— Никогда не подумал бы я, что наши польские рабочие так сознательны, никогда не поверил бы, что польские рабочие искренне будут защищать евреев, при этом с опасностью для своей жизни. Теперь я убедился, какая громадная сила — социализм. Я восхищен всем тем, что видел. Очень прошу вас передать от меня для партии сто рублей.

Получив рапорт, мы взвесили положение. Мейер, правда, по тактическим соображениям вынужден был послать решительную телефонограмму. Быть может, она собьет с толку приставов, но погрома ночью не будет. Навряд ли Мейер может вдогонку послать другую телефонограмму с противоположными инструкциями, — это совсем ввело бы сумятицу. Мы поэтому пришли к заключению, что ночь пройдет спокойно. Однако наших прежних решений мы не изменили. Мы разошлись. Тов. Варский должен был дома ожидать сведений и в случае чего заготовить воззвание. Мы же с Дзержинским решили пройтись по улицам, чтобы убедиться, действительно ли все спокойно.

Бродили мы по многим улицам. Повсюду тишина и спокойствие. Во многих местах встречали мы рабочие патрули и охрану в воротах домов. Мы решили уже было вернуться, как вдруг издали послышалось

несколько револьверных выстрелов; стреляли на одной из ближайших улиц.

— Ого, что-то начинается! — сказал Дзержинский.

Мы ускорили шаги, направляясь в сторону выстрелов. Навстречу нам спокойно шагает патруль в составе городового и солдата. Поровнявшись с ними, Дзержинский обращается к ним:

— Вы спокойно разгуливаете, а позади вас стреляют. Там, может быть, кого-нибудь убивают. Вы поставлены здесь для того, чтобы охранять порядок, между тем даже не интересуетесь этими выстрелами, не спешите выяснить в чем дело и направляетесь в противоположную сторону!

Городовой на это отвечает:

— Стреляют на другой улице, — нас это не касается. Там другой район, а наш здесь, вот.

И они спокойно продолжали свой путь. Меня такой ответ возмутил.

— Как же вас это не касается! Ведь стреляют, людей убивают! Вы должны оказать помощь, эта ваша обязанность! Если вы сейчас не направитесь к месту выстрелов, это будет с вашей стороны преступлением, и вас за это привлекут к ответственности.

Городовой не обращал внимания на мое возмущение. Желая его запугать и, быть может, заставить вернуться, я посмотрел на номер его фуражки. Прочтя номер вслух, я сказал:

— Если вы немедленно туда не направитесь, завтра обо всем будет знать пристав.

Тут городовой, потеряв хладнокровие, взял меня за руку и сказал:

— Вы записываете мой номер, желаете меня привлечь к ответственности, — посмотрим, кто виноват. Какое вы имеете право вмешиваться и делать нам указания! Кто вы такие? Пойдемте в участок ,— там все разберут.

Всякие увещевания ни к чему не привели. Нельзя было не подчиниться городовому, — оба они с солдатом были вооружены. Мы попытались было с ними сговориться, — но ничего не вышло. Главная беда состояла в том, что участок был недалеко, в трех-четырех минутах ходьбы. Не успели мы оглянуться, как очутились перед участком.

Мы вошли в помещение. Нас провели через несколько комнат, на нарах спали городовые. В последней комнате оказался один околоточный надзиратель, спавший на диване. Он был дежурным по участку. Наш городовой разбудил дежурного и начал ему рассказывать о происшедшем. Но тот со сна мало что понял.

— Что?.. Значит, надо их арестовать. Хорошо, посади их. Завтра составим протокол.

Мы очутились таким образом в довольно глупом положении. За эту пустяковую историю можно здорово поплатиться. Нужно было действовать. Возбужденным голосом обращаюсь я к дежурному:

— Как вы смеете говорить об аресте, не зная в чем дело? Это мы к вам зашли и требуем, чтобы вы составили протокол. Мы являемся представителями общественного комитета. Только что были на совещании у оберполицмейстера...

Услыхав это слово, дежурный смущенно поднялся со своего места, а я продолжал:

— Кстати, вы получили секретную телефонограмму за подписью оберполицмейстера? Мы недавно ее послали. Сообщите, какие меры вы предприняли согласно этой телефонограммы. Мы специально откомандированы в ваш район, чтобы убедиться, правильно ли несут службу ваши патрули. Вот мы заметили, что этот городовой с солдатом не обратили ни

малейшего внимания на то, что вблизи них раздавались выстрелы. Мы поэтому привели их сюда. Я настаиваю, чтобы немедленно был составлен протокол и завтра с утра сообщено, какому наказанию будут они подвергнуты за такую халатность.

Дежурный постепенно стал во фронт с руками по швам.

— Так точно, телефонограмма получена, и поэтому усилили патрули... Как это ты, сукин сын (извините пожалуйста), не пошел на выстрелы?.. Если прикажете, я немедленно составлю протокол.

Волнуясь, он начал разыскивать бумагу, перо и чернила. Городовой был ошарашен принятым оборотом дела и не знал, что ему ответить. Однако я этим не удовлетворился и, понимая, что необходимо поскорей выбраться из участка, обратился к дежурному:

— Ну вот! Теперь еще бумагу будете искать, еще нас задержите часа на два! А нам нужно поскорей пройти весь наш район... Вот что: мы сейчас уйдем. Номер городового у нас записан, составьте уже сами протокол, к утру я к вам зайду.

— Слушаюсь! Пожалуй, так будет лучше. Зачем вам, господин, тревожиться? Будьте спокойны, мы его накажем.

Мы как ни в чем не бывало направляемся к выходу, а дежурный толкает городового и велит ему показать нам дорогу.

На улице мы постепенно успокоились. Тут Дзержинский сказал мне:

— Когда они нас задержали, то я здорово волновался, но не желал тебя огорчить. Ведь у меня в кармане помимо нелегальщины, представь себе, была печать центрального комитета, которую я не успел спрятать... Вот была бы история!..

Мы благополучно отправились по своим домам.

Граммофон отца Афанаса.

Федор Малов.

Сосновый бор кончается у самой Волги. На морковно-красной глине косогора разметалось крупное село Праскухино. Однообразное чередование тесовых и соломенных крыш, дровяных костров, поленниц и плетней — слилось в сплошное сероватое море. Наличники, карнизы, крыльца и коньки потонули в кружевной резьбе, как в пене, но не нарушают скупости деревянно-серого однообразия. Когда бредешь Большой Завязной улицей и пытливо всматриваешься кругом, то кажется, что амбарушки, избы, клети и дворы живут одинаковой — небедной-небогатой жизнью, с одинаковыми достатками и нуждой. Эта внешняя одинаковость хозяйственных и жилых строений «мудро» соблюдается мужиками для того, чтобы под ее скучным и однообразным пологом надежно скрыть от лихих завистников разницу житейского благосостояния. Там, внутри душных и серых избяных животов, одних загрызает бедность и сгибают страдания, вторых тешат достатки и радости, но попробуй, угадай с улицы, кто живет богато, кто в захудалости! Может это и явилось оправданием того, что на все село, богатое зажиточными и многоземельными крестьянами, баржевиками и хлеботорговцами, в списках сельсовета значатся только три кулака и один лишенец — сельский поп, «благочинный отец» Афанас. Остальные полторы тысячи домохозяев с крепкими и слабыми хозяйствами, по «справедливому» определению сельсовета, числятся в середняках. На каких весах взвешивал крестьянские хозяйства «справедливый» сельсовет, — никому не известно. И если кто из неугомонных бедняков адресовался с такими вопросами, то ответ на это получался один:

— Зачем нам вражду сеять в обществе? У вас — земля, и у других — не сахар! Значит, одни стараются, другие полеживать любят. Это уж у кого какой характер.

Сельсоветчики, зажиточные и сильные мужики, пускались в «глубокую психологию» и закручивали такие крутые выводы, что у бедняков трещали с натуги лбы.

— Коли земля по едокам разверстана, то какого же поравнения вам нужно? Разве на фунтà полосы перевешивать! Но можно это сделать нам или нет?..

— Где уж тут на фунтà вешать!

— Ну, так и идите работайте. Чего здесь зря время тратить! Время — деньги, а деньги — хлеб, а хлеб — коренная сила крестьянская.

— Возражать не приходится, — уныло тянут на это бедняки. — Только вот по другим селам богатых на особую черту нынче ставят... Легче там беднякам.

— Ну там! — тоном, не допускающим возражения, отвечают сельсоветчики. — Мало ли что есть, например, в Америке. Мы про это не говорим. Там особенное благоустройство, не всем так жить.

— Да этого никак и нельзя.

— То-то, согласились-таки! А на другие села тоже завидки бросать не следует. Там враждуют хуже, чем на войне. То бедняка убьют, то селькора. Да и сельсоветчиков немало ухлопали. Лучше уж так жить: в мире, по совести. Мы за вас горой стоим, обижаться нечего.

— Ну, это как сказать!.. Посмотришь, — так, как будто, и не видно вашей защиты.

— Как не видно!.. А кто лесу навозил Митьке Беспалову после пожара? Мы!.. Все село взбузыкали, — да помогли. И ты сгоришь — выручим!.. Не оставим в беде. А враждовать будем, — никто никому тогда не поможет!

На этом прения обыкновенно заканчивались. Сельсоветчики действовали и дальше на основах подобной «психологии», а бедняки затихали с тем, чтобы на следующем сходе вновь безнадежно поднять этот вопрос. В списках сельсовета не было ни кулаков, ни бедняков — село исключительное!

«Благочинный отец» Афанас жил на краю села в небольшом уютном домике с яркозеленой крышей. Домик утопал в кудрявой яблоневой зелени, в саду голубели чистые даданoвские ульи, цвели крыжовник, малина и смородa. Афанас был низкоросл и тощ, с юрковатыми движениями и подрагивающей походкой. До революции он был «иеромонахом» в петербургской Александро-невской лавре, кончил духовную академию, хорошо знал теософию и мифологию, писал проповеди для провинции и отличался несомненными ораторскими способностями. В жизни он был врожденным плутом, характер имел «собаковатый», любил околпачивать и объегоривать окружающих и неизменно легко выкручивался изо всех историй. С революцией он первым покинул тихую белокаменную обитель, год-два толкался при штабах белой и красной армий, обрыскал половину России и, наконец, очутился в столь «мирном» селе Праскухине. Здесь он без труда «стал на приход», оттерев старого попа, купил на лаврские ценности домик с усадьбой и сразу обзавелся двумя семьями. От законной супруги народилось пять человек детей, а от тайной Маринушки — только четверо. Между соперницами вспыхивали отчаянные уличные скандалы и схватки, но Афанас «ублажал» и ту и другую «по совести» и вел отношения с хитрецой и обдуманно.

Паства снабжала его тучными злаками и овощами. Афанас завел поросят, овечек и двух коров. Обзавелся пасекой и получал немалый доход от сада. Полевого земельного надела он не имел, но селяне безобидно давали ему полоску во всех трех полях. Однако это не удовлетворяло бывшего иеромонаха, и он задался целью выцарапать полный надел, а главное — избавиться от «безголосого права». Учтя, что сельсовет помочь здесь не может даже и при глубокой «психологичности», Афанас обдуманно нацелился на комсомольскую ячейку.

— В них коренная сила! Они все могут, коли захотят!

— Вполне одобряю это, — подтвердил Кузьма Долгобородов, церковный староста. — И не таких молокососов ты оплетешь.

— Сан мешает, — немного озадачился Афанас. — Они и не подпустят, пожалуй, в ряске?

— Оплетешь! — твердо проговорил Кузьма. — Подсахаришься!

— Со сторонки как-нибудь забежим. А не выйдет, — за попытку не расстреляют!

Они разделили скрытую от пономаря и дьякона выручку за неделю и «раздавили» по полбутылочке. Афанас узнал от Кузьмы необходимые подробности о комсомольцах и решил не откладывать и стремительно действовать.

* * *

Ячейка помещалась на краю села в пустой избе уехавшего в Сибирь многосемейного крестьянина. Ребята собирались там по вечерам и, чтобы поднять свой скудный бюджет, предпринимали небольшие «коммерческие» мероприятия. Они пускали по зимам в дом посиделку, и за это девки платили керосином и дровами, еженедельно мыли полы по субботам и протирали оконницы. На стене висела рукописная сельская газета «Праскухинский середняк», в шкафу валялось несколько книг и множество пространных циркуляров укома. Под потолком парили на ниточках соломенные голуби с алыми бумажными крылышками, по стенам пылились гирлянды высохшей хвои. На месте выломанной божницы висел потускнелый портрет Ленина, представляющий собой большую крупную голову с простодушными глазами. Портрет был в густом венке хвои. Разноцветные бумажные и сатиновые бантики и репьи были сделаны девушками и прикреплены пряжей к веткам. Холодная, нетопившаяся русская печь пахла глиной и пересушенным песком.

Пол был затоптан по случаю большой грязи на улице, лавки засорены обрывками бумаг и шелухой семечек. Четверо комсомольцев — полный состав ячейки — готовили стенную газету и набивали цыгарки махоркой из стоявшего посреди стола глиняного худого горшка. Материала для газеты недоставало, комсомольцы зевали и от скуки пели частушки под аккомпанимент Гришки Овина, изображавшего языком гармонику. Овин сидел, закинув нога на ногу, перебирал в воздухе растопыренными пальцами и разводил руками, заунывно выкомаривая языком:

Ирва — рвия, ирва — рвия,
Телелень, тень, телелень...

Остальные сидели с ногами на широких тесовых скамьях; хриплые голоса их сливались в несуразный вой.

— Какая кра-со-та-а! — проблеял мелодичным тенорком Афанас, переступая порог избы. — Братцы, какая красота! — еще исступленнее повторил он.

Ребята были поражены появлением столь неожиданного посетителя и, вытаращив глаза, быстро повскакали со своих мест. Афанас подошел к столу и мягко согнулся над материалом стенной газеты.

— Ах вы, молодежь, вы, молодежь, — соболезнующе закачал он гривастой головой, — золотая вы наша молодежь, труженица!..

— Ты зачем, кадило, пришел? — басисто спросил секретарь Васька. — Говори!

— Вот она — красота новой жизни! — артистически обвел рукой Афанас избу. — Да как к вам не прилетать, да как к вам не тянуться всеми сердцами нашими, всеми помыслами? Новую жизнь закладываете, а?

— И вовеки веков аминь! — прохохотал Гришка Овин. — Ребята, давайте его острижем!

— Чего с ним ладаниться, — метнулся к Афанасу Федька. — Мы к нему не ходим, — и ему к нам незачем.

— А загляните, места во храме много, — проговорил Афанас, усаживаясь. — Но у вас у самих здесь недурно, вон как изукрасились.. вон как!

— Ну, а дальше что? — спросил Васька и тоже сел. Ребята последовали за ним и были рады случаю пошутить и поиздеваться над Афанасом.

— А то, что я одобряю ваши идеи, — не торопясь, ответил им гость. — Вы за людей печетесь, корысть свою оставили, не о себе думаете — одобряю очень!.. Молодцы!.. Другие во пьянстве и разврате губят сами себя, а вы вот собираетесь усталые, изможденные дневными трудами и заботами, и пишете, пишете статью за статьей для просвещения опустившихся и падших, для просветления и образумления их.

— Ну, завел свою поповскую шарманку, — рассмеялся Федька. — Мы не старухи, мы с тобой боремся. И будем бороться, не сдадим.

— Это ваша обязанность бороться, — нашелся Афанас. — И боритесь, потому в нашем брате много лжепророков и лжеучителей.

— А ты самый ярый из них!

— Много таких, — невозмутимо продолжал Афанас, — для которых церковь — только поприще для наживы и тучное пастбище для ожирения. Они не делают снисхождения ни нищему, ни имущему, им только вынь да подай — да побольше. А за что?.. За удовлетворение духовной потребности! Разве это не грабеж?.. Грабеж! А бывает, что у бедной вдовы и соли-то в дому нет, а они рвут, рвут, рвут яко львы!..

— Я бы арестовал всех попов — темных стервятников, — ненавистно процедил Васька. — Да такого закона нет, руки связаны!

— Таких-то следует, следует, — нараспев поддержал Афанас. — Согласен, истреблять их надо, щадить не стоит. Они не должны брать последнее, должны поступать согласно сочувствия, а не грабить.

— Не р-р-разжигай мою злобу! — вскочил разжалобленный Овин.— Сделай милость, уйди, пока космы не вытаскал!..

— Обожди, чувствительный человек,—елейно пропел Афанас. Я сам — не из таких, не из таких я... ты это запомни! Я пришел вам полное сочувствие выразить и предложить науку свою вашему делу.

— Остричься хочешь? — разом вырвалось у ребят.

Им страстно хотелось этого, они мечтали в долгие тоскливые вечера о влиянии на попа и дьякона, но заранее были убеждены, что те не послушаются их благодаря «закоренелости». Ближайшие ячейки давно уже гордились подобными победами и упрекали праскухинцев в бездеятельности. Афанас заметил их удивление, что-то сообразил и лукаво улыбнулся в примасленную бородку.

— Где ножницы, а? — исступленно заревел Федька Маринин. — Аллилую стричь будем!

— Погоди метаться, — удержал его четвертый комсомолец, Ванька. — Мы при публичной обстановке это сделаем, с митингом.

— Да бросьте вы издеваться, черти! — сурово осадил их Васька, неожиданно почуявший большую добычу. — Батюшка... то есть гражданин священник, как тебя нам назвать-то? — с запинкой обратился он к Афанасу. — Ты в самделе намерен снять это самое?..

Он хотел сказать «снять сан», но не знал отроду такого выражения, и только непонятно перебирал растопыренными пальцами перед восковым, смеющимся лицом Афанаса. Ребята присмирели и ожидающе смотрели на попа в упор. Афанас лукаво блеснул цветистыми карасиными глазками и, не говоря ни слова, вышел из избы.

Ребята остолбенели и с горестью смотрели на захлопнувшуюся за Афанасом дверь.

— Это вы все смеялись! — заругался Васька. — Он — воспитанный человек, к нему нужно с подходом.

— Куда он, черная ряса? Мы шутя покричали.

— Вот теперь и лови его, — сокрушался Васька. — Надо было дипломатически действовать.

Но Афанас внезапно распахнул дверь и с размаху поставил на стол сверкающий граммофон с огромной яркозеленой трубой в голубых цветах.

— Дарю вам в похвалу и в поощрение!..

Он встал, немного отставив вперед правую ногу, и, откинув голову, приготовился произнести зажигательное слово. Пораженные комсомольцы одеревянели на своих местах: на лицах боролось уныние еще не потухшего разочарования с бурным восторгом вновь явившейся радости. На кудлатых головах щетинисто дыбились волосы.

— Дарю вам в похвалу и в поощрение! — нарушил тишину сладкий, но зловещий тенорок Афанаса. — Дарю вам в похвалу и поощрение за вашу неусыпную работу. За вашу неусыпную заботу и работушку в пользу всех бедных, в пользу всех угнетенных, в пользу беззащитных вдов и сирот, болящих и страждущих сограждан и всех стонущих под ярмом угнетения. Дружочки, вы объединились здесь, чтобы вызволить и просветить честных трудящихся из-под страшного многовекового мирового зла, чтобы вызволить их из грешных когтей поработителей и дать свободу их душам для безгрешной и светлой жизни. Вы предприняли себе целью выжечь в надземной атмосфере все электроны и атомы, все протоплазмы, пестики и тычинки, все злостные семена угнетения. Не смущайтесь, что мало вас! Дорого иметь одну умную голову, чтобы спасти тысячи миллионов. Дорого иметь победоносный, сожигающий пламень в сердцах и гореть этим пламенем, устремляясь к мировому добру и братской жизни всех трудящихся. Планы, что зажглися в ваших головах, с течением времени неисчислимо умножатся. Ибо один окунь выметает триста тысяч икринок, а сом содержит их миллионы. И если бы вся эта икра развивалась, не погибала в зеленых недрах вод, то не только реки и озера и пруды, но моря и океаны с заливами и проливами скоро не вместили бы всей этой рыбы. Так и вы: несите чистый огонь переустройства человеческой жизни и не огорчайтесь, что результаты обретаются медленно. Придет время, народ образумится и поголовно пойдет за вами, яко стадо за пастухом на тучные пастбища. Но вы — пастухи политические, и ваши обязанности во сто крат ответственнее. Вы не коров и свиней, а людей пасете, людей с разными характерами и устремлениями. Вы отвечаете за этих людей перед высшей силой природы, как бы эту силу ни называли по-разному. Одни ее называют «богом», вторые — «идеей», третьи — «сложной системой мироздания» и так далее. Но это не важно: вы должны людей всемерно ублаготворять и предоставлять им необходимые материальные возможности к жизни. Возникнет вражда между ними — тушите! Просят земли и правов — давайте! Ибо птица живет воздухом, бабочка — душеприятным солнцем, человек — землей и честными плодами с нее, как полноправный гражданин среды своей. Так вот работайте, достигайте, действуйте, а я пришел к вам помочь — ставьте меня на любое дело!

Афанас закончил, опустился на стул и пытливо уставился на комсомольцев, теребя тощими перстами гриву. С ребят лил градом пот, груди вздымались порывистым дыханием. Такого красноречия они никогда не слыхали, и Афанас зажег их сердца неспокойной завистью. Смысл закончившейся речи казался им не столько понятным, сколько увлекательным радужной расцвеченностью красивых образов и выражений.

— Вы это газетку приготовляете? — спросил Афанас, заглядывая в бумаги, как кот в махотку. — Я сам раньше в журналах писал, много упражнялся в статейном изложении фактов и мыслей.

— Да, мы готовим очередной номер, — глухо отозвался Васька и не узнал своего голоса.

— С большим удовольствием помогу, — вдруг решил Афанас. — Привлекайте меня, привлекайте! Рад!..

— Это нужно будет на бюро решить, — проговорил Васька, самый смышленный и бедовый из всех комсомольцев.

— А много вас в бюро-то?..

— Я, Федька, Гришка — трое! — ответил Васька.

— А всех?

— Всех четверо, Ванька еще с нами!

— Он кем?..

— Он кандидат бюро, тоже присутствует на заседаниях. Только с совещательным правом пока.

— Значит, все в бюро, все, — лукаво ощерился Афанас. — Так, так, правильно! Все начальники, подчиненных нет.

— Мы живем неплохо и без начальников и подчиненных, — подчеркнул Васька. — Права у нас одни для каждого.

— Так решайте, братцы, — попросил Афанас. — Время позднее.

— Завтра скажем, — решил Васька. — Иди, спи! Только если ты с какой-нибудь провокацией, так мы и навихлять тебе можем.

— Граммофон-то оставишь? — спросил Овин, неотвязно вертевшийся около блестящей машины. — Мы тебе благодарность через газету вынесем.

— Нужно будет советских пластинок достать, а то здесь все со вредной идеологией, — проговорил Васька, разбирая пластинки.

— Эх, речь бы Ленина нам сюды! — загорелся Ванька. — Владимира Ильича бы!

— Решайте, ждать буду, решайте, — проговорил Афанас от порога. — Если что — сан снять соглашусь! А работник я вам за первый сорт буду.

Он вышел, оставив комсомольцев разрешать такой сложный и необыкновенный вопрос. Но ребята прежде всего закурили, наголодавшись при Афанасе, при котором стеснялись заниматься этим, и потом только открыли «заседание бюро».

— Надо привлечь и использовать, — сказал Овин. — Он вона какая башка! В ораторы бы — так сразу полную революцию на селе произвел бы.

— Плутоват больно, опасно, — проговорил Васька.

— Мы под надзором будем держать. Станем перевоспитывать.

— За ним не уследишь. Уж больно хитер он и классово неприемлем.

— Снял бы саван, — нарочно проговорил для смеху Васька «саван» вместо «сан». — Тогда с почтением.

— Он обещается снять, чай, слышали!..

— Ну разве он снимет?

— А так — вопрос усложняется.

— Тебе все мало, — возразил Ваське Овин. — Человек граммофон подарил, разве это не денег стоит?

— А может он взятку дал, чтобы на суд потребовать за такую штуку?

— Ну, выдумываешь фантазию. Это для культурно-общественной цели.

— Я вношу предложение! — закашлялся от глубоко хлебнутого дыма Ванька. — Мы берем Афанаса на должность редактора стенгазеты.

— По-моему, дать ему по шеям, а граммофон оставить, — решительно заявил Васька. — Еще в укоме критику наведут да взгреют.

— Нет уж как ты хочешь, а мы берем, — взгреб в обе руки валявшиеся на столе бумажки Овин. — Вот у нас ни чорта здесь нового нет.

Хотели описать хулигана Зубра, а слов подходящих нету. А на одном заглавии «все трудящиеся — на борьбу с позорным хулиганством!» далеко не уедешь.

— Берем на службу социалистической стройки, — согласился и Ванька. — Нам специалисты до-зарезу требуются.

— А если нагадит?

— Ничего, только бы между нами спайка была.

Ребята поспорили было еще с Васькой, но когда проголосовали «за» — поднялись четыре руки. Васька не хотел быть один в воздержавшихся и поднял заодно со всеми. Овин кое-как завел граммофон и, положив первую попавшуюся пластинку, замер от сладчайших звуков. Просторная изба, не пахнувшая жильем, потонула в незнакомой музыке марша «Гибель Петропавловска». Ребята закружились по избе в бурной и развеселой пляске.

Граммофон орал в освещенной избе ячейки далеко за полночь. Зычный, жестяной голос его соперничал с тревожным ревом пароходных гудков, сверкавших тысячью огней на просторной потемневшей Волге.

* * *

Граммофон привлек в комсомольскую избу все скучающее праскухинское население. Девки грызли семечки и разучивали новые танцы «по пластинке», ребята маршировали по избе под музыку марша «Наполеон» или вальса «Райский мотылек». Приходили также и мужики.

В теплые праздничные вечера граммофон выставляли на раскрытое окошко и крутили ручкой, не переставая. Немало удивлялись бабы, что скупой и рассчетливый Афанас бесплатно уступил граммофон ячейке.

— Вы какую-нибудь льготу ему изделали, не иначе? — рассуждали они. — Так он битого горшка не уступит.

— Мы его сана лишим, — кричали из-за трубы комсомольцы. — В свою ячейку зачислим.

— Пойдет он к вам, дожидайтесь!

— Ему и в попах неплохо живется. Вон какие доходы; одного масла за круглый год не съедает.

— Значит, не из-за корысти к нам идет, а по полной сознательности.

— Его сознательность только собаке под хвост, да и то самой паршивой, чтобы не жалко было!

— Ничего, мы его обработаем, укоротим длинные волосы.

— Полно-ка, наплюет он на них — и все. Вот староста Долгобородов сказывал, что Афанас ходил по селу, собирал шерсть по домам — да напросил так мало, что ругался на чем божий свет стоит. Безбожниками называл, отступниками.

— Неправда, он теперь за нас горой! На словах сам признавался!..

— Горой за кого-нибудь, да не за вас!

— Жалко вам, что он расстригается, вот и болтаете.

— Для нас он не только расстригись, а и глотку-то перережь, и то не заплачем. Такого собаковатого попа не бывало еще. За что только и держат пса заядлого мужики!

— С мужиками-то ладит он, ну а с нами бесчинствует. А мужики разве все видят? Нам больше всего касаться приходится.

Афанас стал частым гостем в ячейке. Правда, он являлся туда как будто крадучись, когда отужинавшие праскухинцы мирно засыпали в душных пологах на мостиках и в чуланах. Но комсомольцы этому не придавали значения. Он засиживался с ними долго, редактировал и писал

заметки, а потом и всю газету стал брать на дом и наутро приносил ее совершенно готовенькой. Афанас пытливо расспрашивал комсомольцев о текущих делах, писал отношения в уком и разные места и обхаживал ребят незаметно. Те постепенно располагались к нему доверием, целиком свалили на него всю работу по «Праскухинскому середняку» и сами только подписывали набело приготовленную газету.

* * *

Праскухино жило попрежнему дикой и однообразной жизнью. Хулиган Зубр высадил окошки у жены красноармейца и жестоко избил деверя Троши — Пимена. Барживик Калиткин держал целый год в работниках безземельного парня Агафона Лыко и после ссоры с ним выгнал его на улицу. Договора с волбатрачкомом не было, в суде Агафон добился только половины платы, но и то Калиткин задерживал с выдачей. Два середняка Василий и Иван каждую ночь ездили воровать бревна из государственной дачи, наконец лесник поймал их и обложил штрафом. В семьях стон и слезы: мужиков посадили в амбар до судебного следствия, милиция описала имущество.

Эти три истории комсомольцы решили описать и поместить в газете, чтобы не щадить конкретных носителей зла и невежества. Афанас уже начинал тяготиться «технической работой», и комсомольцы порешили возложить на него работу по написанию этих заметок. Тот решился «оправдать доверие» и, получив от ребят подробные сведения о происшедшем, бросился «выполнять задание» немедленно.

На третий день также поздним вечером он с улыбкой явился в ячейку. Осторожно вынул из грудного кармана ластиковой рясы нежно свернутые бумажки и положил их на стол, поочередно потрепав комсомольцев по здоровым шеям.

— Зажигательно изложил, — заморгал он карасиными глазками. — Многое похвалы достойно.

— Да тут четыре! — изумились комсомольцы. — О чем последняя?

— Три-то и помещать неловко, — запел Афанас, — это цифра сугубо религиозная. Мы ведь рьяно поносим все религиозные догматы.

Комсомольцы внимательно всмотрелись в написанное и не без удивления обнаружили три «притчи» и «послесловие».

— Это ничего, сойдет лучше, — спокойно убедил Афанас. — Скорее на читателя подействует, а то приедаются скучные статьи да заметки.

Комсомольцы вчитались еще и остановились на подписи: «Написаны благочинным отцом Афанасием Белокрылянским».

— Нет, это уж совсем не подходит, — озадачился Васька. — Ты ведь сбрасываешь рясу и поповство?

— Пока при колебании, а потом не воздержусь, потрафлю.

Ребята посоветовались и решили было совсем не печатать, а переделать заново. Афанас ловко извертывался и, наконец, убедил.

— Что вы, дружочки, разве можно такой материал отпускать? Вас и в других газетах за это похвалят.

Подписи изменили по единодушному решению всех.

— Раз ты не там и не здесь, тебе такую и псевдониму нужно.

«Притчи» поместили сразу в одном номере газеты и по этому случаю несколько увеличили ее размер. Расположение «притч» было в том порядке, в каком возникали страшные события в селе Праскухине.

Свежий номер красовался в обрамлении яркокрасной бумажной рамки и привлекал к себе широкого читателя. На его переднем плане были помещены:

Современные притчи Афанасия Раздвоенного.

Притча о нахале.

Кто веря в веруемое посрамлен был! Кто укажет на лягушку-пьяницу или воробья-табачника! Кто покажет на плодоносящий куст смороды и назовет его сквернословником или грубияном!

Братие-граждане! Человек ныне пошел нахал, неверующий ни во что и глумящийся над высокими устремлениями. Тот, кто рвет изо рта другого добычу и хватает на задушие себе всякие блага, только этот и живет без горя и нуждаемости! Для него нет ничего святого ни в заветах матери, ни в печали друга. И готов он учинять побоища из-за каждого пустяка. О, он злономеренник есть и многозавистник; возвышая ничегонеделание в устав жизни, он лишь думает: как бы отнять у своего соседа плоды неутомимого труда. Для него жизнь — адское побоище, хапание, хватание за глотку ближнего. Он живет без красоты помощи в нужде другому, без утешения чужой скорби и без всеохватных воспламенений тихих вечерних молитв, устремляющихся на возвышенности человеческого разума. Он лишь мордобойствует и членовредительствует, сокрушает ребра других и отупляет их ярой злобой ненавистничества. Но благословенна общая борьба за освобождение из-под гнета! Хотя в действительности нашей сельской жизни и видим мы прегорькое преувеличивание: здесь нахал не борется за соседа и не служит интересам брата, а удовлетворяет только собственную корысть. Вот Семка, по ехидному названию Зубр, разбил оконницу в мирной хижине и учинил членовредительство хозяину — дряхлому и немощному старцу, отдающему богу душу. Отчего это? Оттого, что воля дана и огромная набалованность! Его бы надо сечь до могза костей его, ему сокрушать бы ребра его и держать при трепете!.. Но теперь отцов сажают в тюрьмы за поучение собственного дитяти. Тако, тако, граждане, тако, тако, мирные братие!

Притча о бедняке Худобе и кулаке Акуле Акулиновиче.

Эту притчу составил я в поучительное назидание гражданам по поводу возникшей истории между хозяином Калиткиным и его работником Агафоном Лыко.

Жили по соседству два хлебопашца в одном и том же мирном селении. Одного из них звали Худобой, а другого — Акулой Акулиновичем. Худоба жил бедно и в не непроворотимой нужде, а Акула Акулинович пухнул достатками и жирел. У Худобы была великая семья в четырнадцать человек, а у Акулы, — малая: в пять человек. Худоба имел по две небольших полоски в каждом поле, да и те пустовали от бессилья, а Акула засевал своим зерном половину целого поля. Так и жили они поживали: Худоба — в лохмотьях и недостатках, а Акула — в суконных поддевках и в непроворотимом добре. На этом и застигла их буря, с грозным именем: Революция. Разверстали землю всю по едокам, сенокос — тоже, усадебные земли — тоже. Досталось Худобе четырнадцать десятин, а Акуле — пять с половиною. Запахал и засеял Худоба великую землю, потому что семья была у него при силе и возрасте. Собрал он урожай богатый, накупил скота и телег, конской сбруи и кос с граблями и решил жить — крепко хозяйствовать. Но вот приходят к нему из отдела податей и налогов и облагают его тяжелой податью. А на другой год — еще больше, а на третий год — и еще больше! Прожил тогда и размотал Худоба имущество и решил жить снова по-беднядцки. А у Акулы Акулиновича стало крепко недоставать земли, и хозяйская сила его захирела. Обкладывают Акулу налогами и податями, лезет Акула из кожи, а никак всех налогов и податей уплатить не может. Видит: власть стала помогать Худобе деньгами и скотиной, а Худоба проживает и прогуливает полученное, а землю держит в запустении нарочно. Пришел он тогда к Худобе и говорит: «Худоба, отдай мне десять десятин земли, она у тебя пустует пустошью! А меня, как видишь, задушили налогами и податями, но земли мало, чтобы снять урожай и уплатить подати». Выслушал его Худоба и бессердечно сказал: «Нет, Акула! Отдать тебе я не отдам, а продать — продам!» Купил Акула у Худобы землю и стал ее обрабатывать. Работает ото всей силы, недосыпает, недоедает, а подняться на прежнюю высоту и уплатить все налоги и подати так и не может. И случилось, что в одном и том же царстве жизнь для хлебопашцев стала разная. Один гуляет и чаевничает, проживает и проматывает помощь от государства, а другой бьется из последних сил под гнетом податей и налогов и никак выбиться не может. Так и живут они, соседи Худоба с Акулой, разной жизнью и будут жить так до скончания века.

Притча о друзьях, поменявшихся шапками.

Один бедный человек доел весь свой хлеб и думает: «Как же дальше жить?» Семья была у него большая, работников из них, кроме хозяина, не было. Думал-думал он так всю ночь и под утро решил: «Дай пойду в лес, нарублю осиннику, наделаю корыт и продам на хлеб для пропитания своего семейства!» Сказано — сделано. Натесал бедняк корыт и повез их на базар за Волгу. Приехал на базарную площадь, распряг лошадь и стал ждать покупателей. Ходит народ по базару, гомонит и волнуется, а корытника будто и не замечает. Подошел, наконец, один высокий мужик с густым голосом и говорит: «Почем корыта?» Корытник отвечает ему: «А как другие продают, так и я отдам». Поторговался мужик, купил корыто. Только успел он отойти немного, как к корытнику подбегает милиционер и говорит: «Предъяви патент, а то штраф уплачивай». Корытник испугался и говорит: «Я своим изделием торгую, а не перепродажным». Заспорили они, дошло до того: милиционер поволок корытника в отделение. Увидел корытника начальник и стук по столу кулачищем: «Написать протокол и посадить под арест!..» Оробел корытник, затрясся, но показал начальнику бумажки от совета: «Я своим изделием торгую, а не перепродажным». Отошел начальник, сделался скучным и отпустил корытника на базар. Подошел корытник к своему возу, а ему базарники и говорят: «Дал бы ты лицемеру на бутылку — до начальника не дошло бы». Удивился корытник беззаконию милиционера, продал корыта подешевле и поскорее уехал с базара. Через неделю опять не стало хлеба у корытника, лежит он на голом полу и думает: «Как же дальше жить?» Ворочался он всю ночь с боку на бок и ничего придумать не мог: «С корытами теперь нельзя ехать, милиционер запомнил меня и на этот раз оштрафует обязательно...» Думал-думал, на улице рассвело уже, ничего надумать не смог и решил обмануть милиционера. Пошел к своему другу, соседу-грибнику, и поменялся с ним большой мохнатой шапкой, в которой ездил с корытами на базар. Заодно и его сманил продавать соленые грибы и капусту. Вот приехали друзья-соседи на базар, остановились на том же месте и развязали товар. Чуть успели они это сделать, как подбегает к ним милиционер и прямо к грибнику: «А, ты с грибами во второй раз приехал!» Испугался грибник, но показывает ему удостоверение, что торгует грибами своего набора, а не перепродажными. Милиционер не слушает его и говорит: «Не ври, я тебя по шапке сразу признал». Поволок грибника милиционер за шиворот, и там посадил его начальник в холодную. А корытник стоял в стороне и про себя смеялся своей выдумке: «Неправду неправда бьет».

Я изложил в сей притче грустное происшествие о середняках Василии и Иване, спойманных представителями лесной охраны. Однако чем же жить, если нет хлеба и возможности его добыть на пропитание? Я прошу вас, граждане-миряне, вдуматься в смысл этой горькой притчи и... заклеймить позором расхитителей народного леса!

Под притчами узористой славянской вязью было написано «Послесловие:

Так вот, любезные сограждане мои, до чего дошла наша заблудшая жизнь! Надо, надо ее освежить, надо и ласкою осердечить! Мы должны очистить ее и от злобы и от торговли, от вражды и многозавистия, от недоверчивости и сумрака. Человек — это покоритель и господин земли, и эта земля должна быть предоставлена ему по первому требованию. Всех паразитов земли, не нуждающихся в ней, нужно расстреливать. А всех просящих землю нужно наделять и благословлять. И в первую очередь нужно наделить духовного отца, потому что он — ответчик за ваши души и бдительный страж перед темнотой. Нужно также снять с него и право бесправия, ибо голос нужен ему для пробуждения сердец и умов ваших. Ваше доверие оправдается, затрата окупится сторицей и прибылью. Мне и всего-то нужно шесть-семь десятинок, а от праскухинского полюшка и незаметно будет моего клиночка. От большого каравая ломоток не милостыня!

Селькор Красноголосов.

По нижнему краю газеты комсомольцы написали несколько строк, как пишутся в крупных газетах сопроводительные замечания «От редакции». Строки эти гласили:

1) Заклеймить позором хулигана Зубра, терроризирующего мирных трудящихся.

2) Усилить конфликт между Агафоном и Калиткиным вплоть до нового судебного разбора.

3) Занести на черную доску расхитителей народного леса, середняков Василия и Ивана Митрофановых.

4) Требование земли гражданином Афанасом принять к сведению.

Остальной газетный материал представлял собой перепечатку разных циркуляров укома, небольшую сельскую хронику и воззвание к крестьянам о своевременной уборке аржаного поля.

Обыкновенно читательским активом была молодежь. Ребята прочитывали в газете однообразные и скучные заметки, но устно передавали потом по селу в самых потешных и развеселых тонах. На этот раз газета привлекла половину Праскухина. Мужики, не знавшие до этого о существовании «Праскухинского середняка», сейчас толпились у газеты и отталкивали визгливо любопытствующих грамотных баб. Даже девки чаще стали собираться в избу и постоянно толкались около газеты. Среди читателей велись самые разноречивые толки.

— Коли поп написал, значит не о пустом!

— Насчет налогов тут не указано? Может, какой дикрет новый перепечатан?

— Ему что о налогах, он безземельный!

— Да это он проповеди пропечатал, — неистово побожилась баба. — Я не раз в церкви слыхала.

— Слог подходящий, смахивает на церковное.

— Ну, а новенького ничего нет?

— Какое! — отмахнулся мужик, отходя в сторону. — Все о старом написано. Притчами, согласно святой веры, все истолковано.

Комсомольцы неотступно разъясняли, что о чем написано, и добавляли от себя, что могли. Впечатление у каждой читательской группы было свое. Одни уходили совсем не понимая того, о чем говорится, другие видели в написанном только старое, третьи — никому ненужное занятие попа Афанаса, четвертые усматривали в этом привлечение духовенства к общественности и уходили сердитые и недовольные, в зависимости от убеждений.

Но пронырливые кулаки раскусили, чем пахнет это событие, и, собравшись в просторной горнице церковного старосты Долгобородова, отпраздновали «начало» с водочкой.

— Прямо скажу: оплетет — и не вылезут! — смеялся в курчавую бороду Калиткин. — Не такая собака залаяла, чтоб зазря!

— С такого конца сумел заехать, — подтвердил Долгобородов.

— А что?

— Дескать, сан сниму — и в вашу компанию!

Плечистые и высокогрудые праскухинские зубры расхохотались.

— Земли будто просит! Намек прямо поставил.

— На этот счет в совете бы нужно?

— В со-ве-те, — передразнил Калиткин, вымахнув из-под кафтана густую метлу бороды. — В совете ему насчет земли бесполезно действовать. Если бы могли, давно наделили. Но их боятся, комсомолодцев-то этих. Потому, все-таки, кабы чево нехорошего не произошло. А ежели из ячейки-то ихней, прости господи, согласье будет, так совет тогда не обидит.

— Граммофон свое дело сделает, — промолвил Долгобородов. — Усластит музыкой и не ихнего брата.

— Афанас почище граммофона обстряпает.

— Да уж раз взялся, так доведет до конца.

Собеседники неторопливо опрокидывали полные рюмки и с довольством гуторили о предстоящем поражении комсомольцев.

Под конец вечера они порешили собрать пятнадцать рублей на газету и через Афанаса как-нибудь передать в ячейку. Им казалось, что ячейка посмотрит на это как на факт большой общественной значимости и особенно кусасто не станет прохватывать кулаков.

* * *

В ячейке произошел раскол. Вдумчивый и до некоторой степени опытный Васька стоял на изгнаньи Афанаса из ячейки и требовал окончательного разрыва с ним. Васька не прошел мимо насмешливых уличных разговоров и уразумел их выпирающий противообщественный смысл. Дома ругал его отец и за граммофон и за притчи и советовал поскорее выбросить и то и другое. Старик и думать не хотел, что Афанас без какой-то задней мысли поговаривает о снятии сана, жертвует граммофон и пишет в комсомольской газете.

Это потвердилось еще крепче, когда братишка Васьки Сергунька рассказал дома, как пировали кулаки у церковного старосты и что было нарешено там. Воспользовавшись тем, что хозяин был занят с гостями, Сергунька с ребятишками забрался вечером в огород за малиной и подслушал там, что говорилось у старосты.

Все это Васька взял на заметку себе и стал настаивать перед ребятами на своем решении. Ванька присоединился к нему сразу и определенно. Федька и Гришка Овин были решительно против.

— Вместо того чтобы помочь человеку выпутаться из цепких лап суеверия, мы только травим его, как собаку.

— Конечно, человек закоренелый, пропитанный в опиуме.

— Так вот — горбатого могила исправит, — хмурился Васька. — Его в исправдоме переделывать, а не с нашими силами.

— Чепуха, — возражал Гришка Овин. — Ты какой-то упадочник стал. По-моему, не нужно быть и марксистом-ленинцем, если не видеть в человеке во-время его социальных запросов.

— Граммофон зря бы не подарил, — поддерживал секретаря Ванька. — Значит, политическую цель имел в виду. Сан-то он бы мог и без граммофона снять.

— В селе смеются над нами, а в укоме, пожалуй, может серьезно нам нагореть.

— Мы не должны сдавать политической линии, — резал на это Федька. — А ячейка наша слаба культурными силами. Если попа не обратим мы в свою веру, так уком тогда еще больше задаст.

— Вязаться с ним тоже рискованно. Он блокируется соглашательски, а не идейно.

— Все-таки он оживит ячейку. Вот видишь, какая газета вышла! Все село читать приходило.

— Тогда надо собрать всех старух, колдунов и черносотенцев, может и они оживят ячейку.

— Ну, это уж полемика, а не доказательство!

Афанас по обыкновению застигал их на этом, как будто он находился где-то вблизи и подслушивал. Он приносил комсомольцам сотового меда с пасеки и заводил речь о земле открыто. Соглашался за это пойти на все:

— Вы сходите, братцы, в совет, сходите, поговорите! Там только за вашими умными головами и дело стало. Дадут мне земли — проверчусь я в церкви годика два, пока не соберу урожай с землицы, а там и сан сниму, остригусь. Выводите меня на площадь, берите ножницы и стригите, словно барана!.. Соглашусь!.. Митинг откройте, с речами выступите. Праздник-то какой у вас будет, праздник-то!..

Когда он говорил так, Васька и то начинал колебаться в своем убеждении. Ему казалось, что он напрасно идет против человека, правдиво стремящегося к обновлению жизни, и что он отталкивает его от

этой возможности. Афанас действительно много хитрит и плутует. Но затевать такую серьезную игру с ячейкой для него не может быть не опасным. Это должно быть для него самого понятно и ясно. Пока он действовал только в церкви и наживал хозяйство, ячейка могла нажимать на него лишь общественно-культурными воздействиями и средствами. Но общественность в селе самая слабая и застойная, еще не вступившая в фазу открытой и решительной классовой борьбы, а сильных культурных средств и возможностей ячейка не имела. От этого положение Афанаса продолжало быть спокойным и прочным. Вцепиться в него ощутимее и больнее у комсомольцев не было ни повода, ни подходящего случая. Сельский приход Афанаса был, главным образом, крепко середняцким, затем высоко зажиточным и определенно кулацким. Бедняцкая часть была небольшой, жила не только крестьянством, но и отходными заработками на лесных разработках, или работала в навигации на Волге. В общественной жизни бедняки еще не представляли собой верховодящей роли и продолжали оставаться под давлением кулаков и зажиточных. Именно такие общественно-социальные условия и были для Афанаса наруку. Он поповствовал и жирел, развивал свое влияние на местное население и не встречал ни должного отпора себе, ни наступления на захваченные позиции. Но теперь комсомольцы могли оказать ему содействие в получении надела и будут в состоянии потребовать от него выполнения своих обещаний. Не может же он отделаться одним увиливанием и отговорками!

Так рассуждал Васька, стараясь уразуметь смысл отношений Афанаса с ячейкой. Ему казалось, что для попа не будет возможности извернуться в будущем и безнаказанно выпутаться из тех обстоятельств, которые он затеял сам. К тому же Ванька при Афанасе прямо поддерживал Гришку с Федькой. Дальнейшее несогласие в этом вопросе могло окончательно развалить ячейку.

— Я уж в епархию написал предупреждение, — показывал Афанас какую-то исписанную бумажку. — Пусть нового вместо меня подыскивают. От половины молебнов и треб отказываюсь. Сокращаю и свертываю деятельность, только за землицей и дело стало. Решайте скорее, не тяните мою юдоль...

— Если ты обманешь, в суд подадим и не отступимся! — резко озадачил его Васька. — Тогда ты не жилец на этом свете!

— Недоверие, полное недоверие, — делал обиженный и крайне оскорбленный вид Афанас. — Я человек духовный, старый, мы совесть еще имеем, батюшка!

— Ну, то-то!

— Я — за! — крикнул Ванька.

— Подтверждаю единогласно, — сказал и Федька.

Овин схватил бумагу и принялся писать:

— Фиксирую — и дело с концом. Земли в обществе много, отрежем десятин десяток, какая разница!

— Я пчеловодству вас обучу потом, — обнадежил обрадовавшийся Афанас. — Разведете пасеку, потом организуем хор. И будут у вас благолепие и чинность, весьма похвальное времяпрепровождение.

— Даешь — и кончено!

— Протоколирую, — продолжал Овин, дописывая. — Формулирую содержание кратко.

Он кончил и зачитал, что ячейка ничего не имеет против наделения попа Афанаса землей, если он откажется от религии и снимет сан.

Ребята проголосовали, но Васька не поднял руку, оставшись на этот раз в стороне от этой процедуры. Это был первый случай в праскухинской ячейке, когда при голосовании не поднялась заодно со всеми рука одного полноправного члена.

— Очень приятно видеть такую сознательность! — воскликнул Афанас и пожал комсомольцам руки.

— Ну, теперь за тобой дело.

— Ну, теперь за мной дело не станет, —почти передразнил Афанас, забирая с собой протокол комсомольцев. — До свидания, граждане!..

Он вышел, производя рясой какой-то необыкновенный шорох, а комсомольцы завели граммофон и голосисто затянули песню, словно косцы, управившие трудную сенокосную пору.

* * *

Дни проходили над Праскухиным, как и над тысячами других деревень и сел. По утрам из-за далекой волжской горы круто всходило солнце, в полдни пекла жара и пустела Большая Завязная улица, вечерами наступала прохлада и возвращались с поля стада, неся на село звон колокольцев, мычание и рев, и поднятые тучи дорожной пыли.

Афанас и в этом однообразном течении времени действовал решительно и неутомимо. Принес протокол в сельсовет, там многозначительно и с опаской покачали головами, но передали на сход. Разноголосый и, как правило, несговорчивый сход реагировал на это на сотни ладов. Одни прямо стояли: «Надо наделить, пусть работает, но без наемной силы!» Их покрывали густые и визгливые голоса: «И так развелось кулачья немало, еще одного прибавляете!» На это разыгрывалась яростная буря новых выкриков: «Нынче нет кулаков, а есть интенсивники!» — «И без того задушили нашего брата, дыхнуть нет возможности!» — «Лентяям завидно на нас, вот и рвут честных тружеников!» Наверх опять выбивались голоса протестующих: «Вы не альтенсивники, а мироеды»! — «Доколь будет сила за вами, а?» — «Нахапали земли и покосу на задушье, и все самого лучшего!» Бурные взрывы спадали, и голоса продолжали орать в одиночку: «Беднота, голь-матушка, пролетаристы! Ни налогов на вас нет, на разбойников, ни повинностей! Работайте, и вас в кулаки зачислят!» — «Хорошо тебе глотку рвать, еще старой силой орудуешь! Нет, ты попробуй с моей семьей да со скотиной подняться! Запоешь не так, окаянный!» С этого неизбежно переходили на бесславных отцов и матерей, на кривых тещ и обесчещенных девок. Перекапывают всю зловонную и ядовитую грязь и мерзость вплоть до девятого колена и осинного кола на могиле отошедшего лет сто назад родственника. Глотки устают орать, становятся сиплыми, надрывными, сила делает свое дело — и все кончается с заведомой предопределенностью.

Афанас получил надел, хотя и с оговорками и с предупреждением. Мужики наперебой стали ему пахать и засевать землю «за требы»; в церкви попрежнему продолжал блеять лукавый и лицемерный тенорок. В разговорах с комсомольцами непременно отыскивались убедительнейшие мотивировки, благодаря которым «стрижка» и «снятие сана» откладывались на неопределенное время.

— Вы, ребятушки, не хватайте меня за горло, — твердил Афанас, поставив перед ребятами решето с желтыми сочными яблоками «украинский малет».— Мне нужно книг советских начитаться сначала, а то со старинными знаниями нынче никуда не сунешься.

— Ну что ж, вали, принимайся скорее, — старался подвести его к книжному шкафу Гришка Овин. — У нас кое-какое барахлишко и сейчас есть.

— А ты разорись, да и выпиши газету «Известия», — подсказал Федька. — С этой газеты ты сразу на политические ноги станешь.

— Куда тут одному такую выписывать! Дорого, ребятушки, одному-то, — жаловался Афанас. — Но я кое-что предпринял на этот счет.

Он откинул длинную полу рясы и достал из кармана нижних штанов бурый сафьяновый бумажник. Неторопливо порывшись в нем, вынул пятнадцать рублей, данные ему кулаками, и передал комсомольцам:

— Держите-ка! Это я провел среди наших крестьян коллективную подписку на газету.

— Ага, раскачались-таки, темные головы!..

— А это все я их сколотил, я, — подтвердил Афанас. — Вот уж одно общественное дело и сделано.

— Ладно, это мы зафиксируем, — согласился Овин. — Только ты бросай церковь все-таки, а то перед селянами неудобно.

— Какое тут неудобство может быть?

— Ну как «какое»! Мы тебе землю охлопотали под твое обещание. Помнишь, чай не забыл?

— Ну что ж, я три года на это выговорил. Сразу церковь я не могу покинуть. Нужно сначала от земли доходов дождаться и немножко окрепнуть хозяйственно.

— Проживешь и так, чего тебе. И все не как сыр в масле катаются.

— Вы за горло меня не хватайте, — возвращался Афанас к прежнему. — Торопиться нам некуда, и потихоньку все сделаем.

Но эти разговоры скорее свидетельствовали о «глубоком такте» бывшего иеромонаха, чем о неотложной необходимости их перед комсомольцами. Васька попал в Красную армию, ячейка без него заметно снизила темп деятельности и стала не такой уж страшной для Афанаса. Под конец тот стал заглядывать туда совсем редко, а при случайных встречах с комсомольцами отворачивался и делал вид, что не замечает. Когда же те продолжали надоедать ему своими напоминаниями, Афанас стал открыто поносить их перед обществом и старался всячески очернить.

— Нахалы, хулиганье бесшабашное! Чего отцы, матери смотрят на них, не знаю! Поглядел я чем они занимаются, — душу стошнило от безобразия и невежества. Жрут табачище непрестанно и еще село спалят, чего доброго.

— Волю им, окаянным, даем, а того не подумаем, что это на свою же шею, — поддерживали Афанаса крепкие праскухинцы. — Слыханное ли дело хулиганство терпеть у всех на глазах!

— Ясно: развращают молодежь и разным глупостям учат. То отца не слушайся, то иконы в печку бросай. Чего им больше, разбойничают и ладно.

— Дураки мы. Напрасно такую похабщину терпим.

— Нужно выставить их из избы-то, а то приедет из Сибири хозяин, с общества станет спрашивать.

— Конечно, в других местах такого безобразия не увидишь.

Все это поставило ячейку в такое положение, что загорись поблизости с ними изба — село растерзает их в миг без всякого раздумья и разбирательства.

Ребята после времени догадались, что укрепляться им надлежало не за счет «культурных» и явно чуждых элементов, а на широкой сельской

общественности. Но до Афанаса ячейка не заглядывала туда ни разу и ровно ничего не сделала там. Однако Афанас знал лучше их, куда и в какое время толкнуться, и успел напакостить им заблаговременно. Теперь и думать не приходилось, чтобы итти за помощью на сход или в сельсовет: там восстановлены против них мужики поголовно, и никакой поддержки найти было нельзя.

Вскоре настроение общества против комсомольцев усилилось еще больше. Середняки решили было выписать молотилку из-губернского склада сельскохозяйственных орудий и заранее собрали всю сумму денег для этого. Но ребята посоветовали деньги не отсылать, а сами написали туда письмо и отправили его по почте не заказным, а в одном пакете с отношением в губком комсомола. В результате прошло два месяца, из губернии ответа не поступало, и село во время молотьбы останется без молотилки. Авторитет ячейки упал в глазах праскухинцев совершенно.

— Ну, теперь видим мы, что на деле вы не горазды.

— Да разве это от нас зависело? — скорбно оправдывались комсомольцы. — Бюрократизма, видно, и в губернии много.

— Болтуны, шарамыжники, лоботрясы! — заключило общество и не стало разговаривать больше.

Между тем Васька слал и слал в ячейку категорические наказы об отобрании земельного надела у Афанаса. Но его пылкие инструкции казались досадной насмешкой окончательно запутавшимся ребятам. Они стали писать в уком о присылке инструктора-организатора для поправления своего расшатанного положения, но уком предпочитал осуществлять руководство лишь на бумаге, а не посредством теснейшей и оживленной спаянности. Отношения с учительницей стояли «в разрезе» с самого начала ее работы в Праскухине, и ребятам дорога к ней казалась навсегда заказанной. В комсомольской избе тяжелые вздохи стали слышаться чаще и чаще:

— Вся надежда на Ваську!

Но Афанас предлагает им написать своему вожаку, чтобы тот не спешил домой, а оставался на все время в городе:

— После демобилизации его на любой рабфак примут беспрекословно. Примут, напишите только. А выучится — так человеком на всю жизнь сделается. Здесь вы и одни управитесь!

Комсомольцы на это только сопели и в душе проклинали себя, что связались с хитроумным и заковыристым Афанасом. Однако расправиться с ним не было силы, и ограничивались только одним упрашиванием не ходить больше в ячейку.

— Только бы воротился Васька, а там мы по-другому станем с тобой разговаривать.

— Чего он вам мозги затемняет? Гоните! — советовал отец Васьки, когда ребята приходили к нему побеседовать на лавочке, около самого обрыва над Волгой. — Нужно вам было с таким треплом связываться!

— Да, запутались, — соглашались те. — Теперь нужно об одном мечтать, как бы ему подрезать крылья и надавать подзатыльников.

— Вот будут перевыборы, тогда старайтесь его на свежую воду вывести.

— Ладно, если хорошие партийцы приедут. А то с нашим обществом разве споешься.

Заходящее солнце медленно опускалось в огненные воды реки. Изредка пробегали вверх и вниз огромные белые пароходы в огнях и вздымали высокие взъерошенные валы, яростно разбивавшиеся о берега.

Комсомольцы провожали их долгими грустными взглядами за далекие повороты реки.

На фарватере зажигались бакены. По морковному, глинистому яру правого берега пылали пахучие костры рыбаков. Косматые струи дыма, черного как смоль, закручивались в воздухе, словно хвосты дворняжек, спутывались и медленно ползли над речным простором, ставшим после заката яркой сиреневой тканью. С полей и лугов поднимался холодноватый туман, и запахи жнив, оросившихся трав и деревьев, озер и земли делались ожесточенно острыми и густыми.

Театр Чехова.

В. А. Павлов.

(К 25-летию со дня смерти А. П. Чехова.)

I.

Критическая литература о Чехове обошла такой важный момент в творчестве писателя, как его драматические произведения. Единственно серьезным фактом в этой области являются беглые заметки В. Воровского, оценки В. М. Фриче в его интересном биографическом этюде о Чехове и аналитическая работа С. Балухатого, пытающегося раскрыть художественную природу пьес Чехова. Но если разбор пьес Чехова у В. Фриче является лишь попутным, поскольку автора в данном этюде интересовала прежде всего биографическая сторона писателя, — то работа С. Балухатого для широкого круга читателей вообще неинтересна: она очень специальна, а кроме того рассматривает свою тему с узко-формальной точки зрения.

Между тем не подлежит никакому сомнению, что эта сфера в творчестве Чехова представляет собою чрезвычайно важное явление, и не только для самого писателя, но и для всей позднейшей русской драматургии и в особенности театра. Вся новейшая история русского театра показывает, что театр Чехова оставил знаменательный след в театральном искусстве и драматургии, значительно повлияв даже на такого художника слова, как М. Горький. Поэтому, если говорить вообще о значимости Чехова-писателя, то особенно тщательно следует изучать его драматургию, которая является поистине творческой квинт-эссенцией писателя. Недаром сам Чехов придавал огромное значение драматическому искусству и великолепно сознавал, что пьеса требует от автора несоизмеримо больше творческого напряжения, чем беллетристика.

«Чтобы написать для театра хорошую пьесу, — говорил он, — необходимо иметь особый талант; можно быть прекрасным беллетристом и в то же время писать сапожницкие пьесы; написать же плохую пьесу и потом стараться сделать из нее хорошую, пускаться на всякие фокусы, зачеркивать, приписывать, вставлять монологи, воскрешать умерших, зарывать в могилу живых, — для этого надо иметь талант гораздо больший»... И при этом, ссылаясь на свою только что законченную пьесу, он добавлял: «Я замучился, и никакой гонорар не может искупить того каторжного напряжения, какое чувствовал я в последнюю неделю» [1]).

---

[1]) См. письмо А. Чехова к Плещееву в связи с окончанием пьесы «Иванов».

Если внимательно проследить весь творческий путь Чехова, начиная от его студенческих опытов и кончая последними вещами, то станет видно, что писатель все время мучительно, но непреодолимо тяготел к театру.

II.

В нашей критике установился довольно прочный взгляд на Чехова как на певца «тоски». На эту же черту указывает и В. Всеволодский-Гернгросс в своей недавно вышедшей «Истории русского театра». «Пьесы Чехова, — пишет он, — это пьесы интеллигентской тоски... в условиях реакции русской жизни восьмидесятых годов» [1]).

Это, конечно, верно. Однако, если этого не уточнить, то это значит сказать о Чехове в общем правильную, но далеко еще не полную и не ясную мысль. Ведь интеллигентская жизнь 80-х годов не исчерпывалась мотивами, характерными для чеховских персонажей. Ведь была жизнь и дворянской интеллигенции, наконец уже появились зажиточные интеллигентные дельцы, которые имели очень мало общего с персонажами чеховских пьес, и, наконец, зарождалась революционно-марксистская интеллигенция, представлявшая собою разительный антипод первым. Поэтому, чтобы ознакомиться с жизнью интеллигенции 80—90-х годов, надо читать не только Чехова, но и Л. Толстого, изобразившего дворянскую интеллигенцию, и П. Боборыкина, давшего портреты буржуазной зажиточной интеллигенции.

Чеховские пьесы как раз не знали ни крупного дворянина, ни блестящего буржуазного адвоката или инженера, ни, тем более, революционного интеллигента, а если и касались их, то лишь вскользь, лишь постольку, поскольку их основным персонажам приходилось с ними сталкиваться. Зато как только кисть Чехова-драматурга касалась разорявшихся дворян и разночинного, мелкобуржуазного интеллигента, так на его полотне сейчас же возникали чудеснейшие и колоритные портреты, создавшие великолепную галлерею типов.

Когда анализируешь драматические произведения Чехова, то прежде всего бросается в глаза, что эти пьесы не имеют героев. Отдельные герои, характерные для пьес Л. Толстого, здесь отсутствуют, а вместо них перед вами предстает большая толпа равноценных персонажей.

Вспомните хотя бы «Вишневый сад» — эту пьесу, вообще завершающую литературную деятельность писателя. На вопрос, кто является героем «Вишневого сада», читатель затруднится дать ответ. Правда, сам автор, как видно из его письма к К. Станиславскому, центральной фигурой считал купца Лопахина, между тем как мы все великолепно знаем по спектаклю того же Московского художественного театра, что за героев легко можно принять Раневскую и Гаева. Почему в самом деле герой Лопахин, а не разорившиеся усадебные владельцы вишневого сада, которым автором уделено больше места и которые обрисованы им подробнее и целостнее? Недаром сами мхатовцы так и рассматривали это произведение, как поэму о былой барской жизни, которую приходится разрушать со слезами [2]). Но в этой же пьесе можно найти еще и других героев. Очень легко предположить, что героями являются «дети» — студент Петя Трофимов с идеалом быть свободным, как ветер и Аня Раневская, с упоением вслушивающаяся в его наивные и абстрактные мечтания. И наконец, почему нельзя допустить, что герой пьесы — Фирс, который является

[1]) Всеволожский (Гернгросс), История русского театра, т. II, стр. 237, М.. «Теакинопечать», 1929.

[2]) К. Станиславский, «Моя жизнь в искусстве».

по-своему символической фигурой осколка крепостнической жизни. Бесспорно, история с забытым в доме Фирсом — это тоже вполне самостоятельная драма, Фирс в своем роде не меньший герой пьесы, чем остальные.

Такую же картину встречаем мы и в остальных больших пьесах Чехова. Читатель, конечно, долго не может решить, кто, например, герой «Дяди Вани», хотя, казалось бы, тут уже само название указывает на Ивана Войницына. Однако стоит только перечесть эту пьесу, как впечатление начнет мгновенно дробиться, перескакивая с Ивана Войницына на врача Астрова, а с последнего — на самого профессора Серебрякова. У каждого своя драма, и каждая такая отдельная драма, хотя и механически, но удивительно дружно уживается с остальными, не дополняя, но и не нарушая основной мелодии пьесы. Сосредоточьте ваше внимание на Астрове и попробуйте взглянуть на пьесу под углом зрения «драмы Астрова» — и вы без труда получите в итоге ту же самую пьесу. Словом, как бы вы ни меняли по своему желанию ударения на отдельных внутрипиесных драмах, — произведение в целом от этого не меняется.

Сосредоточьте в «Вишневом саду» фокус вашего внимания на Лопахине, который торжествующе вступает в купленный им на торгах вишневый сад, или переведите центр внимания на Гаевых, которые с наивной пассивностью побежденными выезжают из своего родового гнезда, или на Фирсе, который равнодушно примиряется со своей участью, — в последнем счете пьеса оставит все-таки одинаковое впечатление и овеет одним настроением, которое лучше всего охарактеризовать словами одного из чеховских героев: неудачники и лишние люди. Поэтому вполне понятно, что Чехов например прежде, чем выпустить в окончательной редакции «Иванова», долго варьировал развязку, колеблясь между духовной смертью Иванова, смертью от разрыва сердца и, наконец, самоубийством. Для писателя, видимо, было совершенно ясно, что Иванов — лишний человек и что он больше не жилец на этом свете, что его жизненная песня так или иначе спета. Но ведь Иванов тоже не герой своей пьесы, ибо если внутрипиесовая драма самого Иванова кончается по последнему варианту текста самоубийством, то остальные герои упираются в жизненный тупик, и трудно сказать, кого больше жаль и чья драма центральнее и тяжелее. Между прочим это отличительная черта развязок пьес Чехова. Чеховские пьесы ограничиваются обычно, так сказать, «преддверием» той или иной гибели своих персонажей, предварительно развертывая свою тему положениями, обусловливающими либо выезд из родового гнезда, а стало быть разрыв со своей классовой основой, либо физическую, либо духовную смерть, либо, наконец, надлом их психической жизни. Такова основная схема тематического развертывания и финала всех больших пьес Чехова.

Таким образом каждую пьесу Чехова образуют несколько взаимно переплетенных драм, которые хотя и представляют собою самостоятельные драматургические звенья, но в общем являются цепью единой поэтической мелодии, обусловленной ее единой социальной сущностью. Правда, параллельные драмы находятся и в пьесах Шекспира. Но попробуйте там самостоятельно передвинуть одно из таких звеньев — и у вас разрушится все построение драматурга. Но у Чехова вы можете без труда не только переставлять, но даже устранять из его пьес отдельную внутрипиесную драму. В самом деле, разве что-нибудь изменится в «Вишневом саду» от того, что вы уберете даже «центральную» фигуру Лопахина? По внутренней творческой логике этой пьесы легко можно допустить отсутствие самого Лопахина и лишь упоминания в репликах об его вмеша-

тельстве. Все равно, драма «Вишневого сада» совершится с одинаковым результатом, и помещики непременно со слезами навсегда покинут свой родовой дом, а зритель и читатель все равно почувствуют то же самое настроение. И это является специфической композиционной особенностью Чехова.

Иной тип построения и развития темы найдете вы у Толстого и Островского — ближайших предшественников Чехова. Всмотритесь внимательнее в структуру их пьес — и вы непременно увидите, что в них прежде всего есть некое ядро — герой, организующий все произведение, вокруг которого группируются все остальные персонажи и события. Вспомните хотя бы «Грозу» Островского. Вы без труда скажете, что героем пьесы является Катерина и что Кабаниха и Трифон — это персонажи, созданные специально для контрастирования основному герою и нарисованные через социально-психологическую призму именно Катерины, которая в данном произведении является стержневым образом. То же самое еще ярче вы найдете у Толстого. Читатель по первому взгляду определит героя «Живого трупа» и не сомневаясь скажет, что это одна из вариаций Левина.

Однако не то обнаруживают пьесы Чехова. Чехов — художник рядовой личности. В этом отношении его скорее можно сравнить с Гоголем.

Взор Гоголя, как правильно замечает В. Ф. Переверзев, уходит не вглубь, а вширь, и каждое его произведение возникает «путем коллекционирования все большего количества характеров, а не путем все большего углубления в данный характер» [1]). Совершенно ясно, что почти то же самое мы находим и в композиции Чехова. Гоголю также несвойственно чисто органическое единство в построении материала, которое характерно для произведений таких писателей, как Толстой, Лермонтов, отчасти даже Островский, которые предметом своего изображения брали эволюцию психической жизни определенного характера. И как Гоголь, изображавший отживавшую мелкопоместную глушь, был лишен возможности придать структуре своих произведений такой архитектонически правильный стиль, какой позволяла среда высших слоев помещичьего класса или быт подымавшегося к командным высотам московского купечества, — так и Чехов, связанный преимущественно с разорявшейся мелкопоместной интеллигентской провинцией, наполненной безыменными людьми, принужден был развивать свою тему не вглубь, а вширь.

«Это был маленький городишко, скорее похожий на небольшое село, с одною только церковью, — рассказывает в своих воспоминаниях брат писателя о городе и той среде, с которой тесно сблизился Чехов в первые годы своего писательства. — Управлялся он полицейским надзирателем, которого звали «городничим»... Жить в нем было дешево и приятно... К тому же, общество было интересное и дружное... В городе стояла батарея, которой командовал симпатичнейший полковник Б. И. Маевский. Было несколько офицеров и батарейных дам. Приехав в Воскресенск, А. П. застал у семьи Чеховых уже порядочный круг знакомых. Каждый вечер все вместе играли в крокет и совершали далекие прогулки». И пребывание это, как можно судить из писем самого писателя и по воспоминаниям его брата М. П. Чехова, не прошло для него даром. Тут Чехов впитал в себя многие соки интеллигентской провинции и получил готовый портрет для Вершинина, да и вообще многие картины для будущих «Трех сестер». После Воскресенска Чехов переехал в Звенигород на службу в земскую больницу. Но и это, как указывает М. П. Че-

[1]) В. Ф. Переверзев, Творчество Гоголя, стр. 62, «Основа», 1926.

ков, был тоже «жалкий городишко». Все правительственные учреждения помещались там в то время в одном желтом доме на горе — в том самом про который в одном из своих рассказов А. П. написал: «Здесь и юстиция здесь и полиция, здесь и милиция — совсем институт благородных девиц» Заведуя звенигородской больницей, А. П. ездил по обязанности на вскрытия и близко ознакомился со всем укладом уездной чиновничьей жизни

Это пребывание Чехова в Звенигороде, как узнаем из тех же источников, сослужило большую услугу писателю. Здесь он получил оригиналы для графа Шабельского («Иванов»), Гаева («Вишневый сад»), и, наконец, врача Хрущева («Леший») и врача Астрова (окончательный вариант «Лешего» — «Дядя Ваня»), которые, по утверждению брата писателя, явились alter ego самого Чехова.

Однако для того, чтобы убедиться во всем сказанном, вовсе не обязательно все это знать. Достаточно внимательно перечитать самые произведения Чехова, чтобы сразу понять, откуда, когда и кем навеяны все изображенные писателем портреты. Достаточно прочесть «Вишневый сад», «Лешего», «Дядю Ваню», «Три сестры» и «Чайку», чтобы убедиться, что все эти картины навеяны деклассировавшейся дворянской интеллигентской провинцией 80—90-х годов России, с которой писатель очень сжился, которую прекрасно изучил и которая была ему наиболее доступна.

Здесь, если вы и встречаетесь с образованными людьми, то в конце-концов они не очень далеко ушли от психической жизни гоголевских персонажей, про которых сам Гоголь говорил, что они — «люди более или менее просвещенные», из которых «кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал». Конечно в общей своей массе «герои» Чехова образованнее гоголевских. Но в то же время нетрудно поверить, что хотя бы тот же сосед Гаевых — помещик Семен Пищик, приглашавший «на вальсишку», ведет свое происхождение от одного из знакомых Чичикова. Таким образом чеховские персонажи — это «дети» или «внуки» владельцев «Мертвых душ». Они — лишь заключающая ступень в эволюции провинциальной мелкопоместной психики, ступень, прибавившая лишь внешнюю комильфотность обращения. Правда, у Гоголя вы не встретите графов. Самыми светскими людьми у него оказываются Чичиков и Хлестаков. У Чехова мы встречаем в «Иванове» графа Шабельского, а в «Трех сестрах» — барона Тузенбаха. Но разве это такой граф, с которым нас знакомит хотя бы Толстой? Читатель легко убеждается в том, что чеховский граф Шабельский и барон Тузенбах — фигуры титулованные только по паспорту. Недаром, — как мы узнаем из воспоминаний М. П. Чехова, — один отставной провинциальный аристократ послужил для писателя оригиналом одновременно и для графа Шабельского и просто для дворянина Гаева. Вглядываясь в обе эти фигуры, вы действительно убеждаетесь в их большой социальной и психической схожести, и художник свободно мог нарисовать их либо с княжеской короной, либо просто в дворянской фуражке. Суть дела от этого не меняется.

Другое дело, когда Толстой выводил графов. Толстой мог даже не сообщать, что его герой — граф, — читатель все равно мог сам легко догадаться, что перед ним человек высшего света, стоящий на высоких ступенях общественной лестницы. Между тем Чехов показывал графа, от которого осталась одна оболочка и который по содержанию своему представлял уже обычного деклассированного провинциально-дворянского интеллигента. У чеховских графа и барона сословные особенности уже стерлись и потеряли свою подлинную действенную социальную

значимость. Вот почему, когда читаешь Чехова и встречаешь у него графа, то невольно воспринимаешь такую фигуру лишь механически, или вовсе пропускаешь и не обращаешь внимания на его титул, или если и замечаешь, то от этого изображаемый персонаж становится еще беспомощнее и по своей психической жизни примитивнее и смешнее. Но тут, вероятно, читатель возразит мне, напомнив о Лопахине, Астрове и Тригорине. Да, эти персонажи не дворяне, а по-своему, как уже говорилось выше, даже alter ego самого автора. Победный клич вступающего в вишневый сад купца Лопахина, как справедливо отмечает В. М. Фриче, «то победный клич самого Чехова — внука крепостного, разночинца, завоевавшего вишневый сад барской культуры». Но читатель, наверное, помнит, что Лопахин, побеждая, одновременно ронял и слезу по адресу бедных Гаевых и был вполне искренне преисполнен к ним большой любовью и привязанностью. «Чумазый» Лопахин, несмотря на то, что барин посматривал на него все-таки свысока, не обращал на это внимания и относился ко всему этому глубже и практичнее.

«Ваш брат вот, Леонид Андреич, — заявлял Лопахин Гаеву,— говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили попрежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза, — продолжал он, обращаясь к Раневской, — глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную... больше чем родную».

Вы думаете, это говорит действительно серый купец Лопахин? Нет. Это мелкобуржуазный интеллигент благодарит в лице Гаевых дворянскую интеллигенцию, которая оказалась его крестной матерью на поприще культурного роста. Таким образом единственный во всех пьесах Чехова более или менее четкий антипод дворянству — Лопахин и тот оказывается сросшимся с идеологией дворянских группировок. Недаром Чехов устами Трофимова отмечал, что у Лопахина «тонкие, нежные пальцы, как у артиста» и «тонкая, нежная душа», а в письме к К. Станиславскому уже сам Чехов указывал, что «Лопахин, правда, купец, но порядочный человек, во всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно».

В связи с указанными особенностями Чехова-драматурга стоит еще одна черта.

Его пьесы статичны. Это обстоятельство роднит Чехова с писателями поместной среды, которым некуда было торопиться, ибо жизнь их усадебных героев текла медленно и лениво. Но статика Чехова имеет в то же время свою особенность, которая отличает его от старопоместных писателей. Жизнь города, рост капитализации страны — все это естественно вызывало в писателе свои ритмы и, вторгаясь в обреченные тихие дворянские гнезда, разительно нарушало прежнюю торжественную неподвижность дворянской поэзии. Ведь та же Раневская вылетела из своего поместного гнезда не только тогда, когда ее усадьбу купил Лопахин, а тогда, когда она вторично вышла замуж за человека новой, зажиточной интеллигентно-буржуазной формации, который на прежнюю усадьбу смотрел уже не как на источник дохода, а в лучшем случае — как на приятную игрушку. Читатель, вероятно, помнит, как сама Раневская «душой» была уже в Париже и как ее энглизированный лакей Яша — правда, в примитивной форме, — но все же как бы читал вслух ее собственные мысли: «Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука...» Вы думаете, это говорил действительно лакей

Яша — крестьянин из усадьбы «Вишневого сада»? Конечно, нет! Это автор из-за того же, как и Лопахин, добродушия и жалости к бедной доброй помещице нарочно заставил сказать эти несколько грубые слова именно мужика, которые на самом деле по всей внутренней логике развертывавшейся темы, конечно, принадлежали думам самой Раневской. А что думала Раневская в тот момент именно так, это ясно из всех ее планов на будущее, которые характерны для общего положения тогдашнего дворянства, когда, по словам Плеханова, дворянские деньги «частью были истрачены за границей, частью прокучены в увеселительных заведениях русских столиц, наконец часть их попала в руки буржуазии и купечества, которые вообще только выигрывали от распродажи с молотка дворянской верности [1])».

Но почему же тогда у Чехова преобладает статика, когда его стержневые персонажи уже отлетели от своих гнезд, а стало быть и в психике их уже явно начинал доминировать город? В том-то и дело, что творчество Чехова охватывало как раз тот период, когда баре еще только расставались со своими гнездами, а если и кутили по Парижам, то лишь дорастрачивая свои последние закладные под те же вишневые сады, так что социальной почвой их была, с одной стороны хотя и захудалая, но усадебно-дачная жизнь, а с другой — уже пожиравший ее капиталистический город. И понятно поэтому, что Раневская, несмотря на все свое устремление в Париж, в решительный момент все-таки *говорит:* «Без вишневого сада я не понимаю своей жизни, если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом», а на деле покорно уступает своей судьбе, и когда нет уже вишневого сада, готовится к отъезду в Париж.

Таким образом основным предметом изображения у Чехова была все-таки усадьба-дача, хотя и распадавшаяся и уже поставленная под топор какого-нибудь дельца. Отсюда понятно, откуда у Чехова статичность темы, медлительность ее развертывания и почему она в то же время покрыта флером лирико-бытового настроенчества. Чехов, видимо, сам сознавал особенность своей композиции: «Пейзаж (вид на озеро),— писал он Коммиссаржевской по поводу заканчивавшейся им «Чайки», — много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви». И разговоры действительно составляли в такой среде, пожалуй, единственное жизненное оправдание ее обитателей, а поэтому густо наполнили собой не только «Чайку», но и вообще все пьесы Чехова. Об этом же очень убедительно говорит один из его героев: «Для нашего брата неудачника и лишнего человека — одно спасение в разговорах».

Эта особенность чеховской драматургии является плодом стыка двух социальных укладов, из которых один — капиталистический — уже повелительно внушал художнику необходимость фиксировать видимое отдельными впечатлениями и передавать его не размеренно монументальными изображениями, а прежде всего быстрыми штрихами, настроениями и эмоциями. Короче говоря, в этом стыке возникал русский импрессионизм в литературе и в театре. Поэтому пьесы Чехова кажутся по композиции хрупкими и нежными и в то же время часто утомительно медленными.

Еще один момент в композиции Чехова требует отдельного рассмотрения. Это — сращение его персонажей с мертвыми предметами. Если вы внимательнее всмотритесь в ремарки и в сопроводительные перед каждым действием сообщения автора о месте действия и

[1]) Г. Плеханов, Собр. соч. т. XXIV, стр. 163, Гиз, 1927.

окружающей обстановке, то вы наглядно убедитесь, как много места уделяет Чехов мертвому предмету, мелочам и всякой домашней утвари, которые в жизни его персонажей играют заметно важную роль. И это отнюдь не какие-нибудь добавочные иллюстрации к теме. Нет. Здесь почти в каждом предмете вы чувствуете кусочек «души» самих обитателей, и в то же время на каждом из таких персонажей вы, в свою очередь, ощущаете отраженный отблеск данных житейских мелочей. Анатомируя развитие темы у Чехова, вы убеждаетесь в том, что такое сращивание человека с мертвой вещью входит у него обязательным фактом. Оно пронизывает собою всю пьесу и неотрывно от всего происходящего в пьесе, вне его немыслима и сама тема. Поэтому, когда говорят о том, что Чехов — хороший художник миниатюры, что он особенно талантлив в изображении деталей и мелочей, то это значит, что в общем правильно подмечают сильные стороны его драматургии.

III.

До сих пор мы рассматривали Чехова-драматурга как композитора своих драматических произведений. Теперь посмотрим на Чехова как на психолога.

Существует мнение, что пьесы Чехова психологичны и что его драматургия якобы даже породила в театральной жизни целое течение под знаком «психологического театра». Но изучая художественную ткань произведений Чехова и анатомируя субъективный мир их персонажей, прямо поражаешься психологической бедности чеховских типов. Внутренние переживания и мысли персонажей Чехова не углубляются, как, например, у героев Толстого или Тургенева, а крайне укорочены и внешни. Они больше говорят о своих переживаниях, чем переживают в действительности, и охотнее рассуждают о высоких материях, нежели чуствуют и мыслят.

При этом, как ни многообразны чеховские фигуры, вы все-таки легко находите в них что-то близкое, общее. И это понятно. Общей, роднящей их чертой является, как говорил наш знакомый Лопахин: «существование неизвестно для чего», — которое выражается либо в замыкании в собственную раковину (Ивановы, Хрущевы, Астровы), либо в «хороших разговорах» (Гаевы), либо, наконец, в опрощенстве («Три сестры»). В большинстве это люди, никогда, ничем не выделявшиеся из своей среды.

Правда, в такой атмосфере человек легко срывался со своей нормальной психической оси и навеки уходил в различные иллюзорно-мистические благоглупости. Но все такие типы и случаи Чеховым не затронуты. Его творчество уверенно обошло их и даже как будто вовсе не заметило. Недаром он однажды довольно ядовито намекнул, что «интеллигенция... только играет в религию и, главным образом, от нечего делать».

Субъективимая жизнь обитателей чеховского мирка — это, прежде всего переливание из пустого в порожнее, это позднейшая фаза мелкопоместной сплетни гоголевских «мертвых душ».

Чеховские герои напоминают заведенные граммофоны с раз навсегда установленными шаблонными пластинками на тему: «как нескладна и несчастлива жизнь», «зачем жить, но надо жить», «будем утешать оставшуюся хорошую чистую душу». И герои Чехова собственно не живут, а прозябают. Даже наиболее активный из них — Петя Трофимов — и тот мечтает о страдании как о желанном искуплении. «Ведь так ясно: чтобы начать жить в настоящем, — учил он свою возлюбленную, — надо сна-

чала искупить наше прошлое... а искупить его можно только страданием... Поймите это, Аня». И примерно то же самое мы слышим от своеобразного «мудреца жизни» — симпатичного полковника Вершинина. «Участвовать в этой жизни мы не будем, — говорил он трем сестрам, предполагая «будущую жизнь» через двести, триста, наконец тысячу лет, — но мы для нее живем теперь, работаем, ну — страдаем... И в этом одном — цель нашего бытия, и, если хотите, наше счастье».

Еще дальше договариваются знаменитые своей тоской по Москве, прозябающие в провинции сестры Прозоровы. «Лучше быть волом, лучше быть простой лошадью... чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе; потом два часа одевается... О, как это ужасно!..» — восклицает одна из сестер, Ирина Прозорова. Если такие натуры и существуют, то действительно только потому, что «надо жить». А поэтому их существование крайне упрощено, трафаретно, механично. Они действительно живут, как говорит один из героев «Чайки», словно в каком-то чаду и часто сами не понимают того, что делают. Возьмите хотя бы того же Вершинина. Он мыслит, если хотите, даже вразумительно и, во всяком случае, честно. Но в то же время вы неустанно чувствуете, что его слова как-то мертвенны и что за ними нет никакого конкретно-живого содержания. И таковы все герои чеховских пьес, выражающие собою хотя и по-разному, но в общем именно то настроение, в котором признался Иванов, сказав: «Всюду я вношу с собою тоску, холодную скуку, недовольство и отвращение к жизни».

Вполне понятна отсюда и другая особенность эмоций и характеров таких героев. Они не видят окружающей их жизни, а то, что замечают, встает в их близоруких глазах либо в тумане, либо само по себе представляет мелочь. В их восприятии даже природа и пейзажи блеклы, унылы и холодны. Вспомните, как почти одно и то же повторяет Хрущев из «Лешего» и его позднейший вариант — врач Астров. «50 лет тому назад половина всей площади была занята лесом, — говорит Астров. — Птицы всякой была сила, видимо-невидимо. Кроме сел и деревень, там и сям разбросаны выселки, хуторки, раскольничьи скиты, водяные мельницы. Рогатого скота и лошадей было много». А потом? «Леса трещат под топором, — продолжает он, — гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. От прежних выселков, хуторов, скитов, мельниц — и следа нет». Другими словами, здесь речь идет об активном наступлении капиталистического хозяйства, которое не только вытряхивало из поместных гнезд их растерявшихся обитателей, но начинало перекраивать на свой лад и всю природу. Но подавляющее большинство героев Чехова этого не понимает. У них, как сказал бы Астров, «свободного отношения к природе и людям уже нет.. Нет и нет!» Из всей реальной жизни им дороги только мелочи да мертвые вещи. Все же остальное либо исчезает, либо погружается в тона безысходной тоски.

Гоголь, как позднее Чехов, так же мало интересовался фигурами, в той или иной мере выделяющимися из общей массы его мелкопоместной среды. Мир неведомых, безымянных людей, на которых особенно выпукло выступала вся бессмысленность их существования, в одинаковой степени привлекал и Чехова и Гоголя, и оба они, хотя и в разные периоды, черпали свои образы в последнем счете из одних социальных мотивов. Поэтому неудивительно, что мы находим много общего не только в натурах, созданных обоими художниками, но, в известной мере, и в манере изображать такие типы и картины из их жизни. «Гоголь мало интересовался действительно отрицательными людьми крепостной поры,

плохими и духовно изуродованными представителями душевладельческой среды, — говорит В. Ф. Переверзев. — Он все время брал в герои нормальных и в сущности хороших представителей этой среды. Оттого-то Гоголь не сатирик, а юморист, оттого-то он не бичует, не мечет негодованием, а смеется, жалеет и плачет над своими героями: не за что бичевать их, нет в них ничего порочного».

Все эти обстоятельства, по-моему, как нельзя лучше обнаруживают близость между обоими художниками и в то же время убедительно вскрывают в творческой природе пьес Чехова внутреннюю логику сочетания смеха и жалости. Между тем на этой почве всегда происходили недоразумения между автором и театром. Чехов, например, назвал свой «Вишневый сад» — комедией. Однако Московский Художественный театр обратил ее в типичную слезно-лирическую мелодраму. И театр был посвоему прав. Я помню, как уже совсем недавно уверенно аргументировал это В. И. Немирович-Данченко. «Какая же это комедия, когда в тексте у самого автора на каждом шагу то плачут, то всхлипывают, то говорят сквозь слезы». Но в то же время прав и С. Балухатый, когда отмечает сочетание в этой пьесе лирико-драматических мест с оригинальными комедийными средствами ее воплощения.

Что же в таком случае представляет собою «Вишневый сад»? Изображая здесь смену двух хозяйственно-общественных укладов, Чехов воспользовался для этого средствами юмора и элегической лирики. Первопричина этого состоит в том, что драматург, происходя из одного класса, в то же время был неразрывно связан с той средой, которая, находясь в условиях начавшегося господства капитализма, в своем большинстве являлась еще дворянской, хотя и приходившей в оскудение.

Дело в том, что изображаемая среда заставляла своего изобразителя смотреть на жизнь глазами мелкобуржуазного интеллигента в дворянстве, который по своей социальной чуткости с одной стороны остро подмечал в дворянских «мездрюшках» смешное, но, в силу уже известного нам чувства жалости и благодарности, смягчая это смешное, а с другой стороны, будучи разочарованным в ближайших перспективах своего класса, еще в то время туго зажатого в тиски полицейски-бюрократического самодержавия, неизбежно начинал видеть окружающее через стекло тоски и печали.

Мысль дать законченную картину смены двух жизненных укладов с самого начала и до конца дней не покидала Чехова. Еще в своей студенческой пьесе без названия он вчерне набросал будущий «Вишневый сад», явившийся заключающим произведением его творчества. Далее, почти в каждом новом драматическом произведении он возвращается к этим мотивам, видимо, чувствуя, что его творческая фантазия призвана для их художественного выражения. И, действительно, нигде Чехов не достигал такой художественной выразительности и цельности, какой сумел достигнуть в изображении ненужного существования мозглявеньких. Этой же теме, хотя и в другом варианте, он посвятил в начале своей литературной деятельности еще одну пьесу, по словам его брата М. П. Чехова, «очень трогательную пьесу «Барин», которую, однако, Чехов, сам уничтожил».

Правда, в первый момент его жалостливая драматургия была еще беспомощна. Но зато когда знакомишься уже со «смешными водевилями», то сразу чувствуешь, что читаешь произведение оригинального и тонкого художника. Между тем и в этих водевилях темой для Чехова служила обывательская жизнь разорявшихся мелкопоместных интеллигентов-провинциалов. Но писатель недолго задерживается на смешном.

Все ближе знакомясь и роднясь с этой средой и все глубже вникая в смысл классовой действительности, в Чехове все чаще стали подыматься ноты печали и грусти, как-то уже своеобразно сплетаясь со струей «смешного» и вместе складывая единую творческую ткань писателя. Неудивительно поэтому, что первая большая пьеса Чехова — «Иванов»,— обнаружила уже заметный перевес драматической струи, которая достигает своего предела в «Трех сестрах».

Из всех произведений Чехова «Вишневый сад» является синтетическим и во всех отношениях центральным произведением его драматургии, в котором читатель находит уже законченное социально-обусловленное соотношение гротеска с драмой и исчерпывающее, специфически чеховское многообразие организующих его творчество социально-психологических мотивов.

В пьесах Чехова читатель и зритель не найдут героев, вызывающих бодрые чувства, пробуждающие к политической борьбе за светлое будущее, но зато найдут здесь родственников «мертвым душам» Гоголя, найдут душную мещанскую жизнь тусклых «мозглявеньких» людей, которая невольно будит в читателе чувства гневного отвращения к житейской пошлости. В этом значение чеховских пьес.

Фетишисты факта.

Федор Иванов.

Мы не имеем намерения рассмотреть эту книгу [1]) исчерпывающе, во всех ее многочисленных и пестрых разветвлениях. Это не только затруднительно, в силу большой дробности, клочковатости собранных здесь «материалов», но и нецелесообразно, потому что пришлось бы останавливаться на многих вещах, не представляющих значительного интереса.

Мы хотим рассмотреть «Литературу факта» как явление, представить общие очертания системы, намечающейся в этом сборнике, раскрыть смысл этой системы.

Сначала введем нашего читателя в сад цитат. Цитат будет немало, и они будут так же пестры, как сам сборник, откуда их взяли. Но так как это самый действительный способ дать «фактографию» материала, — приходится примириться с цитатным садом.

1. «Мы — против литературы вымысла, именуемой беллетристикой, мы — за примат литературы факта. Писатели слишком долго «преображали» мир, уводя пассивного и эстетически одурманенного читателя в мир представлений»... — так говорит Чужак на стр. 11-й, а на стр. 20-й он продолжает:

2. «Полная конкретизация литературы! Никаких «вообще»! Долой бесплотность, беспредметность, абстракцию! Все вещи именуются собственными именами и научно классифицируются... Мы — злейшие враги номинализма, мы — за именованность».

3. «Мы считаем, что старые формы художественной литературы негодны для оформления нового материала и что вообще установка сегодняшнего дня — на материал, на факт, на сообщение», — дополняет Чужака Шкловский (стр. 186). Как видим, в теории «вообще» допускается, даже столь беспардонное и необоснованное.

4. «Из эпохи рассказа и романа мы прорастаем в эпоху очерка и монографии». — Третьяков (стр. 268). Да, добродетель догматизма свойственна нашим авторам!

5. «Литература факта» — это очерк и научно-художественная, т. е. мастерская, монография; газета и фактомонтаж; газетный и журнальный фельетон (он тоже многовиден); биография (работа на конкретном человеке); мемуары; автобиография и человеческий документ; эссэ; дневник; отчет о заседании суда, вместе с общественной борьбой вокруг процесса; описание путешествий и исторические экскурсы; запись собрания и митинга, где бурно скрещиваются интересы социальных группировок, классов, лиц; исчерпывающая корреспонденция с места; ритмически построен-

---

[1]) «Литература факта». Первый сборник работников Лефа.

ная речь; памфлет, пародия, сатира, и т. д. и т. д.», — так выглядит практическая формула, предлагаемая Чужаком (стр. 60). Она интересна не только тем, что намечает конкретные границы «фактографии», но и тем, что к концу становится резиновой — в нее все вмещается.

6. «Не надо забывать, что идеалистическое искусство уходит корнями в феодализм, где правящей является фигура бездельно-барствующего, привилегированного рантье», — глубокомысленно замечает Третьяков (стр. 67).

7. «Мещанство не любит фактов, — слишком бедна и убога его жизнь, чтобы стоило долго на этой жизни останавливаться. Поэтому мещанство испокон века создавало себе иную, героическую действительность, в которой все факты нереальны, но в тысячу раз пышнее и реальнее...

«Надо любить факты, надо точно и резко разграничивать факт от вымысла, нельзя путать этих вещей», — не менее глубокомысленно поучает Брик на стр. 81-й. Разве эта реплика не похожа на воскресную проповедь?

8. «Было время, когда простая историческая необходимость обращала активистов общества на путь культуры беллетристических именно форм... Скудость научного исследования вообще, ничтожное количество весьма еще примитивных по заданию газет и полное почти отсутствие статистики — все это естественно наталкивало писателя на мысль широкого использования приемов литературного отвлечения...»

«Строительство путем представлений (воображения тож) было уделом не одного поколения наших предков. Вся теория так называемого «художественного творчества» — от Чернышевского до Бельтова-Плеханова — построена на этом несчастьи» (хорошо звучит здесь «несчастье»! — *Ф. И.*).

«Замечательна эта вынужденная игра целого ряда поколений в имитацию жизни. Жизнь строилась не на фактической реальной правде, а на каком-то существующем лишь представлении, псевдореальном правдоподобии. Люди как бы молчаливо сговорились считать эту невинную подделку за действительную жизнь...» Все это сообщает Чужак на стр. 12—13. Можно восхищаться изящной простотой его заключений, непринужденной легкостью его мысли и наконец чудесным языком автора, напоминающим патоку.

9. «Не надо забывать, что основные романы Фенимора Купера были в свое время литературой факта (это подчеркивал сам Купер), и только впоследствии эти факты приняли облик беллетристических схем». Это второе «не надо забывать», — не менее пикантное, чем первое, — принадлежит Третьякову (стр. 244).

10. «Может ли существовать «живой» человек в литературе? Мы полагаем, что может — с поправкой на деформационные свойства слова. Даже объективнейшая фотография не дает абсолютно верной фиксации объекта, так как она по природе своей плоскостна и потому искажает трехмерность вещей. Слово также обладает своей специфической «плоскостностью», и только учтя степень деформации этой словарной «плоскостности», мы можем говорить об «объективных методах изображения», — заявляет Т. Гриц на стр. 129-й. Еще шаг и наш изворотливый автор предложит измерять степень «живой объективности» по метрической сисмеме.

11. «Я знаю: живого Рожкова у меня все-таки не получилось, да и вообще живого Рожкова нет...» — сожалеет Чужак (стр. 260).

12. «Теперь уже опытом установлено, что роман не может фиксировать факт, он не может быть отображением действительности — потому, что сюжетная конструкция нейтрализует реальный материал, лишая его всех специфических качеств», — вот как думает В. Тренин (стр. 211).

Можно видеть, насколько вульгарно, с каким потрясающим простодушием разрешают наши «теоретики» проблему отношения искусства к действительности. Поистине невежество возводится здесь в принцип!

Но довольно цитатной «фактографии»! Ограничимся собранными экземплярами (в пестроте нашего цитатного сада мы уже оговаривались,— подтверждаем еще раз, что пестрота эта соответствует действительности сборника). Какая же намечается здесь система? Попробуем разобраться.

Прежде всего заметим, что наши авторы не отрицают искусства и не рассматривают себя пионерами какой-то новой общественной деятельности. Нет, они от искусства не отказываются, и все достаточно дружно подчеркивают свое желание оставаться в области искусства. Они только хотят дать жизнь новым формам его, считая, что старые достаточно выветрились.

Это очень существенно. И тогда странным и легкомысленным кажется, что никто из этих людей, столь решительно устремляющихся к преобразованию искусства, к созданию новых видов его, не задает себе простейшего вопроса: что же представляет из себя это самое искусство? Участники сборника любят обращаться к формулам марксизма, их главный теоретик очень часто называет себя даже диалектиком (правда, без всяких к тому оснований), но никто из них не позаботился о том, чтобы хоть сколько-нибудь грамотно и вдумчиво осмыслить основную проблему искусства. Тогда сразу была бы устранена почва для многих недоразумений, сразу обнажилась бы вздорность многих разглагольствований рыцарей «фактографии». Мы думаем, что наши авторы обходят основную проблему искусства не случайно, — это дает им возможность выдвинуть множество фальсификаций на почве «практического» теоретизирования, это облегчает их заблуждения.

Как видим, в основе системы взглядов, развиваемых в сборнике, лежит утверждение, что литературе «вымысла» революционная эпоха должна противопоставить литературу «факта». Наши авторы достаточно беззаботны в отношении своей терминологии, они предпочитают обращаться к терминологии не научной, а обывательской, бытовой. К такой обывательской терминологии относятся пресловутые — «факт» и «вымысел». Это достаточно расплывчатые определения, с которыми трудно оперировать, если хочешь достигнуть отчетливых результатов. Но постараемся определить содержание понятий, которые сюда вкладываются.

Вот Чужак разъясняет, что литература «вымысла» — это то же самое, что литература «представлений» (цитата 1-я). Для этого человека весь спор со старым искусством сводится к тому, что оно являлось искусством представлений. И он даже говорит об «одурманивании», — представление, равное для Чужака мистике.

Здесь надо разъяснить авторам «Литературы факта», что всякое искусство, каким бы оно ни было и каким бы классом оно ни создавалось, ни к чему иному не будет и не может обращаться как к представлениям. Потому что в этом содержится необходимый признак искусства как явления. Ведь знает же Чужак, что искусство есть форма человеческого сознания. Вне представлений оно не может существовать, ибо представления и есть материал сознания.

Это значит, что генеральная формула «За факт против вымысла», — а значит и против «представления», — является формулой абсурдной. В ней ничего не содержится. Она ничего не означает. Это плод обывательской фантазии — и ничего больше.

В самом деле, попробуем представить себе произведение ультрафактическое, построенное по всем рецептам документального искусства,— разве оно не будет комплексом представлений? Конечно, будет, как бы Чужак против этого ни протестовал. Мы склонны даже к такому еретическому предположению, что создавая свою теорию Чужак обращается к представлениям. Или его мышление восходит к какой-либо более материалистической манере!

Но пойдем дальше — неуклюжая формулировка наших фактицистов, формулировка, высказанная на обывательском языке, скрывает в сущности вполне определенную систему мировосприятия. С одной стороны, есть действительность, с другой стороны — есть искусство. Отношение искусства к действительности наши авторы представляют себе в таком виде: искусство тождественно действительности. Вот в сущности смысл всех рассуждений теоретиков «фактографии», вот в чем вся идеология наших авторов.

Искусство есть форма сознания, в искусстве класс закрепляет, формулирует свое отношение к действительности. Против этих истин возражать не будет и Чужак, если он только не откажется от основных положений марксизма. Но тогда получается вполне ясное положение: наши авторы утверждают, что искусство тождественно действительности, что, значит, сознание тождественно бытию, — субъект есть объект. Вот в конце концов основа мировоззрения участников «фактографического» наступления.

Что за смысл этой формулы, — понятно каждому, хоть сколько-нибудь разбирающемуся в вопросах философии. Эта формула есть не что иное, как формула вульгарного материализма. Это надо констатировать со всей определенностью. Только сюда, только к этим воззрениям вульгарного материализма идет путь от формулы наших авторов «За факт против вымысла и представления».

Таков первый вывод, который нужно сделать из системы взглядов, развертываемой в сборнике «Литература факта». Перед нами — откровенная и достаточно напористая проповедь вульгарного материализма, прикрываемая всяческими украсами: от лжедиалектики Чужака — до хлестких формул, взятых из обывательского жаргона и выдвигаемых в качестве теоретических оснований («вымысел»). Этот вывод в сущности уже определяет лицо проповедников «фактографии», генеральная линия здесь уже намечается, — но в дальнейшем мы получим еще ряд разветвлений намечающейся системы, дополняющих и углубляющих ее содержание.

Очень интересны представления наших авторов о литературном процессе. Здесь вульгарный материализм, применяемый, так сказать, на практике, торжествует по всему фронту. Явления литературного ряда, социально детерминированные, взаимодействуют, — это — простейшее положение, но оно далеко не ясно нашим «фактографам». Для них не ясно прежде всего самое явление взаимодействия. Если бы Чужак не только прокламировал себя как диалектика, а по-настоящему пытался понять литературный процесс как диалектическое развитие, то он никогда не договорился бы до тех вздорных вещей, к которым он скатился, объявляя всю прошлую литературу вздором и мистификацией.

Наши авторы очень много посвящают внимания проблеме классиков. В частности, они любят возвращаться к вопросу о том, что пролетарские писатели стремятся усвоить опыт этих классиков. Для вульгарных материалистов, какими являются участники «Литературы факта», вопрос как нельзя более прост. Старое искусство соответствовало старой эпохе и старому человеку, — новое искусство должно быть новым. Вот и все, что они знают. Прошлое они хотят забыть.

Надо заметить, что об этом прошлом у авторов крайне смутное представление. Можно сказать, что воюя с прошлым они воюют с ветряными мельницами. Ведь может же Третьяков утверждать (цитата 6-я), что «идеалистическое искусство уходит корнями в феодализм, где правящей является фигура бездельно-барствующего привилегированного рантье». Что спросить с человека, который путает такие категории, как феодализм и рантье? Более чем смутное представление имеет о социальной истории Третьяков, а берется философствовать.

Или что спросить с Чужака, который уверяет, что «п р е с л о в у т ы й р а с ц в е т р о м а н н о й ф о р м ы п р и х о д и т с я н а н и к о л а е в с к и е в р е м е н а», потому что царская цензура мешала «активистам общества» (замечательно ясно выражается человек. — *Ф. И*) говорить языком «фактографии». Это утверждение не подлежит даже оспариванию, — настолько оно детски-наивно. Но спросим у Чужака: чем же он объясняет расцвет «романной формы» во Франции XIX века? Или Бальзак, Золя не оказались фактографами только по недоразумению?

Располагая такими расплывчатыми представлениями о существе дела, участники сборника берут на себя смелость разрешать проблему классиков. И решают ее просто. Не следует «танцовать от печки сложившейся художественной литературы» (эту формулу, замечательную в своем роде, провозглашает Перцов, придерживаясь манеры, усвоенной «фактографами», — переводить теоретические проблемы на обывательский язык, — развязность здесь типична).

Мы не будем приводить азбучных положений о том, что пролетариат о т р и ц а е т культуру капиталистического общества, не в вульгарном смысле, а в диалектическом, — т. е. усваивая ее, на ее основе создавая новые ценности. Все это, к сожалению, не понято «фактографами». И вот они становятся в позу наиреволюционнейших людей и мечут громы и молнии на пролетарских художников, осмеливающихся работать над усваиванием опыта старой культуры.

Они пускают здесь в ход метод, выдающий их с головой. Многократно повторен этот метод, сводящийся к тому, что Фадеев сопоставляется с Толстым или Чеховым, Семенов — с Достоевским и Гоголем, Бахметьев — с Джозефом Конрадом. Несостоятельность произведений пролетарской литературы ищут в том, что можно указать в них следы влияния того или иного классово-чуждого художника. Постоянно повторяется один и тот же технический прием: подбираются цитаты из Бахметьева — Конрада, Фадеева — Чехова и ставятся рядом. Очень часто из этого никаких выводов по существу сделать нельзя. Но каждое поверхностное совпадение кажется нашим критикам достаточным доказательством.

Они не случайно прибегают к методу параллельных сопоставлений. Они чисто-механически подходят к явлению. Это значит, что они могут разобраться лишь в его поверхности, в каком-то ограниченном количестве его внешних признаков, но не могут понять его настоящего существа. В этом смысле образцы «параллельной» критики чрезвычайно типичны. Они содержат в себе высшее достижение, до которого могут подняться

вульгарные материалисты в литературной критике. Метод простого, сопоставления, сравнительный метод в его самом грубом выражении — является для них пределом, дальше которого они не в состоянии двинуться.

«Фактографы» понимают литературный процесс чисто механически: исторические периоды для них есть грубо отграниченные друг от друга категории, самое протекание литературного процесса им кажется фикцией, — в сущности они защищают стабилизацию литературы, и смена литературных явлений представляется им не перерастанием одного явления от другого, а простым перемещением: на место одного явления становится другое. Неудивительно, что эти люди так грубо-упрощенно рассматривают проблему классиков, что они так окарнали и вульгаризировали сложнейшую проблему культурного взаимодействия.

В представлениях об историческом процессе наши авторы являются не менее вульгарными материалистами, чем в своей «философии факта». Система их взглядов имеет совершенно определенную физиономию.

Посмотрим теперь, как представляют себе авторы «Литературы факта» конкретную практику искусства, как разбираются они в художественных произведениях и как они себе их представляют? Здесь мы вступаем в область махрового, ограниченного формализма. Люди, в своих общих декларациях постоянно ссылающиеся на революционный смысл их теории, в своей исследовательской практике оказываются очень реакционными. Они совершенно перестают учитывать литературу как явление, в котором нашла свое выражение определенная классовая психоидеология. Они обращаются с вещами искусства, как с чисто-техническими объектами.

Вульгарные материалисты не могут не быть механистами, и вот начинается настоящая вакханалия формалистических рассуждений об искусстве. Люди говорят о распадающихся сюжетах и вытесняемых фабулах, о всяческих деформациях и сдвигах, — говорят, как ремесленники о товарах, с которыми сталкивает их профессия. Все это имеет добротную внешность, люди толкуют как будто бы о том, что им хорошо ведомо, — но это сплошное недоразумение. Авторы «Литературы факта» очень мало понимают в существе дела и занимаются сочинением формалистских фикций.

Статья Брика «Учить писателей» является в своем роде программной, в ней содержится система взглядов на литературное произведение, в общем разделяемая всеми участниками сборника. Это — статья типично формалистская, представляющая литературное произведение как нечто саморазвивающееся и независимое, — его рождение Брик туманно определяет как результат «сложного взаимодействия элементов художественного творчества». Что за элементы имеются в виду, видно из контекста: это некая самостоятельная субстанция.

Брик делает шаг вперед от своих прежних формалистских воззрений и сталкивает литературную вещь с социальной действительностью. Но он делает это так, что обнажается идеология вульгарного материализма. Он утверждает:

«Литературная тема не совпадает с темой социальной. Методами художественного оформления нельзя непосредственно оформить социальный факт. Между художественным произведением и социальным фактом стоит литературная тема, — точно так же, как между куском дерева и стулом лежит технический чертеж. Литературная тема это тот чертеж, на основании которого строится вещь. В этой теме происходит срастание социального факта и методов его оформления. В литературной теме про-

исходит как бы химическое соединение между заказом и выполнением» (стр. 183).

Вот вся премудрость поэтики наших «фактографов». Брик говорит здесь за всех. В этой тираде характерна даже образность выражения. Наш теоретик обращается к столярному делу за сравнениями, чтобы выразить свою мысль. Он представляет себе дело чрезвычайно просто. С одной стороны, есть заказ, с другой — выполнение. С одной стороны, есть литературная тема, с другой стороны — тема социальная. Взаимодействие между ними есть не что иное, как «срастание» или «химическое соединение». Вот по каким механистическим шаблонам, с какой вульгарной упрощенностью представляет себе литературный процесс Брик.

Не менее вульгарно представляют себе его и другие участники «Литературы факта». Они часто даже не делают того шага к социальной действительности, который делает Брик. Они просто занимаются изолированным рассмотрением технологии литературного факта. В этом смысле сборник чрезвычайно типичен. Претендуя на революционное значение, он является в сущности открытой демонстрацией реакционного формалистского литературоведения.

В сущности мы имеем здесь дело с фетишизированием литературной техники. Именно она — в очень отвлеченном, изолированном значении — является той областью, в которой оперируют, исследуя литературное явление, участники сборника. Эта литературная технология и оказывается той поверхностью, которой все они ограничиваются, рассматривая данные литературного ряда. И фетишизм этот не случаен. Наши авторы отвлекают техническую сторону литературного явления и гиперболизируют ее потому, что для них неясна сущность этого явления.

Здесь нужно поставить вопрос о спецификаторстве. Авторы «Литературы факта» не только сами рассматривают литературный объект, как спецификаторы, со стороны его технологии, но и перебрасывают это свое отношение и на самую философию литературы. Не раз, с большой настойчивостью, возвращаются они к мысли о том, что литература факта есть литература спецификаторская. (Чужак отмечает с восторгом, что Шкловский даже о вшах говорит как «большой специалист».) Они даже рабкоров представляют спецификаторами. («Метод рабкоров это описание фактов с точки зрения специалиста — производителя».) Это отношение чрезвычайно характерно. Оно говорит о том, что мы имеем дело не только с вульгарными материалистами, по грубым механистическим схемам представляющими себе литературное развитие, — но и с такой социальной группой, для которой техническо-спецификаторский уклон закономерен. Необычайная суженность кругозора, ограниченность видения объясняются классовыми обстоятельствами. Фетишизм литературной техники, столь отчетливо выявленный в работах сборника, надо объяснять как явление социальное.

Искусство есть определенная форма классового отношения к действительности. Искусство «фактографии», как оно прокламируется нашими авторами, есть тоже определенная форма классового отношения к действительности. Что же его характеризует?

Боязнь широкого, полного, всестороннего высказывания — известная связанность, ощущение внутренней неустойчивости, страх перед свободным открытым выражением — характеризует теорию «фактографии».

Очень усиленно подчеркивается, что литература факта противна психологизму, что человеческое переживание должно быть устранено.

Это очень существенно. Мы знаем, что именно психологическое содержание искусства есть самая откровенная и глубокая форма выявления представлений класса о действительности. Искусство всегда обращалось и будет обращаться к человеческим эмоциям, — проповедуя а-психологизм наши авторы проповедуют ограничение, своеобразный аскетизм; все это детерминировано особенностями их классовой психологии и совершенно напрасно выдается за свойство пролетарского мировосприятия. Они провозглашают эту новую теорию «малых дел» не случайно, — она закономерна для определенных общественных идеологий.

Итак, искусство должно быть «фактографией». Художник — так, как он представляется нашим фетишистам, — должен интерпретировать факты во всей их множественности. Весь смысл «фактографической» теории сводится к тому, что именно случайный факт, единичное замкнутое явление («никаких «вообще»... мы за именованность», — разъясняет Чужак), а не процесс становится ощутимым для художника. «Фактографы» провозглашают примат единичного замкнутого звена над процессом.

Здесь находит свое выражение очень откровенный эмпиризм наших авторов. Как бы они ни называли свою теорию и как бы пышно они ни декорировали ее, — она все же будет теорией эмпиризма. Постигать мир только в его частностях, видеть только изолированные, отдельные его участки, — вот к чему клонится эта эмпирическая теория. Нападая на искусство, возвышающееся над «фактографией», они защищают позиции голого эмпиризма.

Искусство пролетариата будет гораздо более широким и объемлющим, чем искусство какого-либо другого класса. Его горизонты настолько же более широки, насколько философия диалектического материализма глубже и значимее, чем всякая другая философская система. Перед искусством пролетариата открываются широчайшие горизонты. И почти комической является претензия наших «фактографов», выросшая на почве ограниченного эмпиризма, — претензия, призывающая пролетарское искусство к «фактографии». В этом не ощущается никакой надобности, ибо узость не есть качество мировоззрения пролетариата.

Вернемся теперь к вопросу о «фактографической» теории как явлении социальном. Из всего, что мы говорили, выясняются уже достаточно определенные линии классового облика «фактографии». Перед нами — литературное выражение идеологии, слоев мелкой буржуазии, трансформирующихся в техническую интеллигенцию. Ограниченность, замкнутость видения совмещается с очень характерным отношением к действительности: здесь не только господствует эмпиризм в восприятии этой действительности, но и подчеркнутое фетишизирование определенных сторон ее. Фетишизм наших «фактографов» есть не только фетишизм факта, но и фетишизм техники (в данном случае — литературной), фетишизм организационного принципа. Все эти черты, с большой определенностью выраженные в идеологии авторов сборника, приводят нас к заключению: «фактографическая» теория есть теория, в которой находит свое выражение идеология технической интеллигенции. Внешняя, техническо-организационная оболочка действительности всегда кажется идеологам этой группы всем. Внешнюю форму они всегда принимают за содержание.

Этот вывод возникает как итог системы взглядов, развернутых в «фактографической» теории. Теперь становятся закономерным и вульгарный материализм «фактографов» и их фетишистское мировосприятие.

Отметим здесь одну характерную, хотя и малую, деталь. Почти все участники сборника практикуют очень жреческий, специфический язык, — если Чужак изобретает какую-то своеобразную, неуклюжую теоретическую заумь, а Шкловский занимается откровенным фиглярством (он специализировался на анекдотическом афоризме), то все остальные в большей или меньшей степени стремятся придать своей речи оттенок специфичности. Несомненно, что в этом малом фетишизме находит свое эхо тот большой и основной фетишизм, которым определяется сознание людей, проповедующих «фактографию».

Надо задать теоретикам «фактографии» один вопрос, которым можно и закончить разбор их книги. Все время очень настойчиво утверждают они, что литература факта есть явление, связанное с революцией, что это результат революции сознания, что это и есть подлинное искусство пролетариата. Из всего сказанного нами видно, как мало это соответствует действительности и чем на деле эта пышная теория оказывается.

Познакомившись с методами теоретизирования, которые применяются «фактографами», легко предположить, что вся эта теория о революционном смысле «фактографии» рождена только интуицией Чужака или — еще хуже — Шкловского.

Но все-таки вопрос о том, знакомы ли «фактографы» с литературной практикой современного Запада и ведомо ли им, что самый модный жанр в литературах капиталистического Запада есть жанр документальной беллетристики, прямо соответствующей тому, что объявляют пролетарским искусством «фактографы», — надо поставить. Любая страна современного Запада имеет еперь своих классиков документального жанра, — имена Альбера Лондра, Жоржа Лефевра, Луи Рубо, Артура Голичера слышали ли когда-нибудь наши российские «фактографы»? И знают ли они, как объясняется эта мода на документальную беллетристику в условиях капиталистического Запада? Думается, что на вопрос о революционном происхождении этого жанра, при всей своей теоретической ветрености (ведь утверждал же Третьяков, что Фенимор Купер был «фактографом»), наши авторы не смогут подыскать утвердительного ответа.

Каждому, кто знаком с литературным развитием современного Запада, ясно, что этот жанр, равно как и проникновение газеты в литературу (то, о чем так много и так восторженно проповедуют наши «фактографы», видя в этом средство создать искусство революционного пролетариата), — все это является на Западе искусством, выражающим эпоху высокоразвитого капитализма. Это — искусство капиталистической буржуазии. Так что нельзя заниматься сплошным восторгательством перед «фактографией» и нельзя ее фетишизировать — нужно трезвое и классово-осмысленное отношение к этому жанру. А наши авторы все время делают вид, будто они с помощью революционного пролетариата открыли «фактографическую» Америку. Им хочется быть Колумбами во что бы то ни стало.

И, наконец, надо сказать несколько слов о том месте, которое должна занимать «фактография» в нашем искусстве. Теория «фактографии», как она представлена в разбираемом сборнике, есть негодная и безграмотная теория. Утешение только в том, что документальная литература может прекрасно существовать и без этой отравленной нездоровыми тенденциями теории. Есть все основания предполагать, что документальная практика, без всякой опеки со стороны Шкловского, будет развертываться. Несомненно, что в пролетарской литературе документальный жанр (а только о жанре, конечно, может итти речь) имеет основания быть распростра-

ненным. Он уже и сейчас достаточно широко у нас представлен и имеет все данные для интенсивного развития. Ему надо только освободиться от всякого фетишистского налета, который привносится авторами сборника «Литература факта».

Впрочем мы совершенно напрасно написали это «надо». Несомненно, что мы имеем дело с движением неизмеримо более широким, чем горсточка формалистствующих теоретиков из «Литературы факта». Их рассуждения, конечно, не могут ни задержать, ни продвинуть вперед развивающегося революционного искусства. Слишком несоизмеримы здесь величины. Слишком разнятся масштабы.

Недаром, перечисляя на одной из страниц сборника достижения документальной беллетристики, Чужак должен был назвать книги, в подавляющем большинстве не имеющие никакого отношения к «фактографической» теории. Это очень симптоматично. Живой литературный процесс катится мимо теории литературных фетишистов.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

М. Платошкин, В д о р о г е, роман в трех частях, «Московский рабочий» (Российская ассоциация пролетарских писателей, «Новинки пролетарской литературы»), М.—Л. 1929, стр. 384, ц. 2 р. 25 к.

«В дороге» — роман проблемный: в нем ставится ряд вопросов нашей действительности, писатель — не наблюдатель со стороны, — он пытается не только дать «беспристрастную» запись событий, но и осмыслить эти события, поставить их в связь с общим, с общественным. В отличие от некоторых авторов, сделавших «проблемную» беллетристику своей специальностью, М. Платошкин свои проблемы ставит и разрешает средствами художественными, — социальная направленность романа и его теснейшая слитность с сегодняшним днем определяются не публицистическим стержнем произведения, но всей его художественной системой. Не голый вопрос, а вопрос в форме образа, — вот что решительно отличает М. Платошкина от публицистов типа Пант. Романова.

Какова же проблема, вернее — каковы же проблемы романа М. Платошкина? «В дороге» — роман о комсомоле, писатель свои проблемы берет именно из жизни последнего: может ли комсомолка быть не только женщиной, но и матерью, перерастание дельных активистов в комсомольских чиновников и, наконец, наличие в комсомоле равнодушного, безразличного отношения к своим «споткнувшимся» членам. Казалось бы, что все эти вопросы суть именно «вопросы», что на них лежит печать обычности и скуки, что вообще писать о них, может быть, и нужно, но читать-то во всяком случае неинтересно. Этого не случилось.

М. Платошкин в своих пределах — подлинный художник, все эти вопросы у него облечены плотью образа, к ним не «прикреплены» механические фигуры героев, они вырастают как некое слагаемое ряда образов. Эти образы — секретарь комсомольской ячейки Паня, заворг райкома Митя и секретарь райкома Громов. Они даны в их развитии, ни один из них не предстает в романе уже сложившимся, с крепко и прочно сбитым характером. Они создаются на глазах у читателя, их путь по страницам романа — есть их путь и по ступеням действительности, воспринимает которую М. Платошкин диалектически, в ее противоречиях, в конфликтах, в сталкивании различных тенденций. Отсюда — убедительность образов романа, их насыщенность психологическим содержанием, — они «закреплены» в действительности большим бытовым и социальным материалом (глаза у М. Платошкина — зоркие, видеть он умеет), писатель избегает абстракций и схем, он — что характерно именно для пролетарской литературы — не берет несущественного и случайного, он подводит под изображаемое свои причинные основания. Роман детерминирован во всех своих важнейших звеньях, ни один из существеннейших моментов сюжетики нельзя представить иным, чем он дан в романе.

Детерминирована, с нашей точки зрения, и вся проблематика произведения: М. Платошкин, как художник, имел полное право взять именно те стороны комсомола, которые им взяты, он имел право оттенить положение девушки в комсомоле и сексуальные стороны быта последнего. Дело не в том, что художник берет преимущественно проблему пола, — он перестает быть пролетарским лишь в том случае, если он не показывает типичного в этой области, если он видит частное, а выдает это за общее, если он видит то, что есть перед

ним, но не может осмыслить это данное в свете необходимого, если он в настоящем не замечает будущего, если он, наконец, дает лишь биологию, когда биологическое в сексуальном или существует как общественное или не существует вообще (отношения полов никогда не могут быть и не были только биологическими).

М. Платошкин, уделяя большое внимание сексуальному, нигде, однако, не переходит необходимых границ и в то же время сводит биологию сексуального к социологии. Показывая противоречия этой стороны жизни комсомола, он не ограничивается их констатированием, но дает им необходимое разрешение — он «снимает» их в романе через переключение их в действительность, которая только и может снять эти противоречия. В этом сказывается художественный такт М. Платошкина: он органически чужд публицистичности (в дурном смысле), его не прельщает благополучная, но ложная развязка развернутых им и разрешенных только дальнейшим нашим движением к социализму противоречий. Он знает, что художник должен уметь видеть в действительности элементы грядущего, что он должен уметь предвидеть будущее.

Но М. Платошкин, очевидно, знает и другое, — что художник не должен подменять действительность, что он не должен на страницах своих произведений создавать под видом данного — должное. М. Платошкин не имеет никаких иных средств к разрешению взятых им противоречий кроме тех, которые есть в нашей действительности, и вполне закономерно заканчивает на этом свой роман, избегая оптимистических, но ложных картин [1]).

Ник. Сергеев.

Вл. Юрезанский, Костры, Госиздат Украины, Харьков 1929, стр. 334, ц. 2 р. 75 к.

Вл. Юрезанский является украинским писателем не столько по характеру своего творчества, сколько по месту жительства. Пишет он чаще по-русски, как и в рецензируемой книге, и на право считать его своим представителем могут претендовать и украинская и русская литературы. Вернее, ни одну из них он особенно не украсит.

«Костры» состоят из двух исторических повестей: «Исчезнувшее село» и «Зарево над полями». Некоторая примитивность обеих повестей и по замыслу и по выполнению заставляет предположить некоторую (хотя и не оговоренную) специфическую установку книги: по всей вероятности, она рассчитана на юношество, — в связи с этим требования к ней должны быть соответственно изменены.

Однако даже в том случае, если это предположение верно, впечатление от книги не является особенно радужным, особенно от первой повести. Рассказывает она об истории борьбы одного села с помещиками (в царствование Екатерины II). Несмотря на то, что дом помещиков сжигается, а их самих убивают, село терпит в этой борьбе поражение: присланные войска сжигают в наказание все село, а крестьян после казни «зачинщиков» угоняют в ссылку. Действие связано любовной интригой, достаточные для юношества исторические познания автора оживляют повествование, пейзане его благородны и добродетельны, помещики злы и порочны, и все было бы, пожалуй, благополучно, если бы тень Иловайского, привлеченная, очевидно, историческим сюжетом, не направила автора по пути более чем сомнительному. Дело в том, что Юрезанский счел нужным изобразить путешествие Екатерины II по Украине в 1787 г. и, восстановив в своем творческом воображении это пышное зрелище, «организованное с блеском и неслыханной роскошью» (стр. 7), сам поддался «очарованию» этого легендарного путешествия, о котором иностранные послы писали своим монархам «с завистью и восхищением» (стр. 7). Прекрасная царица, блистающие дипломаты, красавцы-фавориты, придворные остроты, — все это щедро рисует перед глазами потрясенного читателя восторженный автор. Екатерина II, «любующаяся свежим, почти девичьим лицом своего нового избранника», который, в свою очередь, «томно смотрит на императрицу веселыми черными глазами» (стр. 9), хор, «звеневший на морозе вели-

---

[1]) Я намеренно не коснулся ряда вопросов о стиле М. Платошкина. В данной связи говорить о стиле романа в целом не нужно, обсуждению подлежит другое. *Н. С.*

чественным греческим песнопением», архимандриты в «золотых митрах, как сошедшие с икон святители», «торжественный молебен, сверкающий в дымке драгоценных цареградских фимиамов», «оглушительное многолетие», Румянцев, «светящийся почтительной радостью», и т. д. (стр. 9—12), — все это дается автором в стиле произведений, давно и заслуженно забытых. Можно было бы думать, что это великолепие ему нужно для контраста с забитой деревней, но ряд сцен — например, любовные приключения Екатерины II (стр. 43, 64) или встреча ее с Понятовским, голос которого «был полон горечи, искренности и пылкой, несдерживаемой дрожи» (стр. 62) и т. д. — и самый тон этих сцен, если и дают контраст, то совсем в другом направлении. Все это сейчас так неожиданно и необычно, что поневоле выдвигается для читателя на передний план, заслоняя основную линию повести — борьбу крестьян с помещиками.

Если оставить в стороне этот основной недостаток, то нужно признать, что повести написаны более или менее интересно и умело. Это та средняя художественная продукция, которая на многое не претендует и дает читателю более или менее полезное чтение, не ставя каких-либо «проблем» и не развертывая в то же время сколько-нибудь ценных художественных образов. Вторая повесть более удачна, — вероятно, потому что в ней нет Екатерины II. Она относится ко временам первой революции и изображает крестьянское движение, поджоги помещичьих домов и жестокое усмирение крестьян Дубасовым. Все это сделано очень поверхностно, деревня взята исключительно внешне, действие держится только на ряде драматических моментов, — но картина волнующейся деревни и возмущающего угнетения так или иначе дана. Короче, «Костры» относятся к тому виду литературы, ценность которой — не ценность художественная, а ценность педагогическая. В этой плоскости книга приемлема; средняя литературная техника, нехитрый, но литературный язык, писательский опыт позволяют Юрезанскому выполнить свою задачу — показать молодому читателю прошлое деревни. Если бы не увлечение Екатериной II (в этом смысле автор, будем надеяться, ее последняя жертва), книга производила бы более выгодное впечатление, но идет она все же не по большой дороге художественной литературы, а по литературному проселку.

Л. Тимофеев.

Евгений Бурмантов, С м е р т ь У а р а, исторический роман в трех частях, «Федерация», Москва 1929, стр. 391, тир. 4 600 экз., ц. 2 р. 70 к.

«Смерть Уара» — исторический роман конца XVI века. Уар — второе имя царевича Дмитрия, сына Грозного. Не первого Бурмантова привлекает загадочная история углицкого царевича. Но не она — главный предмет романа. Углицкой драме посвящена третья — меньшая сравнительно с другими — часть; самый углицкий быт XVI века очерчен слабо, да и в объяснениях смерти царевича автор не проявляет особой оригинальности. Все внимание писателя сосредоточено на изображении быта того времени, особенно московского.

Автор верно отмечает всю сложность социально-экономических противоречий после Грозного, но дальше внешней картины, эпизодических обозначений не уходит. Перед читателем — ряд картин народного разорения, боярского произвола, правежа и тюрьмы (яркая сцена, как брошенного в тюрьму без чувств колодника обступают крысы); боярских интриг, грандиозного московского пожара, «организованного» Шуйским, парадного царского обеда в честь посла Гарабурды, сцен из домашнего быта царя Федора и т. п. Все они показаны в механической сцепленности, как выражение личного произвола и личных отношений. При отсутствии внутренней мотивировки неизбежной оказалась известная тенденция.

На всем рассказе лежит печать сниженности, хаотичности, бессмысленности жизни и отсутствие какой бы то ни было идеологии. Даже Годунов — единственный положительный образ — и тот дан в бледных очертаниях. В противоположность сентиментальности старых романистов автор взял тон подчеркнутого реализма, и это не в смысле грубостей стиля, — их не так много, — а в оценке и характеристике

быта и интересов общества. В грубых карикатурных чертах набросан образ самого «освятованного» царя, блаженного. Вряд ли бы с его обрисовкой можно было связывать слова Федора к Годунову: «Правитель, управляй народом с неослабной ревностью... Ты достигнешь желаемого, но знай, что на земле все миг и суета».

Этим внешним описательным характером объясняется художественное построение. Автор поглощен этнографическим богатством эпохи (чего стоит одно описание кушаний во время царского обеда!). Им достаточно использован весь исторический инвентарь. Но это преобладание этнографии и быта сделало чрезвычайно бледным, можно сказать — поглотило сюжет повести. В нем нет единства и цельности. Это ряд сцен, представляющих обстановку, в условиях которой происходит смерть Уара. Равным образом за преобладающей внешностью не показана характерная психология времени, движение страстей, данных в событиях. Вследствие этого образы героев лишены портретности. Все образы Мстиславских, Шуйских, Годунова, посадских и тяглых людей однообразны, без четких индивидуальных очертаний.

А. М. Смирнов-Кутаческий.

Франц Верфель, Однокашники или история одного греха молодости, роман, перевод с немецкого Т. О. Давыдовой, «Прибой» 1929, стр. 256, ц. 1 р. 20 к.

И. Рот, Циппер и сын, роман, перевод с немецкого Р. А. Крестинской, «Прибой» 1929, стр. 206, ц. 1 р.

Зегерс, Восстание рыбаков, роман, перевод с немецкого С. Н. Немирова, «ЗИФ» 1929, стр. 116, ц. 70 к.

А. Барбюс, Правдивые повести, М., Гиз 1929 г.

Поль Вайян-Кутюрье, Бал слепых, новеллы, перевод с французского С. Бернера и М. Володина, Гиз 1929, стр. 169, ц. 85 к.

Луи-Гийю, Народный дом, роман, перевод с французского Н. И. Явне, «Молодая гвардия», стр. 118, ц. 1 р.

Последний роман Верфеля представляется крайне интересным произведением. Творчество этого крупнейшего из современных немецких писателей находит здесь свой закономерный синтез. Мы встречаем в этом романе все те элементы, которые являются характерными для творчества Верфеля на всем его предыдущем протяжении. Это элемент мещанского искусства в период кризиса. Верфель начал свою творческую деятельность в эпоху, когда экспрессионизм был господствующим течением в немецком искусстве. Верфель был одним из самых глубоких, непосредственных и ярких выразителей идеологии мятущегося мещанства, которая нашла свое выражение в экспрессионизме. Все творчество Верфеля определялось одним основным противоречием, которое было противоречием его класса с социальной действительностью. Мещанство, теснимое капиталистической действительностью, переживало болезненный кризис. Все надежды были утрачены, глубочайший пессимизм становился основным мироощущением. Самой типичной вещью Верфеля, содержащей в себе основные элементы его творчества, надо считать его знаменитую драму «Человек из зеркала». Драма эта двойническая. Мещанский художник выражает здесь свои представления, порожденные эпохой глубочайшего кризиса, в виде образа, расколотого на два противоречивых содержания.

Герой драмы Тамал живет двойной жизнью — с одной стороны, существует он сам — стремящийся к своему освобождению, незаметный человек, — с другой — его отражение в стекле, в котором запечатлено все порочное, низменное, земное. Ожесточенной борьбой между двумя этими содержаниями определяется существование героя драмы и течение всей этой вещи. В очень обнаженном виде дано в «Человеке из зеркала» то основное, что будет потом постоянно повторяться в произведениях Верфеля.

Его последний роман также содержит в себе двойнический тезис. Он также строится на неразрешимом противоречии между сущим и должным — противоречии, которое является основным содержанием творчества мещанского художника.

Верфель — писатель большого масштаба, и он поднимает это противоречие на огромную высоту. Типичную формулу он превращает в нечто чрезвычайно своеобразное, окрашенное всеми оттенками индивидуального. Это, с одной стороны, придает роману Верфеля живой интерес.

Кроме того чрезвычайно любопытна деформация, которую переживает этот характерный тезис в творчестве мещанского художника на протяжении десятилетия (приблизительно такой срок разделяет драму «Человек из зеркала» — 1920 г. — и роман «Однокашники»). За это время много воды утекло, и если произведения Верфеля экспрессионистской полосы, к которым относится и «Человек из зеркала», создавались в обстановке жесточайшего социального кризиса (война, инфляция, революционные потрясения), то «Однокашники» возникают в условиях внешней упорядоченности, временной капиталистической стабилизации.

Есть поэтому значительная разница, отличающая Верфеля последнего романа от того, чем он был когда-то. Разница не в основном, — ибо, как мы видели, художник продолжает жить тем же двойничеством, — разница в том, как эту двойническую проблему теперь представляет себе художник, — разница, так сказать, не в сущности, а в интерпретации.

И здесь можно сделать интересный вывод: если раньше художник самый двойнический конфликт представлял себе как нечто монументальное, ограничиваясь в сущности обнажением линий самого конфликта, играя его внешней стороной, то теперь все это представляется художнику существенно иным. То, что обнажалось раньше, теперь прячется, — то, что отрицалось раньше, теперь утверждается, то, что казалось несущественным раньше, теперь превращается в основное.

Что же происходит? По внешности «Однокашники» не содержат в себе ничего сходного с драмой «Человек из зеркала»: там двойническая конструкция очень старательно обыгрывалась, выдвигалась на первый план; подчеркивать ее художник считал необходимым. Теперь он пишет роман с криминальным предлогом, в котором двойническая конструкция оказывается скрытой, завуалированной. Но это, конечно, не мешает ей быть не менее выразительной и устойчивой, чем раньше.

Художник находит только форму, соответствующую новой ступени мещанского кризиса, новым представлениям класса, как складываются они в эпоху стабилизации. Дело в том, что основное противоречие между мелкобуржуазным классом и капиталистической действительностью вовсе не устранено, — оно существует и остается очень болезненным, — но оно не обнажено теперь так, как это было в эпоху, когда капиталистический порядок в Германии готов был рухнуть. Так и в романе Верфеля противоречия продолжают жить интенсивной жизнью, но они вуалируются.

Основной образ романа дан как борьба двух взаимно противоречащих героев. С одной стороны, перед нами человек с очень приличной внешностью, с добропорядочным лицом и с подлым внутренним содержанием, — ничтожество в своей сущности. С другой стороны — человек внешне опустившийся, внешне ничтожный, утративший смысл своего существования, но внутренне полноценный, чистый от всякой скверны, исключительно яркий человек.

Как видим, Тамал, живший двойной жизнью в драме «Человек из зеркала», возрождается снова, хотя и в обстановке гораздо более спокойной и упорядоченной.

Верфель мотивирует встречу этих двух людей, являющихся только половинками одного образа, как эпизод одной судебной истории. Друзья детства встречаются в такой обстановке: один судья (конечно, это — человек внешне добропорядочный и внутренне пошлый), другой — подсудимый, преступник (конечно, это противоположность своего судьи). Все течение романа убеждает нас в том, что основным, движущим началом произведения является двойнический тезис, предъявленный как расщепление основного образа романа на две эти фигуры. Таким образом Верфель дает нам новое сочетание старых, оказывающихся очень устойчивыми, элементов своего творчества. Крупнейший из мещанских художников современного Запада дает нам произведение, в котором

кризис мелкобуржуазного класса, в условиях современной Германии, находит свое глубочайшее выражение. Как подлинный классик мещанского стиля, Верфель развертывает этот конфликт в форме большого и глубокого произведения.

Малое дарование Иосифа Рота не позволяет ему создавать вещей такого масштаба, такого значения и силы, как романы Верфеля. Но он является художником того же классового направления, его творчество определено той же тенденцией. Его сознание формируется теми же обстоятельствами, и поэтому неудивительно, что Рот в своем последнем романе дает вариант, в какой-то мере напоминающий произведение Верфеля.

Что находим мы в романе «Циппер и сын»? Если Верфель поднимал противоречие, им развертываемое, на большую высоту, если он находил для его интерпретации монументальные образы, являющиеся смелыми, яркими и значительными обобщениями, если в творчестве этого художника представления мелкобуржуазного класса получали известную принципиальную и философскую широту, то ведь недаром же Верфель является крупнейшим мещанским художником современности, одним из современных классиков мещанского стиля.

Рот неизмеримо мельче. Он видит меньше, не так пристально, не так полно. Он видит поверхность, но не видит глубины. Вот почему его роман, движимый теми же устремлениями, что и «Однокашники» Верфеля, превращается не в большое и глубокое произведение, а в нечто малозначимое, легковесное, не очень содержательное.

Но если поставить вопрос о том, что же хочет сказать Рот, то ясно — он хочет сказать то же самое, что и Верфель. И даже к двойническому тезису, столь мучительно сопровождающему постоянно Верфеля, Рот тяготеет. Он дает нам не только два мещанских поколения — отцы и дети, Циппер и сын, — но и в самых поколениях стремится наметить двойную градацию, что превращает весь роман в цепь неразрешимых и мучительных противоречий. Правда, он делает это довольно упрощенно, правда, он не поднимает этих противоречий до трагедии, но он их ставит. И ставит их потому, что он является, как и Верфель, типичным мелкобуржуазным художником, выражающим систему представлений своего класса в период кризиса.

Роман Рота обращен к быту. Если художник с малым успехом работает в области психологической интерпретации, если ему не удается создать образов большой психологической насыщенности и цельности, то в области бытовой характеристики он гораздо более уверен. Это проще, и с этим малый талант Рота легче справляется.

В романе «Циппер и сын» развертывается цепь бытовых изображений, имеющих своим центром один и тот же стержень. Рот показывает, как мещанство расслаивается. Он очень ясно представляет себе разложение класса, с которым он теснейшим образом связан, и дает подробнейшую, достаточно проницательную документацию этого мещанского декаданса.

Бытовистский уклон Рота приводит его произведение к большой дробности. Оно рассыпается на множество частностей и не кажется очень стройным, а там, где художник пытается стать выше себя и сделать какие-то обобщения, произведение переключается в публицистику, достаточно дешевую и плохого тона.

Итак, основное устремление романа «Циппер и сын» позволяет считать это произведение типичной вещью мещанского искусства, в которой с большой горечью, с сочувствием интерпретируются мотивы распада мелкобуржуазного класса. Ранние романы Рота — «Отель Савой», «Восстание» — дают разработку тех же мотивов, которыми движется его последний роман. Произошло только любопытное перемещение: ранние вещи не только были документами мещанского распада, но и содержали в себе некоторую попытку революционного восстания против капиталистической действительности. Так было тогда, когда потрясаемый революционными взрывами буржуазный порядок готов был рухнуть. В беспочвенном мещанстве, в наиболее радикальных слоях его, возникало тогда тяготение к революции. В революции мещанство, теснимое капиталистической действительностью, мечтало найти выход — ранние романы Рота отображают это тяготение.

Так было в прошлом. Теперь мещанский художник, в эпоху золотой марки и стабилизации, не возлагает больше надежд на революцию. Вот почему в книге «Циппер и сын», содержащей очень проникновенные изображения мещанского распада, нет никакого намека на выход, на разрешение противоречия. Художник предпочитает оставлять своих героев в глухом и безнадежном тупике.

Роман Зегерс очень симптоматичен. Книгам Рота и Верфеля его можно противопоставить как противоположность. Здесь пробивается какое-то новое, живое и свежее содержание. Здесь чувствуется свежий ветер. Книга Зегерс носит на себе следы технической незрелости. Перед нами вещь, родившаяся с внезапностью. Но все это не мешает «Восстанию рыбаков» быть литературным явлением, полным глубокого интереса.

С книгой Зегерс связан небольшой литературный скандал. Вскоре после того как она появилась в свет, ей присудили премию Клейста. Все шло благополучно, потому что книга стоит премии и покрупнее, чем клейстовская. Многие критики выразили свое восхищение новым немецким талантом. Но скоро выяснилось, что Зегерс — это псевдоним, под которым скрывается молодая писательница, входящая в объединение революционных писателей Германии, — буржуазная премия оказалась присужденной революционной писательнице. Возникло литературное происшествие.

Чем интересен роман «Восстание рыбаков» и что выгодно отличает его от мещанских писаний Рота и Верфеля? То, что книга Зегерс не только свободна от тех мучительных и бесплодных противоречий, которыми живет мещанское искусство, что она отличается большой цельностью, но и тем также, что художник закрепляет в своем искусстве какую-то новую систему представлений. Роман посвящен изображениям быта рыбаков. Суровые будни бедного и полуголодного существования, приводящие к попытке освободиться от власти эксплоататоров, — вот картины, которые дает в своем романе Зегерс. Книгу отличает исключительная простота. Перед художником не стоит никакой другой задачи, кроме наиболее четкого, простого и естественного воспроизведения действительности. Много здоровья в искусстве Зегерс. Это искусство чуждо размагниченности, вялости, утомления, — с какой-то особой радостностью художник созерцает мир, он видит мир как-то необычайно естественно и полно. Он подходит к нему без отяжеляющих восприятие предрассудков, без традиций, он воспринимает его с большой непосредственностью. Так возникают очень простые, жизненные изображения романа «Восстание рыбаков».

Еще одно здесь интересно. Художник устраняет с поля зрения индивидуального героя. Он хочет рассматривать жизнь как живую, постоянно протекающую, изменяющуюся действительность. Он хочет поставить индивидуальность на ее место, не вытаскивать ее из живого контекста, а рассматривать ее в конкретной связи со всей действительностью. Это приводит Зегерс к хорошим результатам. В ее романе существуют очень живые люди, но они существуют не по тем законам, которые написаны насквозь индивидуалистическим буржуазным искусством, а по каким-то другим. Они существуют не как герои, а как частицы какого-то процесса. Книга Зегерс является первым произведением художника. О ней естественно говорить, имея в виду те перспективы, перед которыми стоит начинающий художник. В этом смысле книга Зегерс имеет все основания для положительной оценки.

«Правдивые повести» называется последняя книга Барбюса, изданная Гизом. И на титульном листе стоит: «Histoires vraies». В то время как во французском издании заголовок иной и несколько более характерный: «Faits divers» — «Факты». Как произошло это недоразумение, не знаем; можно предположить, что книга переводилась с рукописи и сам автор позднее изменил ее наименование. Во всяком случае второй заголовок гораздо более полно охватывает сущность книги. Факты, конкретные отрезки действительности, узкие, малые явления, в которых можно увидеть многое, — вот в сторону чего направляется крупнейший французский революционный писатель.

Мы знаем, как сложен был путь творческого развития Барбюса, с какими трудностями совершается творческое перево-

оружение этого художника, пришедшего к революции от мелкобуржуазного класса. Мы знаем ряд поучительных неудач Барбюса, вызывавшихся тем, что революционное сознание художника оказывалось обремененным многими пережитками классового прошлого, — такой неудачей был, например, монументальный роман Барбюса «Звенья». Именно потому художник потерпел здесь фиаско, что его представления об историческом процессе (Барбюс дает в этом романе попытку драматизации мировой истории) не оказались цельными. В художнике с новым боролось старое. Эта противоречивость сознания привела к тому, что вещь оказалась распыленной, недостаточно осмысленной, распадающейся на отдельные атомы.

И совсем неслучайно, что теперь художник обращается к очень узким, малым объемам материала. Насколько широко пытался он раньше охватывать (схема всей мировой истории), настолько теперь он стремится ограничить, уплотнить — и через это максимально конкретизировать свой замысел. В этом своеобразном аскетизме художник находит способ вытеснения старых традиций, продолжающих еще тяготеть над его творчеством. Уже в «Палачах» Барбюс использует форму документального повествования. И с очевидным успехом. Во всяком случае эта книга гораздо ярче, подлиннее, чем космические, но несколько ходульные «Звенья».

В «Фактах» Барбюс усовершенствует и углубляет эту манеру. Перед нами два с лишним десятка новелл, в каждой из которых содержится сосредоточенная, необычайно простая, но точнейшая документация какого-либо события.

Художник явно тяготеет к методам хроники. Он стремится только к тому, чтобы наиболее полно и убедительно представить данное событие. Он никогда не развертывает его, не привлекает соседние пласты. Он рассматривает явление с такой пристальностью, что оно занимает все поле зрения. Здесь нужно думать о микроскопе, — так изощренно и усовершенствованно зрение художника.

Конечно, это не значит, что Барбюс занимается своеобразной фетишизацией фактов, свойственной нашим лефовцам, что он за деревьями не видит леса. Нет, именно потому так и значительны эти документальные истории Барбюса, что каждая из них не только узка, потому что в ней рассматриваются малые явления, но и широка, потому что каждый раз ясна перспектива, в которой эти явления помещены.

Здесь мы подходим к любопытнейшему свойству «Фактов» Барбюса. Внешне они имеют характер очень изолированных, внутри себя самих замкнутых новелл, — по существу же все они могут рассматриваться как убедительнейшие обобщения. Так, любой факт здесь становится огромным, вырастает в явление, характеризующее какие-то значительные пласты действительности, — так вся книга превращается в характеристику, разящую и беспощадную, современной капиталистической цивилизации.

Как видим, художник идет верным путем. Отправляясь от узко конкретного, он двигается к большим глубочайшим обобщениям. В этом свежесть, своеобразие, яркость новой книги Барбюса. Бесспорно, после замечательного «Огня» — это крупнейшая творческая победа революционного художника.

Сборник новелл Вайяна-Кутюрье позволит нашему читателю составить представление о том, насколько своеобразной творческой индивидуальностью является этот художник. Основным, определяющим его свойством надо считать иронию. Образы, создаваемые художником, все сплошь направлены в сторону разоблачения, саркастического раскрытия, — все они негативны.

Самым значительным и типичным для Вайяна-Кутюрье произведением надо считать его драму «Отец Июль». В этом «трагифарсе» даны в саркастическом освещении типичные маски буржуазного класса. Художник строит свою вещь на игре злого и разящего острословия, с великолепным сатирическим проникновением он создает здесь образы, в которых воплощаются самые типичные качества мещанской психологии. «Отец Июль» является для Вайяна-Кутюрье таким произведением, в котором содержатся основные данные всего творчества художника.

Если в свете образов этого трагифарса рассмотреть пять новелл, собранных в книге «Бал слепых», то они предстанут перед нами как вариации одного мещанского образа, сатирически интерпретируемого. По преимуществу художник обращается здесь к конкретному быту — в противоположность тому, как в трагифарсе «Отец Июль» он давал обобщенные, намеренно отвлеченные маски мещанства, взятые вне определенного времени и пространства.

Он обращается теперь к послевоенной Франции, к бытовым будням буржуазного класса, чтобы дать образы, с одной стороны, кажущиеся совершенно реальными, а с другой — дать им не менее выраженное сатирическое направление.

Рассказ «Бал слепых» в этом смысле особенно характерен. Мы имеем здесь очень точную документацию бытовой действительности, но представлена она так, что основной тон изображения оказывается саркастическим. Художник не только объективирует образы современного французского мещанства, но и сообщает им откровенную сатирическую окраску.

Рассказ «Первый класс» повторяет этот же принцип. Перед нами — внешне спокойно протекающее бытовое повествование, в котором, однако, содержится очень злое, ядовитое, сатирическое жало. Перед нами французский интеллигент-коммунист, готовый забыть свои убеждения ради прекрасных глаз своей обольстительной соседки по купе в поезде. Рассказ развертывается в уничтожающую сатиру на лжереволюционера как-то исподволь, незаметно. К беспощадному приговору художник приходит, до самого конца не обнажая своего саркастического намерения.

В рассказе «Анархисты» Вайян-Кутюрье обращается к системе масок и дает сатирическую интерпретацию современного мещанства в таких же обобщенных формах, как это он делал в трагифарсе «Отец Июль».

Книга Вайяна-Кутюрье является одним из немногих образцов революционно-направленной сатиры на Западе. В этом ее крупный интерес, а так как перед нами художник изощренного творческого зрения, необычайно изобретательный и беспощадный в своем сатирическом напоре, то все это увеличивает значение сборника новелл.

Но надо отметить и некоторые другие свойства «Бала слепых». Очень ясно во всем течении собранных здесь вещей чувствуется, что перед нами художник, пришедший к революции со стороны, из недр расслаивающегося мелкобуржуазного класса. Художник бесспорно глубочайшим образом порвал со своим классовым прошлым, но остается еще какое-то внутреннее сопротивление, которое ему все время приходится преодолевать.

Можно сказать, что все время художник чувствует себя несвободным, связанным какой-то инерцией, и это мешает ему стать подлинно органическим мастером.

Что обращение к сатире вырастает здесь на почве того, что художник хочет зачеркнуть, убить то, чем он когда-то был связан, — ясно, но, кроме того, становясь на путь сатирической интерпретации, Вайян-Кутюрье делает ряд характерных просчетов. Он, например, явно злоупотребляет эротикой. Мы знаем, что художник делает это, стремясь обезобразить осмеиваемый им буржуазный мир, стремясь представить его как отвратительную гримасу, но, сам того не замечая, он переходит здесь закономерную границу, и эротика его из обличающей превращается нередко в самоцель.

И еще одно: сатира Вайяна-Кутюрье имеет всегда характер внешнего беспристрастия, она хочет выглядеть невинно, она хочет поражать неожиданно. Этот своеобразный объективизм сатирика приводит к тому, что он никогда не дает положительного образа, который можно было бы противопоставить разоблачаемому. В сущности абсолютный нигилизм характеризует сатиру нашего художника. Думаем, что этот нигилизм также восходит к тому, что художник не умеет построить положительного изображения. Поэтому чисто негативная задача преобладает у него над всем.

Все эти замечания имеют в виду вскрыть существо сатирического стиля Вайяна-Кутюрье, но, конечно, они не предполагают отрицать интереса и крайней остроты новелл, собранных в книге «Бал слепых».

Литература рабочего класса до сих пор во Франции является малоразвернутым движением, — поэтому книга Луи Гийю имеет значение ценного вклада в эту литературу.

Гийю пишет свою первую книгу, в ряды пролетарской литературы во Франции вступает новый художник, — надо взвесить, что несет он с собой, какие надежды могут быть им оправданы.

Книга Луи Гийю представляет прежде всего явление бытовой живописи. Художник, обращаясь, очевидно, к данным своей автобиографии, развертывает изображения рабочего быта в захолустном французском городке. В основе повествования лежит история бедной ремесленнической семьи, с трудом отстаивающей свое право на существование. Изображения нищеты даются Гийю с простотой и естественностью, позволяющей видеть в нем значительного художника. Он идет здесь путем простейшей реалистической документации.

Художник провозглашает свое право на изображение очень обыденной и серой действительности, изображение без всяких прикрас, совершенно откровенное и справедливое. Это не так малозначительно, как можно думать. В этой демонстрации права нового материала на жизнь в искусстве и право обнаженной правдивой интерпретации — уже многое содержится. Художник, связанный с рабочим классом, утверждает здесь нечто принципиально новое по сравнению с практикой буржуазного искусства.

Гийю дает изображения трудовой действительности, однако в достаточно специфическом разрезе. Мы видим, что он созерцает бытовой уклад не без некоторой сентиментальности. В художнике не кипит ненависть к ограниченности уклада, изуродованного условиями капиталистического порядка. Гийю все время остается спокойным и даже, повторяем, несколько сентиментальным бытописателем.

Это приводит его к тому, что за естественным и плавным течением быта — таким, как он представляется с поверхности, — художник не видит глубоких конфликтов в его подводном течении. Он занимается фетишизированием малых отдельностей, и это мешает ему видеть явление во всей его полноте. Это приводит Гийю к тому, что он может очень проникновенно изображать страдания своей бедной семьи, но не видеть их причины. Зрение художника настолько сужено, что он способен оценивать все с точки зрения колебаний в благополучии одной бедняцкой семьи. Напрашивается и вывод: неужели, если бы устроилось благополучие этой семьи, перестали бы существовать противоречия в капиталистическом обществе? А именно к такой формуле приходит Гийю в силу того, что он воспринимает действительность в перспективе замкнутой и извращенной.

Гийю изображает трудовые будни семьи ремесленнической, а не чисто пролетарской. Конечно, для полумещанских представлений ремесленнической семьи ограниченность взглядов Гийю естественна. Но ведь это значит, что идеология Гийю есть мещанско-ремесленническая идеология.

Первый опыт, конечно, не дает еще данных для того, чтобы дать окончательное определение классового облика нового писателя, но уже возникают определенные опасения в том смысле, что художник этот будет двигаться не в революционном, а в реформистском направлении. Такие опасения есть. Еще более укрепляются они после рассмотрения еще одной стороны его первого романа: рядом с буднями трудового быта стоит здесь изображение социалистического движения. Перед нами типично реформистский социализм, к которому тяготеют все основные персонажи романа. Правда, художник пытается поставить здесь некоторые критические вопросы, но в общем он остается на почве мирного и вегетарианского социализма. Повторяем, что путь Гийю еще нельзя предугадывать и возможно, что бесспорно талантливый рабочий писатель станет в ряды революционной пролетарской литературы. Это было бы очень желательно.

И. Марцинский.

Список книг, полученных редакцией на отзыв.

ГОСИЗДАТ.

Лондон Джек, Мартин Идэн, роман, перевод с английского Пименовой Э. К., стр. 446, ц. 70 к.

Эдшмид Казимир, Баски, Быки, Арабы, книга об Испании и Марокко, перевод с немецкого Эйхенгольц Елены, стр. 235, ц. 1 р. 25 к., перепл. 20 к.

Антокольский П., Стихотворения 1920—1928 гг., стр. 153, ц. 1 р. 60 к., перепл. 60 к.

Вайян-Кутюрье, Бал слепых, новеллы, перевод с французского Бернера С. и Володина М., стр. 170, ц. 85 к.

Толстой Алексей, Любовь — книга золотая, собр. соч., т. XIII, стр. 493, ц. 4 р.

Лурье С. Я., История античной общественной мысли, стр. 415, ц. 3 р. 50 к.

Дурденевский В., Лекции по праву социалистической культуры, стр. 327, ц. 3 р.

Серафимович А. С., Советская страна, сборник рассказов, стр. 289, ц. 1 р. 25 к.

«ПРИБОЙ».

Модзалевский Б. А., Пушкин, Труды пушкинского дома Академии наук СССР, стр. 439, ц. 4 р.

Кони А. Ф., На жизненном пути, т. 5-й, посмертный, стр. 375, ц. 4 р.

Караваева Анна, Каленая земля, собр. соч., стр. 139, ц. 1 р., перепл. 15 к.

Фиш Геннадий, Контрольные цифры, сборник стихов, стр. 62, ц. 75 к.

Бахтин М. М., Проблемы творчества Достоевского, стр. 243, ц. 2 р. 50 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ».

Фраерман Р., Буран, повесть, стр. 154, ц. 85 к., папка 15 к.

Белый Андрей, Ритм как диалектика. Исследование, стр. 279, ц. 2 р. 70 к., перепл. 30 к.

Ашукин Н., Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики, стр. 400, ц. 2 р. 50 к., перепл. 30 к.

Кочин Н., Девки, роман, стр. 211, ц. 1 р. 50 к.

Шкловский Виктор, О теории прозы, стр. 265, ц. 2 р. 70 к.

Перцов В., Литература завтрашнего дня, стр. 173, ц. 1 р. 75 к.

Москвин Николай, Жена, повести и рассказы, стр. 153, ц. 85 к., папка 15 к.

«Заря», песенник, стр. 187, ц. 35 к.

Катаев Ив., Сердце, повесть, стр. 95, ц. 25 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ».

Гурвич Е., Сквозь строй, стр. 224, ц. 1 р.

Дюкло Жак, Фашизм во Франции, перевод с рукописи Волынского Л., стр. 122, ц. 70 к.

Замойский П., Дорогойченко А., Лазьян И., Субботин А. (редакция), Пути крестьянской литературы, стр. 159, ц. 1 р. 25 к.

«КРАСНАЯ ГАЗЕТА».

Примаков В. М., Афганистан в огне, стр. 154, ц. 1 р.

Южный Ефим и Радищев Леонид, Семьсот миллионов, стр. 114, ц. 50 к.

«ТЕОКИНОПЕЧАТЬ».

Всеволожский-Гернгросс, История русского театра, т. II, стр. 508, ц. 6 р.

«ВСГ».

Винокуров, Клочья, стихи, стр. 62, ц. 80 к.

Редакц. коллегия: Вл. Васильевский. Б. Волин. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников.

Ответственный редактор: Ф. Раскольников.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4, тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

ДНЕВНИК В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 10—40 ГОДОВ XIX ВЕКА

Предисловие Ю. Н. Тынянова. Редакция, введения и примечания В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. „Прибой". Стр. 374. Ц. 2 р. 50 к., в пер. 2 р. 70 к.

Кюхельбекер был создан для литературных неудач. Его фамилия, смешная для русского слуха, его личная репутация чудака и сумасброда,—их простили бы может быть; вероятно простили бы даже литературные промахи, если бы они не были другого свойства и происхождения... Архаисты боролись против манерности, изящества, мелочей в литературе, против жеманной литературы „для немногих" — за оду, за высокую трагедию, за простонародность, библейскую энергию и наготу стиля. Из „Аргивян" Кюхельбекера можно... видеть к какой форме и к какому „гражданскому составу" трагедии тяготели архаисты, и как близка была их литература к революции декабристов. [Крушение литературной судьбы Кюхельбекера объясняется по преимуществу поражением в этой литературной борьбе архаистов с новаторами*].

Перед читателем не дневник в общепризнанном смысле. Перед ним — настоящий, подлинный журнал, писавшийся одним человеком. Цензуровался журнал тюремным начальником, а в свет не выходил. Состав журнала — критические замечания, стихи, литературная полемика. Перед читателем... [обнаруживаются] все черновые элементы писательской работы... Обо всех важнейших деятелях 20-х гг., о главнейших спорах здесь есть суждения участника литературы, суждения самостоятельные, резкие и типичные.

Ю. Тынянов. — Из предисловия.



П. ВЯЗЕМСКИЙ

СТАРАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Редакция и примечания Л. Гинзбург.
Обложка и переплет М. Кирнарского

Л. „Изд-во писателей в Ленинграде". 1929. (20 + 14). Стр. 345 + +1 портрет. Ц. 3 р., в пер. 3 р. 30 к.

Содержание. Лидия Гинзбург. Вяземский. Старая записная книжка. Примечания. Указатель имен.

„Записные книжки" П. А. Вяземского охватывают огромный период — с 1813 по 1877 г. Цель настоящего издания — ознакомить читателя с этим замечательнейшим памятником русской словесности.

При составлении примечаний моей задачей являлось не столько исследование фактов, сколько подбор тех традиционных образов и литературно-бытовых характеристик, на которые ориентировались Вяземский и его современники.

Из предисловия.

---

*) Смотрите книги Ю. Тынянова—Архаисты и новаторы, „Прибой". 1929. Стр. 696. Ц. 6 р. В прямые скобки взяты слова и фразы, выражающие смысл большего по объему текста.